

The background of the cover is a detailed illustration of a Western town street. In the foreground, two men in dark suits and hats walk towards the right. In the middle ground, a man in a light shirt and vest sits on a wooden balcony, while a woman in a dark dress stands nearby. Another man is visible leaning over a railing. The buildings are made of wood and have a rustic, weathered appearance. The overall color palette is warm, with browns, tans, and muted blues.

ТРУМЕН
КАПОТЕ

*Хладнокровное
убийство*

АЗБУКА-КЛАССИКА

Annotation

В книгу вошел самый значительный роман выдающегося американского писателя Трумена Капоте «Хладнокровное убийство» (1966), основанный на истории реального преступления, совершенного в 1959 г. в Канзасе, и раскрывающий природу насилия как сложного социального и психологического феномена. Книга Капоте, мгновенно ставшая бестселлером, породила особый жанр «романа-репортажа» и проторила путь прозе Нормана Мейлера и Тома Вулфа. Взвешенность и непредубежденность авторской позиции, блестящая выверенность стиля, полифоничность изображения сделали роман Капоте образцом документально-художественной литературы. В настоящее издание также включено тематически связанное с романом эссе «Призраки в солнечном свете».

- [Трумен Капоте](#)
 -
 - [Часть 1](#)
 - [Часть 2](#)
 - [Часть 3 ОТВЕТ](#)
 - [Часть 4 ПЕРЕКЛАДИНА](#)
 - [Призраки в солнечном свете: съемки фильма «Хладнокровное убийство»](#)
 - [Примечания](#)
-

Трумен Капоте

Хладнокровное убийство

Джеку Данфи и Харпер Ли с любовью и благодарностью

Весь материал книги, кроме того, который является плодом моих личных наблюдений или взят из официальных документов и интервью с людьми, непосредственно причастными к событиям, по большей части – результат многочисленных расспросов, которые я производил в течение долгого времени. Поскольку те, кто со мной «сотрудничал», упомянуты в тексте, излишне называть их имена здесь; однако я хочу официально принести им свою благодарность, ведь если бы не их терпеливое содействие, моя задача была бы невыполнима. Также я не стану пытаться перечислить всех тех жителей округа Финней, которые, хотя имена их и не встречаются на страницах книги, отнеслись к автору с такой теплотой и гостеприимством, за какие можно только отблагодарить, но нельзя расплатиться. И все же я не могу не сказать спасибо тем из них, кто внес в мою работу особый вклад: ректору Канзасского университета доктору Джеймсу Маккейну; мистеру Логану Сэнфорду и сотрудникам Канзасского бюро расследований; мистеру Чарльзу Макейти, директору исправительных учреждений штата Канзас; мистеру Клиффорду Р. Хоупу-младшему, чья помощь в решении правовых вопросов неоценима; и – в последнюю, но главную очередь – мистеру Уильяму Шоуну из журнала «Ньюйоркер», который подвиг меня взяться за эту работу и чьи замечания сослужили мне добрую службу.

Freres humains qui apres nous vivez,
N'ayez les cuers contre nous endurcis,
Car, se pitie de nous povres avez,
Dieu en aura plus tost de vous mercis.
Francois Villon Ballade des pendus

Мы жили, как и ты. Нас больше нет.
Не вздумай осуждать – безумны люди.
Мы ничего не возразим в ответ.
Взглянул и помолись, а Бог рассудит.
Франсуа Вийон Баллада о повешенных[1](#)

Часть 1

ПОСЛЕДНИЕ, КТО ВИДЕЛ ИХ ЖИВЫМИ

Поселок Холкомб стоит среди пшеничных равнин западного Канзаса, в глухом краю, который прочие канзасцы обозначают словом «там». До восточной границы Колорадо всего семьдесят миль, но синева неба и пустынная прозрачность воздуха в этих краях напоминают скорее Дальний, чем Средний Запад. Местный акцент цепляет слух характерным для жителей прерий растягиванием гласных, гнусавостью ранчери; здесь в обычае носить штаны в обтяжку, «стетсон» и остроносые сапоги на высоком каблуке. Земля тут плоская, и открывающийся вид своей бескрайностью внушает почти благоговейный страх; табуны лошадей, стада коров и белая россыпь элеваторов, высящихся величаво, как греческие храмы, видны задолго до того, как к ним приблизишься.

Холкомб тоже виден издалека. Особенно видеть, правда, нечего: беспорядочное нагромождение зданий, разделенное посередине рельсами магистрали Санта-Фе. Случайно возникающий на пути поселок, ограниченный с юга бурой лентой реки Арканзас (не путать с Канзас-Ривер), с севера – шоссе № 50, с востока и запада – прериями и полями пшеницы. После дождя или когда растает только что выпавший снег, густейшая пыль немощеных, незатененных и не имеющих названий улиц превращается в густейшую грязь. На одном конце поселка стоит старый пустой дом с неоновой вывеской «Дансинг» на крыше. Впрочем, танцы давно свернули, и вывеска уже несколько лет не светится. Рядом – еще одно здание с нелепой надписью на грязном окне, сделанной позолоченными буквами, с которых теперь почти стерлась позолота: «Холкомбский банк». Банк закрылся в 1933 году, и бывшие конторы переделали под квартиры. Теперь это один из двух здешних многоквартирных домов; второй – это ветхое строение, известное в народе благодаря тому, что в нем живут почти все учителя местной школы, под названием «Учительская». А в основном дома в Холкомбе одноэтажные, с верандой по фасаду.

Недалеко от станции – кренящееся набок здание почты, где восседает почтмейстерша, костлявая женщина в кожаной тужурке, джинсах и

ковбойских сапогах. Сама станция – облезлый домишко цвета серы – тоже не радует глаз. «Чиф», «Супер-Чиф» и «Эль-Капитан» каждый день проносятся мимо, но ни один из этих знаменитых экспрессов здесь не останавливается. И пассажирские не останавливаются – только случайные товарняки. Выше по шоссе есть две бензоколонки; одна по совместительству служит бакалейной лавкой (но выбор там небогатый), а вторая – кафе, «Кафе Хартман», где миссис Хартман, его содержательница, подает клиентам бутерброды, кофе, соки и легкое пиво (Холкомб, как и весь Канзас, «не употребляет»).

И это, собственно, все. Разве что стоит упомянуть еще холкомбскую школу – заведение, чей внешний облик прямо указывает на факт, который в поселке стараются не подчеркивать: родители учеников этой современной «объединенной» школы с самыми лучшими преподавателями и методиками от начальной ступени вплоть до самой последней, куда детей привозит целый парк автобусов (обычно более трех с половиной сотен ребятишек съезжаются в школу со всей округи в радиусе чуть ли не шестьдесят миль), – люди в основном преуспевающие. Большинство из них фермеры, народ пришлый и притом самого разного происхождения: немцы, ирландцы, норвежцы, мексиканцы и даже японцы. Они разводят коров и овец, сеют пшеницу, просо, выращивают луговые травы и сахарную свеклу. Урожай повсюду зависит от удачи, а жители западного Канзаса вообще называют себя «прирожденными игроками», поскольку им вечно приходится иметь дело с исключительной скудостью осадков – в год едва набегает восемнадцать дюймов – и мучительно биться над проблемой полива. Правда, последние семь лет обошлись без засухи и были временем изобилия. А хозяева ранчо в округе Финней, к которому относится Холкомб, вообще не бедствуют: доход им приносит не только скотоводство, но и природный газ – его запасы в этих местах неисчерпаемы, – и это можно заметить по новой школе, интерьерам благоустроенных фермерских домиков и по элеваторам, которые ломятся от зерна.

Вплоть до одного ноябрьского утра 1959 года мало кто из американцев – собственно говоря, даже мало кто из канзасцев – слышал о том, что есть такое местечко Холкомб. Так же, как воды реки, так же, как автомобилисты на шоссе и желтые вагоны, громыхающие по рельсам магистрали Санта-Фе, драма, в виде какого-либо из ряда вон выходящего события, всегда миновала эти места. Жителей, которых насчитывалось ровно двести семьдесят, это вполне устраивало, и им нравилось вести обычную жизнь: работать, охотиться, смотреть телевизор, ходить на школьные собрания, занятия хора и заседания клуба «4С». Но в тот день, в предрассветные часы

ноябрьского воскресенья, привычную ночную гамму Холкомба, состоящую из назойливых жалоб койотов, сухого шуршания перекасти-поля и коротких удаляющихся свистков паровоза, нарушили чуждые звуки. В ту минуту ни один человек в спящем Холкомбе не услышал четыре ружейных выстрела, погубившие, как говорили потом, шесть человеческих жизней. Зато уже после жители поселка, которые прежде доверяли друг другу настолько, что редко удосуживались запереть дверь, снова и снова слышали их в своем воображении – те зловещие хлопки, что разожгли огоньки недоверия, в разгоревшемся пламени которого многие старые соседи взглянули друг на друга как незнакомцы на незнакомцев.

Хозяину фермы «Речная Долина» Герберту Уильяму Клаттеру было сорок восемь лет, и в результате недавнего медицинского обследования, сделанного для получения страхового полиса, выяснилось, что он в отличной форме. Несмотря на то, что мистер Клаттер носил изящные очки без оправы и роста был среднего – пять футов десять дюймов, – внешность он имел мужественную. Плечи у него были широкие, волосы до сих пор оставались темными, волевое лицо с квадратным подбородком сохранило здоровый цвет молодости, а зубы, белоснежные и такие крепкие, что он легко разгрызал грецкий орех, были все до единого целы. Он весил сто пятьдесят четыре фунта – ровно столько, сколько в тот день, когда окончил Канзасский университет, где приумножал свои познания в сельском хозяйстве. Мистер Клаттер был не так состоятелен, как главный богач Холкомба мистер Тэйлор Джонс, владелец соседнего ранчо, зато из всех местных жителей пользовался самой широкой известностью, причем не только в Холкомбе, но и в Гарден-Сити, расположенном неподалеку центре округа, где он возглавлял комитет по строительству недавно законченного здания Первой методистской церкви – монументального сооружения стоимостью восемьсот тысяч долларов. В настоящее время мистер Клаттер являлся председателем Канзасской конференции фермерских хозяйств, и его имя с уважением произносили не только фермеры всего Среднего Запада, но и многие чиновники в ведомствах Вашингтона: во времена Эйзенхауэра он был членом Федеральной фермерской кредитной комиссии.

Мистер Клаттер всегда знал, что ему нужно от жизни, и все, что хотел, в общем, уже получил. На левой руке, на обрубке пальца – одну фалангу он себе много лет назад отхватил каким-то сельскохозяйственным механизмом, – мистер Клаттер носил простое золотое кольцо; уже четверть века оно являлось символом его женитьбы на той, на ком он хотел жениться – сестре его однокурсника в колледже, робкой, набожной и утонченной

девушке по имени Бонни Фокс. Бонни была на три года моложе мужа. Она подарила ему четверых детей – трех дочек и наконец сына. Старшая дочь, Эвиана, уже вышла замуж и десять месяцев назад родила мальчика. Она жила в северном Иллинойсе, но часто навещалась в Холкомб. Кстати сказать, ее очередного визита ждали через две недели – с ребенком и с мужем: ее родители собирались устроить на День благодарения торжественный сбор клана Клаттеров (берущего начало из Германии; первый иммигрант Клаттер – или Клоттер, как тогда писалась эта фамилия, – приехал сюда в 1880 году). Были приглашены все родственники – пятьдесят с лишним человек; должны были приехать даже те, что жили у черта на рогах – в Палатке, штат Флорида. Беверли, вторая по старшинству после Эвианы, тоже покинула «Речную Долину»; теперь она жила в Канзас-Сити, училась там на медсестру. Беверли была помолвлена с юным студентом-биологом; ее отцу он пришелся весьма по душе. Приглашения на свадьбу, намеченную на рождественскую неделю, были уже напечатаны. Таким образом, в доме помимо родителей оставались еще Кеньон, который в свои пятнадцать лет был уже на голову выше отца, и третья сестра, на год старше Кеньона, – любимица всего Холкомба Нэнси.

В отношении семьи у мистера Клаттера был лишь один серьезный повод для беспокойства – здоровье жены. Она была «нервной», у нее случались «небольшие срывы», как деликатно именовали это близкие. Конечно же, «недомогания бедной Бонни» ни в коей мере не являлись секретом для окружающих, все знали, что последние шесть лет она то и дело лечилась у психиатра. И все-таки даже над этой теневой стороной дома совсем недавно блеснул солнечный луч. В прошлую среду, вернувшись после двухнедельного пребывания в медицинском центре Уэсли в Уичито, где она обычно пряталась от мира, миссис Клаттер принесла своему мужу почти невероятное известие. Она с радостью сообщила ему, что причина ее несчастий, как наконец-то установили врачи, кроется не в голове, а в позвоночнике. Причина сугубо физиологическая – ущемление нерва. Разумеется, ей придется лечь на операцию, зато потом – о! – она снова станет «собой прежней». Неужели это возможно? Постоянное напряжение, замкнутость, рыдания в подушку за закрытыми дверями – неужели всем этим она обязана всего лишь смещению каких-то там позвонков? Если так, тогда мистеру Клаттеру перед трапезой в День благодарения останется только вознести Господу ничем не омраченную благодарственную молитву.

Как правило, утро мистера Клаттера начиналось в половине седьмого: обычно его будило звяканье ведер с молоком и шепот мальчишек, которые

их приносили, – сыновей Вика Ирзика. Но сегодня график был нарушен, сыновья Вика Ирзика пришли и ушли, а он их даже не услышал и встал с опозданием. Вчерашний вечер – пятница, тринадцатое – был довольно утомительным, хотя и приятным. Бонни вспомнила «себя прежнюю», словно в залог своей будущей нормальности и энергии, которая скоро к ней возвратится. Она накрутила губы, долго возилась с прической и, надев новое платье, отправилась с мужем в холкомбскую школу, смотреть самодеятельную постановку «Тома Сойера», где Нэнси играла Бекки Тэтчер. Мистер Клаттер радовался тому, что Бонни показалась на людях, что она хоть и нервничает, но все-таки улыбается, разговаривая с другими родителями. И оба они гордились своей Нэнси: она так хорошо играла, ни словечка не забыла, а уж выглядела, как он сказал ей, когда поздравлял за кулисами, «просто очаровательно, моя милая, – настоящая красавица-южанка». После чего Нэнси, как и подобает красавицам-южанкам, сделала реверанс, шурша юбкой с кринолином, а потом спросила, нельзя ли ей съездить в Гарден-Сити? В половине двенадцатого ночи в окружном театре показывают *особый* – ведь сегодня пятница, тринадцатое – фильм ужасов, и все ее друзья там будут. При других обстоятельствах мистер Клаттер не разрешил бы. Правила есть правила, и одно из них гласит: Нэнси – и Кеньон тоже – должны быть дома к десяти вечера по будням и к двенадцати по субботам. Но, размякнув от радостных событий этого вечера, он уступил, и Нэнси вернулась домой только около двух. Он слышал, как дочь приехала, и позвал ее; мистер Клаттер не любил повышать голос, но ему нужно было сказать Нэнси пару простых вещей, касающихся не столько позднего возвращения, сколько юнца, который ее привез, – баскетбольного героя школы Бобби Раппа.

Мистер Клаттер относился к Бобби неплохо и считал, что для своего возраста – то есть для семнадцати лет – это довольно-таки надежный и порядочный парень; однако с тех пор, как три года назад Нэнси было позволено ходить на «свидания», она ни с кем, кроме Бобби, не общалась, и хотя мистер Клаттер понимал, что у нынешних подростков принято ходить парами, «дружить» и обмениваться «обручальными» кольцами, он не одобрял этой моды, особенно после того, как недавно застал свою дочь и Бобби, когда они целовались. Тогда он предложил Нэнси перестать «так часто встречаться с Бобби», пояснив, что постепенное отдаление сейчас будет менее болезненным, чем резкий разрыв потом, – ибо, напомнил он ей, рано или поздно это все равно произойдет. Раппы были католиками, Клаттеры – методистами, и одного этого хватало, чтобы разрушить все мечты о будущем браке, которые могли лелеять их дети. Нэнси вняла

голосу разума – во всяком случае, спорить не стала, – и сейчас, прежде чем пожелать ей спокойной ночи, мистер Клаттер взял с нее обещание, что она начнет понемногу бросать Бобби.

Однако все это прискорбным образом помешало ему лечь спать в обычное время – в одиннадцать. В результате, когда он проснулся в субботу, четырнадцатого ноября, было уже значительно больше семи. Жена его всегда спала сколько было возможно, но мистер Клаттер, бреясь, принимая душ и надевая габардиновые брюки, кожаную куртку и мягкие сапоги для верховой езды, не опасался потревожить ее сон. Уже несколько лет он спал один в хозяйской спальне на нижнем этаже двухэтажного кирпичного дома на четырнадцать комнат. Что до Бонни, то она хотя и держала всю одежду в шкафах их общей спальни, а немногочисленную косметику и несметное количество лекарств – в смежной с ней ванной, выложенной голубым кафелем, сама прочно пустила корни в бывшей комнате Эвианы, которая, как и спальни Нэнси и Кеньона, располагалась на втором этаже.

Дом – а проект в значительной мере был придуман самим мистером Клаттером, который при этом проявил себя весьма трезвомыслящим и практичным, хотя и не слишком заботящимся о красоте архитектором, – был построен в 1948 году. На строительство ушло сорок тысяч долларов; теперь продажная стоимость дома равнялась шестидесяти тысячам. Симпатичный беленький особнячок, стоящий в конце длинной тенистой аллеи китайских вязов, на широкой ухоженной лужайке, засаженной бермудской травой, производил на жителей Холкомба огромное впечатление; проходя мимо, они почти всегда останавливались и показывали на него пальцем. Что касается интерьера, то здесь сияние звонких лакированных половиц приглушалось топкими коврами цвета сырой печенки; необъятный суперсовременный диван в гостиной был покрыт буклированным покрывалом, перекликающимся по цвету с блестящими столиками из серебристого металла. Главной достопримечательностью ниши для завтраков была покрытая бело-голубым пластиком скамья. Именно такого рода мебель нравилась мистеру и миссис Клаттер – а также почти всем их знакомым, чьи дома были обставлены в том же духе.

Домашней прислуги у Клаттеров не было – только домработница, которая приходила по будням; поэтому после того, как заболела Бонни, а старшие дочери разъехались, мистеру Клаттеру волей-неволей пришлось научиться стряпать. Он сам или Нэнси – но преимущественно Нэнси – готовили на всю семью. Мистеру Клаттеру нравилось вести хозяйство, и он

прекрасно справлялся – ни одной женщине в Канзасе не удавалось лучше него испечь каравай из пресного теста, а его знаменитое кокосовое печенье на благотворительных ярмарках шло нарасхват. Впрочем, сам он не был большим любителем поесть; в отличие от своих домочадцев мистер Клаттер, пожалуй, даже предпочитал спартанский завтрак. В то утро он ограничился стаканом молока и яблоком. Мистер Клаттер не употреблял ни чая, ни кофе и привык начинать день без горячего. Он принципиально отвергал любые стимуляторы, даже самые безобидные. Он не курил и, разумеется, не пил; более того, он ни разу в жизни не пробовал алкоголя и избегал тех, кто пробовал. Впрочем, это обстоятельство не так сильно сузило круг его общения, как можно было бы предположить, поскольку круг этот составляли в основном члены Первой методистской церкви Гарден-Сити, насчитывающей семнадцать тысяч прихожан, и большинство из них отличались желанной мистеру Клаттеру воздержанностью. Несмотря на то, что он старался никому не навязывать своих взглядов и не подвергал цензуре то, что лежит вне сферы его влияния, в своей семье и среди наемных работников он насаждал их весьма активно. «Вы пьете?» – был первый вопрос, который мистер Клаттер задавал всякому, кто приходил наниматься, и даже если кандидат отвечал отрицательно, ему все равно приходилось подписывать контракт, содержащий пункт, согласно которому за «хранение алкоголя» работнику грозило немедленное увольнение. Один приятель мистера Клаттера, старый пионер-фермер мистер Линк Рассел, как-то сказал ему: «Ты слишком безжалостен. Готов поклясться, Герб, если ты застукаешь работника с бутылкой, он тут же вылетит из твоего дома. А что его семья будет голодать, тебе плевать». Этот упрек был, вероятно, единственным, который когда-либо заслужил мистер Клаттер в роли работодателя. В остальном же его знали как человека невозмутимого и отзывчивого, всем было известно, что он платит щедро и частенько выдает премиальные; у его наемных работников – а их порой набиралось до восемнадцати человек – не было причин жаловаться.

Допив молоко, мистер Клаттер надел меховую кепку и, прихватив яблоко, вышел на крыльцо взглянуть, какое нынче выдалось утро. Погода была самая подходящая для того, чтобы со вкусом сгрызть яблоко: с чистейшего неба струилось светлейшее сияние, восточный ветер, не позволяя себе разгуляться в полную силу, слегка шелестел последними листьями вязов. Осень вознаграждала Канзас за все зло, причиняемое прочими временами года, – за жестокие зимние ветра, дующие из Колорадо и наметающие высокие сугробы, в которых гибнут овцы; за слякоть и низкий тяжелый туман весенней поры; за лето, когда даже вороны ищут

хоть какую-то тень, а золотые колосья сверкают под солнцем так, что больно глазам. Но, наконец, в сентябре погода меняется и наступает бабье лето, которое в иные годы тянется до самого Рождества. Пока мистер Клаттер любовался чудесным образчиком этого времени года, к нему присоединился дворовый пес – помесь колли не пойми с чем, – и они вместе прошли до загона, примыкающего к одному из трех амбаров, имевшихся на участке.

Первый амбар – огромный сборный дом из гофрированного железа – был доверху набит уэстлендским сорго; в другом высилась островерхая гора проса – на сто тысяч долларов. Эта сумма на четыре тысячи процентов превышала весь доход мистера Клаттера за 1934 год – год, когда он женился на Бонни Фокс и вместе с ней переехал из родного Розела в Гарден-Сити, где устроился помощником сельскохозяйственного агента округа Финней. Примечательно, что ему понадобилось всего каких-то семь месяцев, чтобы продвинуться по службе – то есть занять место своего начальника. За годы, что он занимал этот пост, прогресс пришел и в этот край, который с тех самых пор, как здесь появился белый человек, всегда был пыльным нищим захолустьем. Молодой Герберт Клаттер виртуозно постигал новейшие методы в области сельского хозяйства, и ему вполне хватало умения, чтобы выступать посредником между правительством и унылыми фермерами. Людям нравились оптимизм и грамотные советы приятного молодого человека, который, казалось, знает свое дело. Но все равно он занимался не тем, чем ему хотелось; Герберт, сын фермера, всегда жаждал обрабатывать *свою* землю. Проработав четыре года агентом, он отказался от должности и на участке, арендованном на взятые взаймы деньги, основал ферму «Речная Долина» (название, оправданное, конечно же, только близостью извилистой реки Арканзас; никакой долины тут и в помине не было). Те, кто привык жить по старинке, следили за этим его начинанием с недоверчивым любопытством – старожилы и раньше не упускали случая посмеяться над молодым агентом по поводу его университетских понятий: «Это все замечательно, Герб. Ты всегда знаешь, что надо делать с чужой землей. Сажайте то, террасируйте сё. Интересно, что бы ты сказал, будь это твоя земля». Скептики ошибались – эксперимент выскочки оказался успешным, отчасти благодаря тому, что в первые годы он вкалывал по восемнадцать часов в сутки. Случались и неудачи – два раза не уродилась пшеница, а один раз снежная вьюга погубила несколько сотен овец. Но через десять лет владения Клаттера уже состояли из восьми тысяч акров, принадлежавших ему безраздельно, и еще трех тысяч, которые он брал в аренду, – а это, как признавали его коллеги, был «очень неплохой

кус». Пшеница, просо и кондиционные семена – вот на чем строилось благополучие фермы. Скот – овцы и особенно коровы – тоже играл немалую роль. Семьсот херсфордских коров носили тавро Клаттера, хотя по тем животным, что оставались в загоне, никто бы этого не сказал: загон предназначался для слабеньких бычков и дойных коров – а заодно для Нэнсиных кошек и всеобщей любимицы Крошки, старой разжиревшей ломовой лошади, которая никогда не отказывалась протопать по дороге, неся на своей широкой спине троих-четверых ребятишек.

Мистер Клаттер отдал Крошке огрызок яблока и поздоровался с мужчиной, который шуровал граблями за загородкой, – Альфредом Стоуклейном, единственным из работников, который жил у него на участке. Стоуклейны со своими тремя детьми обитали в домике, стоящем всего в ста ярдах от особняка Клаттеров; за этим исключением соседей у мистера Клаттера не было в радиусе полумили. Стоуклейн повернул к хозяину свою вытянутую физиономию с длинными коричневыми зубами и спросил:

– Я вам сегодня ни для чего такого не нужен? А то у нас болеют. Младшая наша. Мы с моей миссис всю ночь над ней просидели. Вот, думал к доктору ее сносить.

Мистер Клаттер, выразив сочувствие, сказал, что конечно, на все утро он его отпускает, а если они с женой могут чем-то помочь, пусть им дадут знать. Потом вдвоем с псом, который трусил впереди, он пошел на юг, в сторону полей, которые сейчас, после жатвы, были цвета львиной шкуры и отливали золотом стерни.

Этот путь вел к реке; неподалеку от берега был небольшой сад – персики, груши, вишни и яблони. По воспоминаниям местных жителей, пятьдесят лет назад лесорубу потребовалось всего десять минут, чтобы вырубить все деревья в западном Канзасе. Даже сегодня тут сажали только трехгранные тополя да китайские вязы, почти столь же равнодушные к воде, как кактусы. Хотя, как любил повторять мистер Клаттер, «еще бы на дюйм больше осадков, и эта земля стала бы просто Эдемом – раем на земле». Небольшой фруктовый сад возле реки был попыткой сотворить – есть дождь, нет ли – уголок того самого Эдема, того зеленеющего, благоухающего яблоками рая, который представлялся внутреннему взору мистера Клаттера. Жена его как-то сказала: «Мой муж об этих деревьях печется больше, чем о родных детях», и все в Холкомбе помнили тот день, когда маленький самолет, потеряв управление, бухнулся прямо на персиковые деревья. «Герб тогда словно с цепи сорвался. Пропеллер еще не остановился, а он уже поволок летчика в суд», – говорили соседи.

Мистер Клаттер шел садом вдоль реки, которая в этом месте была

неглубока и вся усеяна островками – окруженными водой пляжами с мелким песочком, куда в былые времена, пока Бонни была еще в форме, по воскресеньям, в жаркие дни законного отдыха, привозили корзинки для пикника, и семья проводила день в ожидании, когда дернется кончик удилица.

Мистер Клаттер редко сталкивался с нарушением границ своей территории; за полторы мили от шоссе, да еще если учесть, что дорога едва различима, это было не то место, куда мог забрести случайный незнакомец. Но сейчас чужаков вдруг оказалась целая компания, и Тедди – так звали пса – с грозным рычанием ринулся вперед, что вообще-то было ему несвойственно. Хотя он был хорошим сторожем, всегда начеку и лаем мог разбудить мертвого, в его отваге был один изъян: стоило ему углядеть ружье – а все пятеро пришельцев были вооружены, – как голова его клонилась к земле, а хвост опускался. Никто не знал почему, поскольку никто не знал, что с ним было до того, как несколько лет назад его подобрал Кеньон. Незваные гости оказались охотниками на фазанов, приехавшими из Оклахомы. Охотничий сезон в Канзасе, самое яркое событие ноября, привлекает сюда толпы охотников из соседних штатов, и за последнюю неделю целый полк клетчатых кепок прошеествовал по осенним просторам, паля из ружей и срезая свинцовыми шариками дробь меднокрылых птиц, разжиревших на зерне. По обычаю, охотники, если только они не были приглашены в гости, платили хозяину за разрешение преследовать дичь на его земле; но когда оклахомцы предложили мистеру Клаттеру купить у него это право, он только рассмеялся.

– Я не так беден, как вам могло показаться. Ради бога, стреляйте сколько влезет, – сказал он и, вежливо прикоснувшись пальцами к козырьку кепки, повернул к дому, где его ждала каждодневная работа, не подозревая, что ему предстоит выполнить ее в последний раз.

Так же как мистер Клаттер, молодой человек, который завтракал в кафе под названием «Маленькое сокровище», никогда не пил кофе. Он предпочитал сладкое пиво. Три таблетки аспирина, холодное сладкое пиво и несколько сигарет «Пэлл-Мэлл» подряд – таково было его представление о нормальной «пайке». Он потягивал пиво, покуривал и изучал разложенную на стойке карту Мексики – «Филипс-66». Только ему было трудно сосредоточиться, потому что он ждал друга, а друг опаздывал. Он посмотрел в окно на тихую улицу городка, на улицу, которую впервые увидел только вчера. Дика все не видать. Но он непременно появится – в конце концов, это Дик предложил встретиться, и «фарт» тоже его. А когда

все будет сделано – в Мексику. Карта была рваная и такая замусоленная, что стала мягкой как замша. В отеле за углом, где остановился этот молодой человек, у него в комнате была их целая сотня – старые карты всех штатов, всех канадских провинций, всех стран Южной Америки – поскольку он без конца строил планы путешествий и немалую часть их осуществил: побывал на Аляске, на Гавайях, в Японии и в Гонконге. Теперь, благодаря этому письму, приглашению на «фарт», он оказался здесь со всем своим добром: фибровым чемоданчиком, гитарой и двумя большими сундуками – с книгами, картами, песнями, стихами и давними письмами – общим весом в четверть тонны. (Ну и рожа была у Дика, когда он увидел эти сундуки! «Господи, Перри! Ты что, всюду таскаешь с собой этот хлам?» А Перри ответил: «Что значит „хлам“? Из этих книг одна встала мне в тридцать баксов».) И вот теперь он торчит в крошечном городке Олате, штат Канзас. Если вдуматься, это даже забавно: надо же было снова вернуться в Канзас, после того как он поклялся – сначала Совету по вопросам условного освобождения, потом самому себе, – что ноги его в Канзасе больше не будет. Ладно уж, он быстренько.

Карта кишела обведенными в кружочек названиями. КОСУМЕЛЬ, остров недалеко от Юкатана, где, как Перри вычитал в мужском журнале, можно «сбросить одежду, нацепить блаженную улыбку, жить как раджа и иметь любую женщину, какую пожелаешь, – и все это за полсотни долларов в месяц». Из той же статьи он помнил еще такие весьма приятные утверждения: «Косумель свободен от всякого социального, экономического и политического давления. На этом острове к частному лицу не прицепится ни один чиновник». А также – «Ежегодно с материка сюда прилетают гнездиться попугаи». Название АКАПУЛЬКО вызывало в голове картины рыбной ловли в открытом море, казино, знойных богачек; а СЬЕРРА-МАДРЕ – это золото, это «Сокровище Сьерра-Мадре», фильм, который он смотрел восемь раз. (Это была лучшая картина с Богартом, но и старикан, который изображал старателя, того, что напомнил Перри его отца, тоже классно сыграл... Уолтер Хьюстон. И, между прочим, Дику он, Перри, сказал чистую правду: он и в самом деле знал все тонкости работы старателя, научившись им еще от отца, который занимался этим профессионально. Так почему бы им, ему и Дику, не купить пару вьючных лошадей и не попытаться счастья в Сьерра-Мадре? Но Дик, практичный Дик, сказал: «Тпру, дружок, полегче. Видел я это кино. В конце там все слетают с катушек. От лихорадки, пиявок и всяких Тяжелых Условий. И потом, вспомни – когда они нашли золото, налетел вихрь и сдул все, что они намыли».)

Перри сложил карту, заплатил за пиво и встал из-за стойки. Сидя он выглядел прямо-таки исполином: плечи, руки и плотный кряжистый торс у него были как у тяжелоатлета – и надо сказать, поднятие тяжестей было его хобби, – но нижняя и верхняя части тела у него были непропорциональны. Маленькие ступни, закованные в короткие черные сапоги с металлическими пряжками, были, казалось, созданы для изящных бальных туфель; стоя он был не выше двенадцатилетнего подростка и как только начинал расхаживать на своих коротеньких ножках, совершенно не вязавшихся с тем взрослым туловищем, которое они поддерживали, то сразу делался похож не на здоровяка-дальнобойщика, а на отставного жокея, погрузневшего и накачавшего мышцы.

Потом он вышел из забегаловки погреться на солнышке. Было уже без четверти девять, Дик опаздывал на полчаса; впрочем, если Дик до сих пор не уяснил себе, как важна каждая минута ближайших двадцати четырех часов, ему, Перри, нет до этого дела. Время редко становилось для него бременем, поскольку он знал массу способов его убить – например, смотреться в зеркало. Дик однажды не выдержал: «Стоит тебе завидеть зеркало, ты прямо впадаешь в транс. Будто увидел какую-то обалденную задницу. Я в том смысле – как только тебе не надоест?» Какое там: Перри завораживало собственное лицо. Под разным углом оно казалось разным, это было лицо подмывающего эльфов, и после долгих упражнений перед зеркалом он научился изменять его как угодно. Мог нацепить жуткую маску, мог стать озорным, а потом – томным; легкий наклон головы, изгиб губ – и беспутный цыган превращается в нежного романтика. Его мать была чистокровной чероки; от нее Перри унаследовал кожу цвета йода, темные влажные глаза, черные волосы, которые он смазывал бриллиантином и которых хватало на бачки и гладкий кустик челки. Одним словом, то, чем его одарила мать, сразу бросалось в глаза; что касается наследства отца, веснушчатого рыжеволосого ирландца, то оно было не так заметно, будто индейская кровь размыла все следы кельтской. И все же розовые губы и вздернутый нос подтверждали, что следы эти есть, как подтверждали это его повадки и беспардонная ирландская самовлюбленность, которые часто скрывались под маской индейца, но оживляли ее, когда Перри играл на гитаре и пел. Исполнение песен перед воображаемой публикой было еще одним увлекательным способом скоротать пару часов. Перри все время мысленно проигрывал один и тот же сценарий – ночной клуб в его родном Лас-Вегасе и шикарный зал, заполненный знаменитостями, которые восторженно внимают новой звезде, исполняющей свою знаменитую версию «I'll be seeing you» в

сопровождении скрипок, а на бис – самую последнюю балладу собственного сочинения:

*Каждый год в апреле
Стаи попугаев
Мимо пролетают,
Крыльями алая.
Я слышу, как они летят,
Я слышу, как они свистят,
И от этих трелей всем становится теплее.*

(Дик на первом прослушивании этой баллады сделал такой комментарий: «Попугаи не свистят и не выводят трелей. Может, говорят или кричат, но хоть ты меня режь, трелей они не выводят». Ясное дело, Дик начисто лишен воображения – ну просто *начисто*; он ни черта не смыслит ни в музыке, ни в поэзии. Хотя, если разобраться, именно приземленность Дика, его практический подход ко всему и были основными чертами, привлекавшими к нему Перри, – ибо по сравнению с ним самим Дик казался ему таким закаленным, крутым, неуязвимым. Настоящим мужчиной.)

Впрочем, грезы о Лас-Вегасе, как бы приятны они ни были, бледнели на фоне другого видения. Еще с самого детства, почти все тридцать лет, что он прожил на свете, Перри гонялся за книгами («БОГАТСТВА ГЛУБИН! Тренируйтесь дома в свободное время. Подводное плавание! Ваш шанс быстро разбогатеть! БЕСПЛАТНЫЕ БУКЛЕТЫ...»), покупаясь на рекламу («ЗАТОНУВШИЕ СОКРОВИЩА! Пятьдесят подлинных карт! Потрясающее предложение...»), которая неустанно подогревала его жажду наяву пережить приключение, уже сотни раз пережитое в воображении: вот он медленно погружается в незнакомые воды, в зеленый морской полумрак, скользя мимо покрытых чешуей стражей вырисовывающегося впереди остова корабля, испанского галеона, затонувшего с грузом сокровищ. Россыпи бриллиантов и жемчугов, штабеля ларцов с драгоценностями.

Гудок клаксона. Дик. Наконец-то.

– Господи боже, Кеньон! Да слышу я!

Вечно этот Кеньон. Снизу неслись крики:

– Нэнси! К телефону!

Босиком, в одной пижаме, Нэнси сбежала по лестнице. В доме было

два аппарата: один в кабинете отца, другой на кухне. Она взяла трубку в кухне.

– Алло? А, миссис Кац! Доброе утро.

И миссис Кларенс Кац, жена фермера, который жил у шоссе, затараторила:

– Я *просила* твоего папу тебя не будить. Я сказала: наверное, она устала после такого блестящего вчерашнего выступления. Ты была такая красавица, дорогая! Эти белые бантики у тебя в волосах! А та сцена, где ты подумала, что Том умер, – у тебя на глазах были настоящие слезы! Просто не хуже, чем по телевизору! Но твой папа сказал, что тебе пора вставать, – и правда, уже скоро девять. Так вот что я хотела, дорогая, – моя дочурка, моя маленькая Джолен, просто сгорает от желания испечь пирог с вишнями, а раз уж ты у нас лучшая специалистка по вишневым пирогам и всегда получаешь призы, то, может, я сейчас ее к вам подвезу и ты покажешь ей, как и что?

Вообще говоря, Нэнси с удовольствием научила бы Джолен готовить хоть целый обед с индейкой; она считала своим долгом уделять время девочкам помладше, когда те не справлялись с готовкой, шитьем или уроками музыки – или же, как нередко бывало, когда им хотелось посекретничать. Каким чудом ей удавалось выкроить свободный час, при том, что она по существу в одиночку содержала большой дом, была отличницей, президентом класса, возглавляла программу «4С» и Лигу юных методистов, великолепно музицировала (фортепьяно, кларнет), каждый год побеждала на окружных ярмарках (выпечка, консервирование, вышивание, цветоводство), каким чудом девушка, которой еще нет семнадцати, умудряется тащить такой воз – и при этом без всякого чванства, а наоборот, с непринужденным изяществом, – было загадкой, над которой ломало голову все холкомбское общество. В конце концов люди решили следующим образом: «У нее есть характер. Она пошла в своего старика». Безусловно, самую сильную черту, определяющую характер, Нэнси действительно унаследовала от отца: организованность, доведенную до совершенства. У нее все было расписано; она точно знала, что и в какой час будет делать и сколько это займет времени. В том-то и заключалась загвоздка: сегодняшней день у нее был уже весь распланирован. Она обещала помочь дочери других соседей – Рокси Ли Смит – отрепетировать соло на трубе, которое Рокси хотела исполнить на школьном концерте, а потом ей предстояло выполнить три важных поручения своей матери, затем съездить с отцом на собрание клуба «4С» в Гарден-Сити, приготовить обед, а после обеда заняться платьем к свадьбе Беверли, которое Нэнси сама

придумала и шила тоже сама. Как ни верти, свободного местечка для выпечки вишневого пирога не выкроишь; разве что отменить какой-то другой пункт.

– Миссис Кац? Подождите, пожалуйста, минутку, хорошо?

Нэнси прошла в кабинет отца, отгороженный от остального помещения раздвижной дверью; отсюда был еще один выход – на улицу, для посетителей. Хотя время от времени мистер Клаттер сидел тут вместе со своим партнером Джеральдом Ван Влитом, в принципе это была его келья – чистенькое святилище, отделанное ореховыми панелями; здесь висели барометры, графики выпадения осадков, бинокль – и мистер Клаттер восседал среди всего этого, как капитан в своей каюте, как штурман, ведущий «Речную Долину», рискованным порою путем, сквозь все времена года.

– Не переживай, – сказал он, выслушав Нэнси. – Пропусти «4С». Я возьму с собой Кеньона.

Сняв трубку прямо в кабинете, Нэнси сказала миссис Кац – что ж, прекрасно, привозите Джолен прямо сейчас. Но когда она повесила трубку, брови ее были нахмурены.

– Странно, – сказала она, обведя взглядом комнату. Ее отец помогал Кеньону сложить колонку цифр, а у окна за своим столом сидел мистер Ван Влит. Помощник мистера Клаттера обладал какой-то тяжеловатой породистой красотой, из-за чего Нэнси за глаза называла его «Хитклиф». – Я чувствую запах сигарет.

– Когда дышишь? – уточнил Кеньон.

– Нет, когда *ты* дышишь. Глупый вопрос.

Кеньон замолк, поскольку знал, что ей известно о том, что он время от времени делает пару затяжек украдкой. Но, между прочим, Нэнси тоже покуривала.

Мистер Клаттер хлопнул в ладоши.

– Ну все, хватит. Здесь все-таки кабинет.

Поднявшись к себе, Нэнси переоделась в потертые «ливайсы» и зеленый свитер и защелкнула на запястье золотые часы; выше них среди своих сокровищ она ценила только ближайшего друга – кота Эвинруда, а на первом месте у нее стояла печатка – подарок Бобби, громоздкое доказательство ее статуса «подружки», – которую она носила (когда носила: при малейшей размолвке кольцо отправлялось в изгнание) на большом пальце: даже с помощью липкой ленты нельзя было приспособить мужское кольцо к другому пальцу, более подходящему для этой цели. Нэнси была хорошенькой девушкой, стройной и по-мальчишески живой;

самыми красивыми в ее облике были коротко подстриженные блестящие каштановые волосы (она ровно сто раз проводила по ним щеткой с утра и столько же на ночь) и отполированное тщательными умываниями личико, до сих пор немного веснушчатое и розовато-смуглое от солнца ушедшего лета. Но притягательнее всего в ней были глаза – широко раскрытые, темные, но прозрачные, словно эль, если его рассматривать на свет, они очаровывали людей, которые видели в них доверчивость и доброту: импульсивную, но в то же время осознанную.

– Нэнси! – крикнул снизу Кенъон. – Сьюзен звонит.

Сьюзен Кидвелл, ее наперсница. Нэнси опять сняла трубку на кухне.

– Рассказывай, – потребовала Сьюзен; она неизменно начинала телефонный разговор с этой команды. – И в первую очередь объясни, зачем тебе вздумалось флиртовать с Джерри Роттом?

Джерри Ротт, как и Бобби, был баскетбольной звездой школы.

– Вчера вечером? Господи, да я и не думала с ним флиртовать. Ты имеешь в виду, что мы держались за руки? Просто он во время спектакля зашел за кулисы. А я очень нервничала. Ну он и взял меня за руку. Чтобы придать смелости.

– Очень мило. Ну а потом?

– Потом Бобби водил меня на фильм ужасов. И в кино уже он держал меня за руку.

– Он очень страшный? Я не о Бобби, я о фильме.

– Бобби считает, что нет. Он всю дорогу только смеялся. Но ты же меня знаешь. Мне крикни «бу!», и я тут же брякнусь со стула.

– Что ты там грызешь?

– Ничего.

– А я знаю что – ногти, – Сьюзен попала в точку. Как Нэнси ни старалась, ей не удавалось избавиться от привычки обкусывать ногти, когда что-то ее угнетало, и порой она могла сгрызть их до мяса. – Выкладывай. У тебя неприятности?

– Нет.

– Нэнси! C'est moi... – Сьюзен учила французский.

– Да папа... Последние три недели он ужасно не в духе. Ужасно. По крайней мере, как только дело касается меня. И когда я вчера вернулась домой, он опять завел свою шарманку.

«Шарманка» не требовала разъяснений; эту тему подруги уже давно подробно обсудили и пришли к единому мнению. Подводя итог обсуждениям, Сьюзен в свое время сказала:

– Сейчас ты любишь Бобби и он тебе нужен. Но, при всем том даже

ему понятно, что ничего из этого не получится. Потом, когда мы уедем на Манхэттен, все будет по-новому. – Канзасский университет был на Манхэттене, и девушки давно задумали поступить туда на отделение искусств и поселиться в одной комнате. – Тогда все переменится, хочешь ты того или нет. Но сейчас ты ничего не можешь поделать. Ты ничего не изменишь, пока живешь тут, в Холкомбе, и каждый день видишься с Бобби. Да и нет смысла стараться. Ведь у вас с Бобби все так хорошо. И у тебя останутся приятные воспоминания – потом, если вы с Бобби расстанетесь. Неужели ты не можешь втолковать это отцу? Нет, Нэнси не могла.

– Потому что, – объясняла она Сьюзен, – стоит мне только начать что-то ему говорить, как он сразу смотрит на меня так, будто я его не люблю. Или люблю *меньше*. И у меня уже язык не поворачивается продолжать. Я просто хочу быть его дочерью и делать так, как ему нравится.

На это Сьюзен ответить было нечего: такие чувства лежали за пределами ее жизненного опыта. Сьюзен жила вдвоем с матерью, преподавательницей музыки в холкомбской школе, и своего отца почти не помнила: много лет назад, когда они еще не переехали сюда из Калифорнии, мистер Кидвелл однажды вышел из дома и не вернулся.

– И все равно, – продолжала тем временем Нэнси, – вряд ли это только из-за меня. Не от этого он стал такой въедливый. Что-то еще его тревожит, причем очень тревожит.

– Твоя мать?

Никто больше из друзей и подруг Нэнси не осмелился бы коснуться этой болезненной темы. Но Сьюзен была на привилегированном положении. Когда она впервые появилась в Холкомбе – задумчивая, мечтательная девочка, хрупкая, болезненная и чувствительная, – ей было восемь: на год меньше, чем Нэнси. Клаттеры приняли новую подружку дочери с таким радушием, что маленькая девочка из Калифорнии, лишившаяся отца, скоро стала почти что членом семьи. Восемь лет Нэнси и Сьюзен были неразлучны; благодаря редкой близости взглядов на мир они стали друг для друга незаменимы. Но в минувшем сентябре Сьюзен перевели из местной школы в более просторную и, как предполагалось, более солидную школу в Гарден-Сити. Это был обычный порядок для всех холкомбских школьников, которые собирались поступать в колледж, но мистер Клаттер, неукротимый патриот своей общины, такое дезертирство считал оскорблением для самого духа сообщества. Холкомбская школа достаточно хороша для его детей, и они доучатся в ней до конца. Теперь подруги днем были разлучены, и Нэнси тяжело это переживала; ей не хватало Сьюзен – единственной, перед кем ей не надо было ни бодриться,

ни запираются.

– Может быть. Но мы все так за нее рады – ты же знаешь, какие у нас чудесные новости. Послушай-ка. – Нэнси помолчала, словно пыталась справиться с раздражением, которое все-таки выплеснулось в следующих словах: – Ну почему меня всюду преследует запах табачного дыма? Честное слово, мне кажется, я схожу с ума! Я сажусь в машину, вхожу в комнату – и все время мне мерещится, будто там только что кто-то курил. Но это не мама и уж конечно не Кеньон. Кеньон бы не посмел...

Как, вероятно, не посмел бы никто из тех, кто заходит к Клаттерам, в чьем доме подчеркнуто не держат пепельниц. Сьюзен постепенно начала понимать, к чему клонит Нэнси. Однако это была полная нелепость. Какие бы тревоги ни терзали мистера Клаттера, невозможно поверить, что он станет искать утешения в табаке. Но прежде чем Сьюзен успела спросить, верна ли ее догадка, Нэнси вдруг оборвала разговор:

– Извини, Сьюзен. Мне нужно идти. Миссис Кац уже приехала.

Дик сидел за рулем черного «шевроле-седан» выпуска 1949 года. Забравшись в машину, Перри первым делом проверил, на месте ли его гитара: накануне вечером они были в гостях у приятелей Дика, и он забыл ее на заднем сиденье. Это был старый «гибсон», отшкуренный и натертый воском до желтизны меда. Рядом с гитарой лежал инструмент иного рода – помповое ружье двенадцатого калибра, новенькое, с сизым отливом, с деревянным ложем, на котором была выгравирована сценка из охотничьей жизни – взлетающие фазаны. Фонарик, рыбацкий нож, кожаные перчатки и охотничий жилет с торчащими из кармашков патронами способствовали созданию особой атмосферы этого прелюбопытного натюрморта.

– Ты его наденешь? – спросил Перри, указывая на жилет.

Дик постучал костяшками пальцев по ветровому стеклу.

– Тук-тук. Простите, сэр, мы здесь охотились неподалеку и заблудились. Нельзя ли от вас позвонить...

– Si, señor. Yo comprendo.²

– Дело верное, – сказал Дик. – Я тебе обещаю, дружок, мы ихние мозги по всем стенам размажем.

– Их мозги, – поправил Перри. Фанат словаря, горячий поклонник заумных книжных слов, он не уставал исправлять грамматические ошибки своего товарища и расширять его лексикон с тех самых пор, как они вместе мотали срок в Канзасской исправительной колонии. Его ученик нисколько не обижался на эти уроки и, чтобы порадовать своего учителя, как-то раз даже разродился тетрадкой стихов; хотя эти вирши отличались крайней

непристойностью, Перри нашел их – «веселыми и непосредственными» и отдал рукопись в тюремную лавку, где ее переплели и золотым тиснением сделали на обложке надпись: «Грязные шутки».

На Дике был синий джемпер с надписью на спине «Боб Сэндз. Товары для тела». Они с Перри проехали по главной улице Олата и остановились перед другим заведением Боба Сэндза – авторемонтной мастерской, где Дик работал с тех пор, как вышел из тюрьмы (это было в середине августа). Он был хорошим механиком и получал шестьдесят долларов в неделю. За работу, запланированную им на это утро, ему ничего не полагалось, но мистер Сэндз, который по субботам оставлял Дика за главного, никогда не узнает, что в тот день платил своему подчиненному за ремонт его собственного автомобиля. Взяв Перри в подручные, Дик принялся за дело. Они залили свежее масло, отрегулировали сцепление, заменили разбитый подшипник, подзарядили аккумулятор и обули задние колеса в новую резину. Одним словом, приняли все необходимые меры предосторожности, поскольку в промежутке между сегодняшним и завтрашним днем старенькому «шевроле» предстояло показать все, на что он способен.

– Потому что мой старик все время крутился во дворе, – сказал Дик, когда Перри спросил, почему он опоздал. – А я не хотел, чтобы он видел, как я выхожу с ружьем. Черт, он бы разом смекнул, что я ему навешал лапши.

– Сразу. Ну так и что же ты ему сказал? В конце-то концов?

– Как договаривались. Сказал, что мы уезжаем с ночевкой. Сказал, что едем к твоей сестре в Форт-Скотт. Что она хранит для тебя денежки – полторы штуки.

У Перри действительно имелась сестра, а одно время даже целых две, но та, что осталась, никогда не жила в Форт-Скотте – канзасском городишке в восьмидесяти пяти милях от Олата; собственно говоря, Перри сам толком не знал, где она сейчас обитает.

– Ну и что, он скривился?

– С каких дел ему кривиться?

– С таких, что он меня ненавидит, – сказал Перри – мягким и вместе с тем чуть натянутым тоном. Он говорил тихо, но слова произносил отчетливо и выпускал их так же размеренно, как пастор выпускал бы колечки дыма. – И мать твоя тоже. Я это понял по их взглядам: испепеляющие взгляды.

Дик пожал плечами.

– Ты тут ни при чем. Не в тебе дело. Они просто не любят, когда я встречаюсь с ребятами «из-за забора». – Дик, в свои двадцать восемь лет

дважды женатый и дважды разведенный, отец троих сыновей, был освобожден досрочно с тем условием, что будет жить у родителей. Семья Дика, в том числе и его младший брат, жила на маленькой ферме близ Олата. – С любимым парнем в родных наколках, – добавил он и потрогал синюю точку под левым глазом – отличительный знак, немой пароль, по которому его мог признать любой бывший заключенный.

– Понимаю, – сказал Перри. – И сочувствую. Они хорошие люди. Честное слово, она милая женщина, твоя мать.

Дик кивнул; он и сам так считал.

После полудня они отложили инструменты; Дик завел мотор и, послушав ровный шум двигателя, остался вполне доволен плодами своих трудов.

Нэнси с Джолен тоже остались довольны плодами своих трудов; точнее сказать, подопечная Нэнси, худенькая тринадцатилетняя девочка, просто светилась от гордости. Она долгим взглядом посмотрела на пирог – обладатель приза голубой ленточки, на горячие, только что из печи, вишни, исходящие соком под хрустящей плетенкой корочки, а потом бросилась Нэнси на шею.

– Скажи честно, неужели я сама это сделала?

Нэнси засмеялась, обняла ее и заверила, что да, сама – разве что немного пришлось помочь.

Джолен захотела тут же его попробовать – а то, что пирог полагается остудить, это все чепуха.

– Пожалуйста, давай съедим по кусочку! И вы с нами, – обратилась она к миссис Клаттер, которая как раз вошла в кухню.

Миссис Клаттер улыбнулась – вернее, попыталась это сделать – и, поблагодарив, отказалась: у нее что-то нет аппетита.

Что же касается Нэнси, то у нее не было времени: ее ждали Рокси Ли и соло Рокси Ли на трубе, а потом – поручения матери; одно касалось девичника, который устраивали подруги Беверли из Гарден-Сити, а второе – приема на День благодарения.

– Ты иди, доченька. Я займу Джолен, пока за ней не придет мама, – сказала миссис Клаттер и, взглянув на девочку с неистребимой кротостью, добавила: – Если Джолен не возражает против моего общества.

В юности она получила приз за лучшую декламацию, но зрелость, казалось, свела все богатство ее голоса к одной ноте – виноватому тону, а всякое проявление темперамента – к набору жестов, довольно неопределенных, оттого что она вечно боялась кого-нибудь обидеть или

каким-нибудь образом вызвать неудовольствие собеседника.

– Я надеюсь, ты все понимаешь, – продолжала она, когда Нэнси ушла. – Я надеюсь, ты не будешь думать, что Нэнси – невежа?

– Да что вы, конечно нет! Я просто люблю ее до смерти. И все ее любят. Другой такой, как она, не найти. Знаете, что говорит миссис Стрингер? – так звали преподавательницу домашнего хозяйства. – Она всему классу сказала: «Нэнси Клаттер всегда спешит, но у нее на все хватает времени. А это отличительная черта истинной леди».

– Да, – откликнулась миссис Клаттер. – Все мои дети прекрасно справляются. Я им не нужна.

Джолен еще не приходилось оставаться наедине со «странной» матерью Нэнси, но, вопреки пересудам взрослых, которые порой достигали ее ушей, она не чувствовала никакой неловкости в ее обществе, потому что миссис Клаттер, хотя сама все время была в напряжении, обладала свойством действовать на других успокаивающе – как, в общем-то, всякий беззащитный человек, который ни для кого не представляет угрозы. Джолен была просто ребенок, но и в ней беспомощный вид миссис Клаттер, ее смиренное лицо в форме сердечка и домотканая воздушность пробуждали жалость и желание опекать. Но представить себе, что это – мать Нэнси! Тетушка – это еще куда ни шло; старая дева, которая приехала погостить, немножко чудная, но «милая».

– Нет, я им не нужна, – повторила миссис Клаттер, наливая себе кофе. Хотя все остальные члены семьи поддерживали бойкот, объявленный ее мужем этому напитку, она каждое утро выпивала две чашки – и зачастую это была вся ее пища за целый день. Она весила девяносто восемь фунтов, и кольца – обручальное и еще одно, с бриллиантом, но очень скромное, по причине застенчивости миссис Клаттер – свободно болтались на ее тонких пальчиках.

Джолен отрезала себе кусок пирога.

– Ух ты! – пробормотала она с набитым ртом. – Я эту вкусноту буду печь каждый день, семь дней в неделю!

– Да, у тебя ведь столько братьев – а мальчишки способны есть пироги бесконечно. Мистер Клаттер и Кеньон никогда от них не устают. Устает тот, кто готовит. Вот Нэнси так уже просто смотреть не может на пироги. И тебя ждет то же самое. Нет, нет, что это я такое говорю? – Миссис Клаттер сняла очки и прижала пальцы к глазам. – Прости, дорогая. Я уверена, тебе никогда не придется узнать, что такое усталость. Я уверена, что ты всегда будешь счастлива.

Джолен молчала. Нотки ужаса в голосе миссис Клаттер смутили ее.

Она растерялась, и ей захотелось, чтобы мама, которая обещала заехать за ней около одиннадцати, поскорее ее увезла.

Через минуту уже более спокойным тоном миссис Клаттер спросила:

– Тебе нравятся миниатюрные вещицы? Разные маленькие штучки? – и повела Джолен в гостиную, где на полочках среди всякой всячины были выставлены разные лилипутские безделушки: ножнички, наперсточки, хрустальные корзиночки с цветами, игрушечные статуэтки, вилочки и ножички. – Я их собирала с самого детства. Папа с мамой – и все мы – почти весь год проводили в Калифорнии. На берегу океана. И там был магазинчик, где продавались такие чудесные штучки. Вот эти чашечки... – подносик с приклеенными к нему кукольными чашками подрагивал у нее на ладони. – Мне их подарил папа. У меня было прекрасное детство...

Бонни была единственной дочерью преуспевающего фермера и обожаемой сестрицей троих старших братьев; поэтому ее не то чтобы баловали, но берегли, и оттого она привыкла считать жизнь сплошной вереницей приятных событий – канзасская осень, калифорнийское лето, дареные чашечки. Когда ей исполнилось восемнадцать, она, очарованная биографией Флоренс Найтингейл, устроилась в больницу Св. Розы в Грейт-Бенд учиться на медсестру. На самом-то деле она вовсе не собиралась становиться сестрой милосердия и через два года призналась себе в этом: картины больничной жизни и больничные запахи угнетали ее. И все же она по сей день жалела, что не доучилась и не получила диплом – «хотя бы затем», как она говорила подруге, «чтобы иметь свидетельство того, что я когда-то в чем-то преуспела». Но зато она познакомилась и обвенчалась с Гербом – однокурсником старшего из ее братьев, Гленна; вообще-то, поскольку две семьи жили не дальше чем в двух десятках миль друг от друга, она давно знала Герба в лицо, но Клаттеры, простые фермеры, не принадлежали к кругу тех, кого принимали у зажиточных и утонченных Фоксов. Однако Герб был хорош собой, он был благочестивый, волевой, он желал ее – и, кроме того, она была влюблена.

– Мистеру Клаттеру приходилось много ездить, – сказала она Джолен. – Ох, он без конца куда-нибудь уезжал. То в Вашингтон, то в Чикаго, то в Оклахому, то в Канзас-Сити – иногда мне казалось, что его вообще не бывает дома. Но отовсюду, куда бы он ни поехал, муж не забывал привезти мне, какую-нибудь маленькую безделушку. Он знает, как я их обожаю. – Она раскрыла крохотный бумажный веер: – Это он мне привез из Сан-Франциско. Заплатил за него всего пенни – но разве не прелестная вещица?

На второй год после свадьбы родилась Эвиана, а еще три года спустя –

Беверли. Каждый раз после родов молодая мать впадала в глубочайшее уныние и в припадках отчаяния бродила по комнатам, исступленно заламывая руки. Между рождением Беверли и Нэнси прошло еще три года – и это были годы пикников по воскресеньям и летних поездок в Колорадо, годы, когда Бонни в самом деле была хозяйкой и средоточием счастья в своем доме. Но с появлением на свет Нэнси симптомы послеродовой депрессии опять повторились, а после рождения сына ощущение тоски и уныния ее уже не покидало. Оно кружило над ней, словно туча, которая может пролиться дождем, а может и не пролиться. Бывали у нее и «хорошие дни», и временами их набегали недели, а то и месяцы – но даже в лучшие из этих «хороших дней», когда во всем остальном она была «собой прежней», нежной милой Бонни, какой ее помнили старые друзья, она не могла найти в себе той жизненной энергии, какой требовала все возрастающая общественная активность ее мужа. Он был «повсюду свой», он был естественный лидер, ну а она – нет и давно бросила всякие попытки себя изменить. И таким образом, по тропинкам, огороженным трепетной заботой и безграничной преданностью, они пошли каждый своим путем, и пути их редко соприкасались, ему выпало публичное шествие, марш удовлетворенных амбиций, ей – прогулка в одиночестве, часто оканчивающаяся больничным коридором. Но Бонни еще не утратила надежды. Ее поддерживала вера в Бога, а временами и явления мирской жизни укрепляли ее в мысли о том, что рано или поздно Он явит свою милость: то она прочтет о каком-нибудь чудо-лекарстве, то услышит о новом виде терапии или, как это было совсем недавно, решит винить во всем «ущемленный нерв».

– Маленькими вещицами владеешь по-настоящему, – сказала миссис Клаттер, складывая веер. – Их не обязательно оставлять. Их можно унести в коробке из-под обуви.

– Куда унести?

– Ну, просто с собой. Вдруг придется уехать надолго.

Несколько лет назад миссис Клаттер поехала на лечение в Уичито на две недели, но пробыла там два месяца. По совету доктора, который считал, что свежие впечатления помогут ей вновь обрести «ощущение собственной значимости и нужности», она сняла жилье и устроилась на работу в архиве Христианского союза женской молодежи. Муж всецело поддерживал ее в этой затее, но ей слишком понравилась работа – до такой степени, что Бонни начало казаться, что это как-то не по-христиански, и усугубившийся вследствие этого комплекс вины свел на нет терапевтический эффект эксперимента.

– Или вообще навсегда, – продолжала она. – А ведь так важно иметь при себе что-то свое. Твое по праву.

Позвонили в дверь. За Джолен приехала мама. Миссис Клаттер сказала:

– До свидания, дорогая, – и вложила в руку девочке бумажный веер. – Это всего-навсего грошовая безделушка. Но прелестная.

Позже миссис Клаттер осталась дома одна. Кенъон уехал с мистером Клаттером в Гарден-Сити, Джеральд Ван Влит ушел домой, а домработница, самим Богом посланная им миссис Хелм, которой доверяли любое дело, по субботам не приходила. Можно было спокойно лечь обратно в постель – в постель, из которой миссис Клаттер выбиралась так редко, что миссис Хелм приходилось буквально с боем менять ей постель два раза в неделю.

На втором этаже было четыре спальни, и спальня миссис Клаттер находилась в самом конце просторного холла, в котором стояла только детская кроватка, купленная на случай приезда маленького внука Клаттеров. Если поставить в холле раскладушки и превратить его в спальню, то, по расчетам миссис Клаттер, на День благодарения в доме можно будет разместить дюжину человек; остальным придется остановиться в мотеле или у соседей. Все Клаттеры ежегодно собирались на День благодарения – поочередно у каждого из глав семейств, и в этом году хозяином праздника был избран Герб. Так что деваться было некуда; но из-за того, что подготовка к приему совпала с подготовкой к свадьбе Беверли, миссис Клаттер боялась, что не переживет ни одного, ни другого. Оба события влекли за собой необходимость принимать решения, а этого она никогда не любила и привыкла бояться: когда ее муж уезжал по делам, ей постоянно приходилось решать неотложные вопросы, касающиеся управления фермой. И это было невыносимо. Это была пытка. Вдруг она допустит ошибку? Вдруг Герб останется недоволен? Лучше уж запереться в спальне и притвориться, что ничего не слышишь, – или говорить, как она иногда делала: «Я не могу. Я не знаю. Ну пожалуйста...»

Комната, которую она так редко покидала, была жилищем аскета. Если бы постель была заправлена, случайный посетитель мог бы подумать, что тут вообще никто не живет. Дубовая кровать, ореховый комод, прикроватный столик – и это все, если не считать лампы, ночника, одного занавешенного окна и картины с изображением Христа, идущего по водам. Складывалось впечатление, будто Бонни, оставляя эту комнату безликой и не желая переносить сюда свои личные вещи из общей спальни, пытается смягчить оскорбление, которое наносит мужу, ночуя отдельно. В

единственном занятом ящике комода лежали только бумажные салфетки, электрическая грелка, несколько белых ночных рубашек и белые хлопчатобумажные носки. Она всегда надевала носочки перед тем, как лечь, потому что все время мерзла. И по той же причине никогда не открывала окна. Позапрошлым летом в одно знойное августовское воскресенье, когда она сидела здесь в одиночестве, вышел неловкий случай. В тот день у них собрались гости – друзья, которых позвали на ферму собирать шелковицу, – и в их числе была Уилма Кидвелл, мать Сьюзен. Как многие люди, которые бывали у Клаттеров, миссис Кидвелл восприняла отсутствие хозяйки как должное, предположив, что ей «нездоровится» или она «уехала в Уичито». Как бы там ни было, когда настало время идти за ягодами, миссис Кидвелл отказалась: она выросла в городе и легко утомлялась. Пока она дожидалась возвращения любителей шелковицы, до нее донеслись рыдания – отчаянные и приводящие в отчаяние.

– Бонни! – позвала она и, взбежав по лестнице, промчалась через холл к ее комнате. Едва Уилма переступила порог, жара, стоящая в комнате, зажала ей рот, как чья-то отвратительная ладонь; она торопливо распахнула окно.

– Не надо! – закричала Бонни. – Мне не жарко! Мне холодно! Я замерзаю! Боже, Боже! – Она замолотила кулачками по кровати. – Господи, сделай так, чтобы никто меня не видел такой! – Миссис Кидвелл присела рядом с ней; она протянула к Бонни руки, и в конце концов та позволила себя обнять. – Уилма, – сказала Бонни, – я все слышала, Уилма. Как вы смеялись. Как веселились. Я все, все упустила. Лучшие годы, детей – все. Еще немного, и даже Кенъон уже станет взрослым, станет мужчиной. И какой он меня запомнит? Как какое-то привидение, Уилма.

Сейчас, в последний день своей жизни, миссис Клаттер повесила в шкаф ситцевый халат, в котором была с утра, и надела ночную рубашку до пят и свежую пару белых носков. Затем, прежде чем окончательно отгородиться от мира, она сняла очки для постоянного ношения и надела очки для чтения. Хотя она выписывала несколько журналов («Домашний журнал для женщин», «Макколз», «Ридерз дайджест» и «Вместе: ежемесячный журнал для семьи методистов»), но на столике у кровати не было ни одного из них – только Библия. Между страниц лежала закладка – жесткая полоска муарового шелка, на которой было вышито предостережение: «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда настанет это время».

У двух молодых людей было мало общего, но они этого не осознавали, связанные друг с другом множеством поверхностных черт. Оба, например, были педантичны, оба тщательно следили за личной гигиеной и заботились об аккуратном виде своих ногтей. Провозившись все утро с машиной, они битый час приводили себя в порядок в туалете гаража. Дик раздетый до трусов был не то же самое, что Дик полностью одетый. В последнем состоянии он казался хрупким светловолосым юношей среднего роста, у которого на костях мало мяса, а грудь, пожалуй, даже впалая. Когда он разоблачался, становилось ясно, что это далеко не так, напротив, у него сложение борца второго полусреднего веса. На правой руке у Дика отливала зеленым вытатуированная кошачья морда; на плече цвела голубая роза. Туловище и верхние части рук были покрыты другими наколками, им самим придуманными и выполненными: голова дракона с человеческим черепом в раскрытой пасти, пышногрудые голые женщины, гремлин, размахивающий вилами, слово «мир» и рядом с ним – крест, излучающий божественный свет в виде коротких черточек, а также две сентиментальные композиции – букет цветов, посвященный «маме с папой», и сердечко, прославляющее любовь «Дика и Кэрол» – девушки, на которой он женился в девятнадцать лет и с которой развелся шесть лет спустя, чтобы сделать «все как положено» с другой юной леди, матерью его младшего ребенка. («У меня три мальчика, о которых я непременно буду заботиться, – написал он в прошении о досрочном освобождении. – Моя жена вышла замуж. Я женился второй раз, только не хочу больше иметь дела с моей второй женой».)

Но ни физические данные Дика, ни чернильная картинная галерея, украшающая его тело, не производили такого исключительного впечатления, как лицо, которое казалось составленным из плохо пригнанных друг к другу частей – как будто его голову, с узким лицом и вытянутым подбородком, словно яблоко, разрезали пополам, а когда половинки снова сложили, они сместились относительно центра. Нечто подобное действительно произошло в 1950 году: в результате автомобильной аварии губы Дика были слегка перекошены, нос кривоват, а глаза мало того, что на разном уровне, но еще и разного размера; левый, в точности как у змеи, отливал ядовитой, мертвенной синевой и косил – и хотя виной тому было увечье, казалось, что в нем отражается мутный осадок на дне души его обладателя. Впрочем, Перри говорил Дику: «Глаз – это ерунда. Зато у тебя замечательная улыбка. Пробьет любую броню». И это была правда – напряжение мышц, когда он улыбался, возвращало его лицу правильные пропорции и давало возможность увидеть менее

пугающую личность – типично американского «хорошего мальчика» с отрастающим «ежиком», в меру здравомыслящего, но не слишком умного. (На самом-то деле Дик был очень умен. Тест на интеллект, проведенный в тюрьме, показал результат 130 баллов – при том, что средний показатель, как в тюрьме, так и за ее пределами, колеблется между 90 и 110.)

Перри после травм, полученных при аварии мотоцикла, тоже остался калекой, но его увечья были куда серьезнее, чем у Дика; он полгода провалялся в больнице штата Вашингтон и еще шесть месяцев проходил на костылях; и хотя несчастный случай произошел в 1952 году, его короткие, как у карлика, ноги, переломанные в пяти местах и покрытые ужасными шрамами, до сих пор так сильно болели, что он подсел на аспирин. У Перри было меньше наколок, чем у его дружка, зато они были более изощренные – не такие, какие сам себе делает любитель, но шедевры искусства, изобретенного мастерами Гонолулу и Йокогамы. На правом бицепсе у него было выколото «КУКИ», имя приветливой сиделки из той больницы, где он лежал. На левом скалился синий оранжевоглазый тигр с красными клыками, по руке, обвиваясь вокруг кинжала, струилась шипящая змея; в других местах мерцали черепа, надгробная плита и хризантема.

– Ну ладно, красавец. Убирай расческу, – сказал Дик, уже одетый и готовый идти. Он сменил рабочую одежду на серые армейские брюки и такую же рубашку и надел короткие черные сапоги, такие же, как у Перри. Перри, которому никогда не удавалось найти брюки, подходящие для его укороченной нижней половины, носил синие джинсы, подвернутые снизу, и кожаную куртку. Отмытые, причесанные, чистенькие, как два пижона, отправляющиеся на двойное свидание, они уселись в автомобиль.

Расстояние между Олатом, пригородом Канзас-Сити, и Холкомбом, который можно назвать пригородом Гарден-Сити, составляет приблизительно четыреста миль.

Город с населением в одиннадцать тысяч человек, Гарден-Сити заложил основы своего нынешнего существования вскоре после Гражданской войны. Странствующий охотник на бизонов, мистер К. Дж. (Баффало) Джонс много сделал для того, чтобы в будущем горстка хижин и покосившихся коновязей переросла в богатый центр фермерских хозяйств с ослепительными салунами, оперой и самой шикарной гостиницей от Канзас-Сити до Денвера – короче говоря, в город, который воплотил в себе все представления о приграничной жизни и в этом отношении мог посоперничать с более известным Додж-Сити, находящимся в пятидесяти

милях к востоку. Вместе с Баффало Джонсом, который потерял сначала деньги, а потом и разум (в последние годы жизни он бродил по улицам, уговаривая прохожих не истреблять поголовно тех самых бизонов, которых сам в свое время так успешно истреблял), город утратил все очарование прошлого. Остались, конечно, кое-какие сувениры; несколько в меру колоритных деловых зданий, известных как квартал Баффало, и некогда роскошный отель «Виндзор» со своим до сих пор роскошным салоном с высокими потолками, пальмами в горшках и незабываемыми плевательницами, выжили – но только в качестве достопримечательностей – среди всевозможных магазинов и супермаркетов Мэйн-стрит, сравнительно немногочисленной улицы, ибо темные, огромные апартаменты и гулкие коридоры «Виндзора» хоть и вызывают воспоминания, но не в состоянии конкурировать с удобствами и кондиционированным воздухом маленькой чистенькой гостиницы «Уоррен» или с телевизорами в каждом номере и «бассейнами с подогревом» мотеля «Хлебный край».

Любой, кто пересекал Америку от побережья до побережья, неважно, поездом или на автомобиле, наверняка проезжал через Гарден-Сити, но резонно предположить, что немногим путешественникам это событие запало в память. Городок кажется одним из многих ему подобных, размером не больше ярмарки, городков в центре – практически в самой середине – континентальной части Соединенных Штатов. Жители вряд ли разделяют это мнение – и, возможно, они правы. Быть может, их доводы кому-то покажутся натяжкой («Хоть весь мир обойди, не найдешь людей дружелюбнее, воздуха чище и воды слаще, чем здесь»), и «Я мог бы податься в Денвер и получал бы там втрое больше, но у меня пятеро детей, и я прикинул, что им нигде не будет так хорошо, как здесь. Отличные школы, все виды спорта. У нас есть даже двухгодичный колледж», и «Я приехал сюда открыть адвокатскую практику. На время. Я вовсе не собирался здесь оставаться. Но когда подвернулась возможность переехать, я подумал – зачем? Чего ради? Может, здесь и не Нью-Йорк – но кому этот Нью-Йорк нужен? Хорошие соседи, люди, которые заботятся о ближнем, вот что важно. А все остальное, что нужно приличному человеку, – у нас и это есть. Красивые церкви. Поле для гольфа»), но новичок, приехавший в Гарден-Сити, как только он привыкнет к ночной – а ночь там начинается после восьми – тишине Мэйн-стрит, найдет что добавить к хвастливым оправданиям местных жителей: отлично организованную публичную библиотеку, компетентную ежедневную газету, изумрудно-газонные тенистые скверы, спокойные жилые кварталы, где собаки и дети могут всласть порезвиться, большой парк с извилистыми дорожками, в котором

есть даже зверинец («Белые медведи, спешите видеть! Слониха Пенни, спешите видеть слониху Пенни!»), и плавательный бассейн площадью в несколько акров («Самый большой в мире БЕСПЛАТНЫЙ плавательный бассейн!»). Из всего этого, а также из пыли, ветра и свистков паровоза складывается «родной город», который, вероятно, с ностальгией вспоминают те, кто его покинул, и который дает тем, кто остался, ощущение прочных корней и удовлетворения жизнью.

Все без исключения горожане отрицают, что в городе существует какое-либо социальное расслоение («Нет, сэр, ничего такого у нас не водится. Все равны, независимо от богатства, цвета кожи или вероисповедания, как и должно быть при демократии; вот такие мы люди»), но, конечно, классовые различия так же хорошо видны и их так же хорошо замечают, как в любом другом человеческом улье. Сотня миль к западу – и ты оказываешься за пределами Пояса Библии, той одержимой Евангелием полосы на американской территории, где человек обязан, если только это не мешает его бизнесу, принимать свою религию без раздумий и колебаний; но округ Финней еще относится к Поясу Библии, и там принадлежность человека к той или иной церкви – наиболее важный фактор, влияющий на его социальный статус. Население на восемьдесят процентов состоит из баптистов, методистов и католиков, хотя среди бизнесменов, банкиров, адвокатов, врачей и наиболее преуспевающих фермеров, которые составляют верхушку, преобладают пресвитерианцы и члены епископальной церкви. Бывает, что туда просачивается случайный методист или, время от времени, демократ, но в целом истеблишмент состоит из правых республиканцев, исповедующих пресвитерианскую или епископальную веру.

Как образованный человек, преуспевший на своем поприще, как видный республиканец и деятель церковной общины – пусть это даже была методистская церковь, – мистер Клаттер имел право занять свое место среди здешних патрициев, но так же, как он никогда не входил в Сельский клуб Гарден-Сити, он никогда не стремился примкнуть к правящему кружку. Скорее наоборот, избегал этих людей, поскольку их развлечения были ему чужды; он не видел смысла в картах, гольфе, коктейлях и в светских ужинах в десять часов – по сути дела, в любом времяпрепровождении, которое не приносит «никакой пользы».

Вот почему вместо того, чтобы в эту солнечную субботу стать четвертым партнером в партии в гольф, мистер Клаттер председательствовал на собрании клуба «4С» округа Финней. (Четыре «С» означают – Сознание, Совесть, Созидание, Сила, а девиз клуба гласит:

«Учись делать, делая». Это общенациональная организация с филиалами в других странах, цель которой состоит в том, чтобы помочь всем, кто живет в сельских районах, – и особенно детям – развить практические навыки и моральные качества. Нэнси и Кеньон были ее добросовестными членами с шестилетнего возраста.) Ближе к концу собрания мистер Клаттер сказал:

– Теперь я хотел бы сказать несколько слов об одном из наших взрослых членов, – его взгляд выделил среди присутствующих круглолицую японскую женщину, окруженную четырьмя круглолицыми японскими детишками. – Все вы знаете миссис Хидео Ашида. Знаете, что Ашида переехали сюда из Колорадо и начали трудиться на благо Холкомба два года назад. Прекрасная семья, одна из тех, с которыми Холкомбу повезло. Это любой подтвердит. Любой, кому случалось прихворнуть и кому миссис Ашида за невесть сколько миль привозила свой замечательный суп или цветы, которые она выращивает там, где никто не возьмется сажать цветы. И вы помните, какой большой вклад она внесла в успех клуба «4С» на окружной ярмарке в прошлом году. Так что я предлагаю отметить миссис Ашида наградой на нашем итоговом банкете в будущий вторник.

Дети миссис Ашида начали теребить ее и стучать по ней кулачками; старший мальчик закричал:

– Эй, мама, это про тебя!

Миссис Ашида смутилась; она вытерла глаза своими пухлыми, как у младенца, пальчиками и засмеялась. Она была женой фермера-арендатора, его обдуваемая всеми ветрами ферма между Гарден-Сити и Холкомбом была еще более уединенной, чем остальные. Обычно после собраний мистер Клаттер отвозил миссис Ашида домой и сегодня тоже отвез.

– Бог ты мой, вот это сюрприз так сюрприз, – сказала миссис Ашида, когда они ехали по шоссе № 50 в пикапе мистера Клаттера. – Похоже, мне все время приходится благодарить тебя, Герб. Но все равно спасибо.

Они познакомились на второй день после приезда Ашида в округ Финней; это был канун Дня всех святых, и мистер Клаттер с Кеньоном привезли им несколько тыкв и кабачков. Весь этот первый тяжелый год Ашида получали подарки – то, что сами пока не выращивали: спаржу, салат и всякое прочее. А Нэнси часто приезжала к ним на Крошке, чтобы покатать детей.

– Знаешь, во многих отношениях это лучшее место из тех, где мы жили. Хидео говорит то же самое. Нам просто ненавистна мысль об отъезде. Опять начинать все заново.

– Об отъезде? – возмутился мистер Клаттер и замедлил ход

автомобиля.

– Понимаешь, Герб, ферма, люди, на которых мы работаем... Хидео думает, что мы могли бы достичь большего. Может, в Небраске. Но мы еще ничего не решили. Пока это только разговоры... – Ее задушевный голос, в котором всегда слышалась готовность рассмеяться, заставил и эту печальную новость прозвучать почти весело, но, увидев, что мистер Клаттер огорчился, миссис Ашида сменила тему: – Герб, мне нужно услышать твое мужское мнение, – сказала она. – Мы с детьми немного скопили и хотели подарить Хидео на Рождество что-нибудь существенное. Ему вообще-то нужны зубы. Скажи, если бы твоя жена подарила тебе три золотых зуба, тебе бы не показался такой подарок обидным? Я имею в виду – можно ли просить мужчину провести Рождество в кресле дантиста?

– Ну, это вы хватили. Даже не думайте сбежать отсюда. Мы вас не отпустим, – сказал мистер Клаттер. – Да, да, золотые зубы – это самое то. Я на его месте был бы тронут.

Миссис Ашида возликовала, услышав его ответ, поскольку знала, что Герб не стал бы кривить душой, если бы на самом деле думал иначе: он был джентльмен. Она никогда не замечала, чтобы он «корчил из себя сквайра», или действовал из корыстных побуждений, или нарушил обещание. И теперь она рискнула взять с него слово:

– Слушай, Герб. Давай на банкете обойдемся без речей, а? Не для меня это. Ты – другое дело. Ты вот можешь встать и выступить перед сотней человек. Перед тысячей. Без всякой неловкости – и при этом любого убедишь в чем угодно. Ты вообще ничего не боишься, – так миссис Ашида описала всеми признанное качество мистера Клаттера: бесстрашную самоуверенность, которая ставила его в особое положение, и хотя за это его больше уважали, но любили чуть меньше. – Не могу себе представить, чтобы ты чего-то испугался. Что бы ни случилось, ты будешь разговаривать как ни в чем не бывало.

К полудню черный «шевроле» прибыл в Эмпорию, штат Канзас, – большой, почти крупный город, где водитель и пассажир могли без опаски сделать кое-какие покупки. Они оставили машину на боковой улочке и некоторое время блуждали по городу, пока не нашли подходящий по количеству посетителей и ассортименту товаров магазин.

Первым делом они приобрели пару резиновых перчаток – Перри в отличие от Дика не позаботился прихватить свои старые перчатки.

Потом они подошли к прилавку, где был выставлен женский трикотаж. После некоторых раздумий Перри сказал:

– Я – за.

Но Дик был против:

– А глаз-то мой? Они все слишком прозрачные, ничего не скроют.

– Мисс, – обратился Перри к продавщице. – У вас есть черные чулки? – Получив отрицательный ответ, он предложил Дику найти другой магазин. – Черные не подведут.

Но Дик был другого мнения: чулки любого цвета – это только лишний хлам, пустая трата денег («Я уже и так достаточно вбухал в это предприятие»). В конце концов, никто из тех, кто там будет, не останется в живых и не сможет дать показания.

– Никаких свидетелей, – напомнил он Перри, как тому показалось, в миллионный раз.

Перри бесило, что Дик произносит эти два слова так, словно они решают все проблемы; глупо пренебрегать возможностью, что может оказаться свидетель, которого они не заметят.

– Мало ли как дело обернется, бывает всякое, – сказал он.

Но Дик, улыбнувшись самодовольной мальчишеской улыбкой, ответил:

– Не гони волну. Осечки быть не может.

Не может. Потому что план принадлежал Дику и от первого шажка до финального безмолвия был тщательно продуман.

Еще их интересовала веревка. Перри просмотрел образцы, попробовал на прочность. Некогда он служил в торговом флоте и поэтому здорово разбирался в веревках и узлах. Он выбрал белый нейлоновый шнур, прочный как проволока и ненамного толще. Оставалось решить, сколько ярдов потребуется. Этот вопрос привел Дика в раздражение, поскольку все зависело от обстоятельств, и, несмотря на предполагаемое совершенство всего проекта, он затруднялся заранее дать ответ.

Наконец он сказал:

– Черт, да откуда мне знать?

– Только тебе-то и знать.

Дик прикинул:

– Значит, так. Он. Она. Сопляк и девчонка. Может, еще две. Но сегодня суббота – у них могут быть гости. Будем рассчитывать человек на восемь или даже двенадцать. Одно могу сказать точно: их всех надо будет пустить в расход.

– Что-то многовато. Для того чтобы говорить точно.

– Я же тебе обещал, дружок, – мозги будут по всем их... ихним стенам.

Перри пожал плечами:

– Тогда лучше взять целый моток.

В мотке была сотня ярдов – более чем достаточно для двенадцати человек.

Кеньон смастерил сундук своими руками: сундук для приданого из красного дерева и кедра, предназначавшийся Беверли в качестве свадебного подарка. Сейчас, сидя в так называемой «берлоге» в подвале, Кеньон покрывал свой подарок последним слоем лака. Обстановка «берлоги» – комнаты с цементным полом во всю длину дома – почти полностью складывалась из плодов его столярных подвигов (полки, столы, табуреты, стол для пинг-понга) и рукоделий Нэнси (ситцевый чехол, преобразивший старую кушетку, занавески, подушки, на которых было вышито: «Хорошо тебе?» и «Не обязательно быть чокнутым, чтобы здесь жить, но это способствует»). Кеньон и Нэнси сообща пытались при помощи пульверизатора придать «берлоге» менее угрюмый вид, и оба не догадывались, что потерпели неудачу. На самом деле они считали, что их «берлога» настоящий шедевр и дар судьбы: Нэнси – потому, что здесь она могла развлекать свою «ораву», не беспокоя мать, а Кеньон – потому, что здесь он мог побыть в одиночестве, спокойно стучать, пилить и возиться со своими «изобретениями», последним из которых была электрическая скороварка. К «берлоге» примыкала котельная, где стоял стол, заваленный инструментами, среди которых лежали неоконченные работы Кеньона – разобранный усилитель и старенькая сломанная «Виктрола», которую он собирался починить.

Внешне Кеньон не был похож ни на кого из родителей; волосы у него были цвета пеньки, стрижены ежиком, он был шести футов росту, долговязый, однако достаточно сильный для того, чтобы две мили протащить на себе двух взрослых овец, когда случилась снежная буря, – крепкий, выносливый, но, как и все долговязые мальчишки, немного нескладный. Этот недостаток, усугублявшийся необходимостью постоянно носить очки, не позволял ему участвовать в командных видах спорта (баскетбол, бейсбол), которые служили основными развлечениями его ровесников. У него был всего один близкий друг – Боб Джонс, сын Тэйлора Джонса, владельца ранчо в миле к западу от дома Клаттеров. В канзасской глубинке мальчишки начинают водить машину очень рано; Кеньону было одиннадцать, когда отец разрешил ему на деньги, которые он сам заработал, выращивая овец, купить старый грузовик с небольшим объемом двигателя – «Фургон койота», как они с Бобом его окрестили. Неподалеку

от фермы Клаттеров лежит таинственная равнина, известная как Песчаные холмы; она похожа на пляж без океана, и по ночам среди дюн шныряют койоты, собираясь в стаи, чтобы вместе повыть. Лунными ночами мальчики любили нагрянуть туда и, обратив койотов в бегство, устроить с ними состязание в скорости; правда, выиграть его им редко удавалось, поскольку самый хилый койот может развить скорость до пятидесяти миль в час, а фургон был способен от силы на тридцать пять, но это была азартная и красивая забава: скользящий по песку фургон, силуэты убегающих койотов в лучах лунного света – как говорил Боб, от этого и впрямь сердце бьется быстрее.

Таковыми же пьянящими, только более выгодными были облавы на кроликов, которые друзья иногда устраивали: Кеньон хорошо стрелял, а Боб и того лучше, и они вдвоем иногда привозили с полсотни кроликов на «кроличий завод» в Гарден-Сити, который платил десять центов за каждого зверька и продавал быстрозамороженные тушки на зверофермы, где их скармливали норкам. Но больше всего Кеньону с Бобом нравились охотничьи вылазки с ночевкой на берегу реки: блуждать, кутаться в одеяла, слушать шум крыльев на заре, красться на цыпочках на звук, а потом – самое приятное: шагать домой с десятком покачивающихся на поясе уток. Но в последнее время между Кеньоном и его другом уже не было прежней близости. Они не ссорились, никакой явной размолвки не произошло, ничего не случилось за исключением того, что шестнадцатилетний Боб начал «ходить с девочкой», а это означало, что Кеньон, который был на год моложе и до сих пор не вышел из холостяцкого отрочества, больше не мог рассчитывать на его общество. Боб говорил ему: «Доживешь до моего возраста, сам поймешь. Я тоже когда-то считал как ты: подумаешь – женщины. Но потом как-нибудь заговоришь с женщиной, и окажется, что это довольно здорово. Вот увидишь». Кеньон в этом сильно сомневался; он не мог себе представить, что когда-нибудь у него возникнет желание потратить час на какую-то девчонку, когда можно употребить его на ружья, лошадей, инструменты, машины или, на худой конец, книги. Когда Боб пропадал, он предпочитал уединяться, так как характером пошел скорее в мать, чем в отца, был мальчиком чувствительным и застенчивым. Сверстники считали его «нелюдимым», но прощали это ему, говоря: «А, Кеньон. Он просто живет в своем собственном мире».

Оставив лак сохнуть, он приступил к другому делу – тому, которое ожидало его снаружи. Он хотел привести в порядок цветник матери – бережно хранимый уголок взбалмошной зелени под окнами ее спальни. Там Кеньон обнаружил одного из работников, мужа домработницы, Пола

Хелма, который рыхлил землю лопатой.

– Видал ту машину? – спросил мистер Хелм. Да, Кеньон видел на дорожке автомобиль – серый «бьюик» – у самого входа в кабинет отца.

– Может, знаешь, кто это?

– Нет, но, наверное, мистер Джонсон. Папа говорил, что он должен приехать.

Мистер Хелм (покойный мистер Хелм; он скончался от удара в марте следующего года) был мрачным мужчиной лет шестидесяти; но за его угрюмостью скрывалось неумное любопытство и бдительность; он любил быть в курсе событий.

– Который Джонсон?

– Страховщик.

Мистер Хелм хрюкнул.

– Твой старик, наверное, заготовил для него целую кучу бумажек. Эта машина здесь часа три уже стоит.

Воздух пронзила дрожь вечерней прохлады, и хотя небо было еще ярко-синим, от высоких хризантем уже протянулись длинные тени; в зарослях цветов резвился кот Нэнси, ловя лапами бечевку, которой Кеньон и Пол подвязывали стебли. Внезапно и сама Нэнси прискакала на Крошке – они возвращались после субботнего купания в реке. Их сопровождал Тэдди, и все трое – лошадь, девушка и пес – были покрыты сверкающими брызгами.

– Смотри, простудишься, – сказал мистер Хелм.

Нэнси засмеялась; она никогда не болела, ни разу. Соскользнув с Крошки, она растянулась на траве и, схватив кота, поднесла его к лицу и чмокнула в нос и усы.

Кеньон брезгливо поморщился.

– Целовать *животное* в губы.

– Ты же целовал Скитера, – напомнила она ему.

– Скитер был *конь*. – Красивый рыжий конь, которого он взял еще жеребенком. Как этот Скитер умел брать барьеры! «Ты слишком гоняешь Скитера, – предостерегал Кеньона отец. – В один прекрасный день ты его загонишь до смерти». Так оно и случилось: однажды, когда Скитер несся по дороге с хозяином на спине, сердце его не выдержало, он споткнулся и рухнул замертво. Даже теперь, спустя год, Кеньон все еще его оплакивал, несмотря на то, что отец пожалел его и обещал будущей весной позволить ему выбрать нового жеребенка.

– Кеньон? – позвала Нэнси. – Как думаешь, Трейси уже начнет говорить? Ко Дню благодарения? – Трейси, которому не исполнилось еще и

года, был ее племянником, сыном Эвианы, с которой Нэнси чувствовала особенную близость. (Кеньон больше любил Беверли.) – Я бы просто лопнула от радости, если б услышала, как он говорит «тетя Нэнси». Или «дядя Кеньон». А разве тебе не было бы приятно это услышать? Ну скажи, тебе *нравится* быть дядей? Кеньон? Боже мой, почему ты не отвечаешь, когда с тобой разговаривают?

– Потому что ты глупая, – сказал он и кинул ей головку цветка, подувядшего георгина, которую она тут же воткнула в волосы.

Мистер Хелм поднял лопату. Каркали вороны, близился закат, а идти назад было не близко; аллея китайских вязов превратилась в туннель из темной зелени, и его дом был в конце этого туннеля, в полумиле отсюда.

– Вечереет, – сказал он и тронулся в путь. Но один раз все-таки оглянулся. «И это, – как говорит он, давая показания на следующий день, – был последний раз, когда я их видел. Нэнси вела старую Крошку в загон. Я же говорю – ничего необычного».

Черный «шевроле» снова сделал остановку, на сей раз перед католической больницей в пригороде Эмпории. После продолжительной обработки («Так, знаешь, нельзя. Тебя послушать, так на всем свете один Дик знает, как и что надо делать») Дик сдался. Перри остался ждать в автомобиле, а он вошел в больницу, чтобы попытаться купить у монахинь пару черных чулок. Этот довольно-таки нестандартный способ их приобретения возник в светлой голове Перри; он был на сто процентов уверен, что уж у монахинь-то всегда есть запас этого добра. Правда, у идеи был свой недостаток: монашки и все, что с ними связано, сулят неудачу, а Перри очень трепетно относился к своим суевериям. (В числе прочих были число 15, рыжие волосы, белые цветы, священники, если они переходят тебе дорогу, и змеи, если их увидеть во сне.) Но ничего не поделаешь. Суеверный человек, как правило, серьезно верит в судьбу; в случае с Перри было именно это. Он оказался здесь не потому, что ему этого захотелось: так уж распорядилась судьба, и он мог бы это *доказать* – хоть и не собирався, по крайней мере при Дике, ибо тогда ему пришлось бы признать, что истинный повод его возвращения в штат Канзас, причина, по которой он решил нарушить одно из условий своего освобождения, не имели никакого отношения к «фарту» Дика или к его письму. Истина была в том, что несколько недель назад он узнал, что в четверг, 12 ноября, из канзасской исправительной колонии в Лансинге должен выйти еще один из его бывших сокамерников, и Перри «больше всего на свете» желал воссоединения с этим человеком, своим «настоящим и единственным

другом», «непревзойденным» Вилли-Сорокой.

Весь первый год своего трехлетнего срока в тюрьме Перри наблюдал за Вилли-Сорокой с интересом, но и с опаской: если он хотел прослыть крутым малым, сблизиться с Вилли-Сорокой было неблагоприятно. Вилли-Сорока, помощник капеллана, был стройный, рано поседевший ирландец с грустными серыми глазами. Его тенор был гордостью тюремного хора. Даже Перри, который презирал всякие проявления благочестия, становился «печален», когда Вилли-Сорока пел «Отче наш»; торжественные слова молитвы, спетые столь проникновенно, тронули его душу и заставили несколько усомниться в обоснованности своего презрения. В нем проснулось религиозное любопытство, и в конце концов, подталкиваемый им, Перри сблизился с Вилли-Сорокой; помощник капеллана сразу откликнулся на его порыв и подумал, что прозрел в этом «качке» с переломанными ногами, туманным взором и сухим, прокуренным голосом «поэта, нечто редкое и не окончательно загубленное». Им овладела тщеславная мысль «вернуть этого мальчика Богу». И его надежды на успех возросли в тот день, когда Перри принес ему свой рисунок, сделанный пастелью, – большое и с технической точки зрения ничуть не наивное изображение Иисуса. Протестантский капеллан Лансинга преподобный Джеймс Пост столь высоко оценил этот рисунок, что повесил его у себя в кабинете, где он и висит до сих пор: смазливый Спаситель с полными губами и печальными глазами Вилли-Сороки. Портрет явился кульминацией не особенно серьезных духовных исканий Перри и, что примечательно, их завершением; сам художник осудил своего Иисуса как «лицемерную мазню» и попытку «одурачить и предать» Вилли-Сороку, поскольку веры в нем не прибавилось ни на йоту. Но обязан ли он признаться в этом, рискуя лишиться единственного в своей жизни друга, который «по-настоящему» его понимает? (Руди, Джо, Джесси – странники, скитающиеся по дорогам, где редко называют фамилии, – были всего лишь его «корешами», и никто из них не мог сравниться с Вилли-Сорокой, который, по мнению Перри, отличался «интеллектом выше среднего» и обладал «проницательностью опытного психолога». Как могло случиться, что такой одаренный человек загремел в Лансинг? – вот что поражало Перри. Ответ, который он знал, но отклонял как «уход от более глубокой, человеческой стороны вопроса», для умов попроще не являлся загадкой: тридцативосьмилетний помощник капеллана был вором, мелким жуликом и за двадцать лет успел отсидеть в пяти разных штатах.) Наконец Перри решил высказаться: как ему ни жаль, но это не для него – небеса, ад, святые, божественное милосердие и все такое, – и если Вилли дружит с

ним только в надежде, что Перри в один прекрасный день присоединится к нему у подножия креста Господня, то он обманывается, и вся их дружба – такая же фальшь и подделка, как это изображение Иисуса.

Как обычно, Вилли-Сорока все понял; расстроенный, но не отчаявшийся, он упорно продолжал обхаживать душу Перри вплоть до того дня, когда ее обладателя выпустили, и накануне написал ему прощальное письмо, в последнем абзаце которого говорилось: «Ты – чрезвычайно страстный человек, голодный человек, не вполне представляющий себе, что возбуждает твой аппетит, глубоко разочарованный человек, стремящийся спроецировать свою личность на экран непоколебимого конформизма. Ты существуешь в промежуточном мире, застывшем между двумя этажами, из которых один – самовыражение, а другой – саморазрушение. Ты силен, но у твоей силы есть порок, и если ты не научишься с ним справляться, этот порок станет сильнее твоей силы и нанесет тебе поражение. Что за порок? *Бурная эмоциональная реакция, совершенно непропорциональная поведению.* Откуда? Откуда этот неразумный гнев при виде тех, кто счастлив или доволен жизнью, откуда это растущее презрение к людям и желание причинить им боль? Ладно, ты считаешь их дураками, ты презираешь их мораль, их счастье – источник *твоего* разочарования и негодования. Но ведь это страшные враги, которых ты носишь в самом себе, – временами они смертоносны как пули. Только пуля милосердно убивает свою жертву, эти же бактерии, если дать им повзрослеть, не убивают человека, но ведут в своем кильватере плавучую тюрьму для истерзанного и искалеченного существа: в его существовании еще есть огонь, но он едва теплится, поддерживаемый лишь голубыми язычками презрения и ненависти. Такой человек способен накапливать, но его накопления не будут успешными, ибо он сам себе враг и сам себе не дает насладиться своими достижениями».

Перри, польщенный тем, что стал объектом такой проповеди, дал прочесть ее Дику, и Дик, который недолюбливал Вилли-Сороку, назвал письмо «еще одной билли-грэмовской ахинеей», и добавил: «Голубые язычки! Сам он голубой». Конечно же, Перри ожидал такой реакции и втайне был ей рад, поскольку его дружба с Диком, завязавшаяся лишь в последние месяцы перед освобождением, служила противовесом для его бурного восхищения помощником капеллана. Возможно, Дик «пустышка» или даже, как заявил Вилли-Сорока, «порочный бахвал» – все равно, с Диком весело, он проникателен, он реалист, он «сечет фишку», и в голове у него нет облаков, а в волосах – соломы. Кроме того, в отличие от Вилли-Сороки, он не критиковал экзотические фантазии Перри; он с

удовольствием слушал, загорался и разделял с ним грезы о «гарантированных сокровищах», скрытых у берегов Мексики и в джунглях Бразилии.

После освобождения Перри протекли четыре месяца, месяцы громыхания в стодолларовом «форде», сменившем пятерых владельцев, переездов из Рено в Лас-Вегас, из Беллингема, штат Вашингтон, в Бул, штат Айдахо, и как раз в Буле, где он временно устроился водителем грузовика, его нашло письмо Дика: «Друг П., я вышел в августе. После твоего отъезда я познакомился кое с кем, кого ты не знаешь, но он мне кое о чем рассказал. Мы с тобой это можем сделать красиво. Верняк, счастливый фарт...» До этого Перри и в голову не приходило, что он когда-нибудь снова увидит Дика. Или Вилли-Сороку. Но они оба занимали его мысли, а Вилли, который в его памяти вырос до десятифутового седовласого мудреца, особенно часто посещал закоулки его сознания. «Ты стремишься к отрицанию, – сообщил ему однажды в какой-то из лекций Вилли-Сорока. – Тебе ни до кого нет дела, ты хочешь существовать без ответственности, без веры, без друзей и тепла».

В уединении и неустроенности своих блужданий Перри много раз пересматривал этот приговор и в итоге решил, что он несправедлив. Ему *есть* дело до других – но кому и когда было дело до него? Отцу? Да, в известной степени. Девчонке-другой, но это – «длинная история». А больше никому, кроме самого Вилли-Сороки. И только Вилли-Сорока признал его ценность, его потенциальные возможности, подтвердил, что он не просто перегруженный мускулами недомерок-полукровка, и увидел его, несмотря на все морализаторство, таким, каким Перри сам себя представлял – «исключительным», «редким», «артистичным». В Вилли-Сороке его тщеславие обрело поддержку, его чувствительность – броню, а после четырехмесячной тоски по пьедесталу высокой оценки эта оценка стала соблазнительнее любой мечты о золотом кладе. И поэтому, когда Перри получил приглашение Дика и сообразил, что дата более или менее совпадает со временем выхода на волю Вилли-Сороки, он понял, что ему делать. Он поехал в Лас-Вегас, продал свою таратайку, упаковал коллекцию карт, старых писем, рукописей и книг и купил билет на междугородный автобус. Исход поездки был в руках судьбы: «если с Вилли-Сорокой не выйдет», тогда можно «рассмотреть предложение Дика». Но, как оказалось, судьба не оставила ему выбора: когда вечером 12 ноября автобус прибыл в Канзас-Сити, Вилли-Сорока, которого Перри не мог предупредить о своем приезде, уже уехал из города – уехал фактически всего за пять часов до этого с той же остановки, на которую прибыл Перри. Все это Перри узнал,

позвонив преподобному мистеру Посту, который еще больше его обескуражил, отказавшись указать, куда именно отбыл его бывший помощник. «Он направился на восток, – сказал капеллан. – Туда, где есть перспективы. Достойная работа, дом и хорошие люди, которые рады будут ему помочь». И Перри, повесив трубку, почувствовал, что у него «в глазах темнеет от злости и разочарования».

Но чего, спросил он себя, когда мучения утихли, чего он на самом деле ждал от встречи с Вилли-Сорокой? Свобода их разделила: в качестве свободных людей они не имели ничего общего, были противоположностями, которым никогда не удастся объединиться в «команду» – уж во всяком случае не в такую, которая могла бы осуществить их с Диком авантюрную затею нырнуть с аквалангом в южных водах за пределами Соединенных Штатов. И все же, если бы он не разминулся с Вилли-Сорокой, если бы они провели вместе хотя бы даже час, тогда – Перри был убежден, да просто «знал», что тогда он не маялся бы сейчас возле больницы, дожидаясь, когда появится Дик с парой черных чулок.

Дик вернулся с пустыми руками.

– Не вышло, – объявил он нарочито небрежным тоном, который немедленно вызвал у Перри подозрения.

– Не вышло? Да ты хотя бы спросил?

– А как же.

– Я тебе не верю. Наверняка ты вошел туда, покрутился пару минут и вышел.

– Ну что ж, дружок, тебе видней. – Дик завел машину. Некоторое время они ехали в молчании, потом Дик похлопал Перри по колену. – Эй, да очнись ты, – сказал он. – Это была хреновая мысль. Что бы они, черт возьми, подумали? Вваливаюсь туда, будто это какая-то чертова лавочка...

Перри сказал:

– Может быть, это и к лучшему. Монашки приносят несчастье.

Представитель Нью-Йоркской Страховой Компании в Гарден-Сити улыбнулся, увидев, как мистер Клаттер снимает колпачок со своего «паркера» и открывает чековую книжку. Ему вспомнилась местная шутка, и он сказал:

– Знаешь, что о тебе говорят, Герб? Говорят: «С тех пор как стрижка стала стоить доллар с полтиной, Герб выписывает парикмахеру чек».

– Это правильно, – ответил мистер Клаттер. Он был известен тем, что, словно особа королевской крови, никогда не имел при себе наличных. – Так

уж я веду дело. Когда ребята из налоговой инспекции суют свой нос в твои дела, погашенные чеки – лучшие друзья.

Заполнив, но еще не подписав чек, он откинулся на спинку кресла и, казалось, погрузился в раздумья. Агент, коренастый, лысоватый и довольно развязный мужчина по имени Боб Джонсон, надеялся, что его клиента не одолеют «сомнения последней минуты». Герб привык совершать сделки обстоятельно и неторопливо; Джонсон целый год уговаривал его подписать этот договор. Но нет – его клиента просто посетило состояние, которое Джонсон называл «торжественностью момента»: феномен, знакомый всем страховым агентам. Настроение человека, страхующего свою жизнь, мало чем отличается от настроения человека, подписывающего завещание; неминуемо возникают мысли о неизбежности смерти.

– Да, да, – пробормотал мистер Клаттер, как будто говорил сам с собой. – Мне есть за что благодарить судьбу. В моей жизни было немало хорошего. – На ореховых панелях, украшающих стены его кабинета, поблескивали в застекленных рамках документы, отмечавшие важнейшие вехи в его карьере: диплом колледжа, карта фермы «Речная Долина», наградные грамоты с сельскохозяйственных выставок, красочное свидетельство за подписями Дуайта Д. Эйзенхауэра и Джона Фостера Даллеса, перечисляющее услуги, оказанные мистером Клаттером Федеральной фермерской кредитной комиссии. – Дети. С ними нам повезло. Не пристало мне об этом говорить, но я по-настоящему ими горжусь. Взять Кеньона. Видно, что он готовится стать инженером или ученым, но никто не скажет, что мой мальчик не прирожденный фермер. Бог даст, когда-нибудь он будет управлять «Речной Долиной». А тебе не доводилось встречаться с мужем Эвианы? Дон Джарчоу, ветеринар. Что за умница! И Вер тоже. Вер Инглиш – мальчик, с которым у моей Беверли хватило здравого смысла связать свою жизнь. Если со мной что-то случится, эти ребята не подкачают. Бонни... Ну, Бонни – особый случай. В одиночку она не потянет...

Джонсон, бывалый слушатель подобного рода излияний, понял, что пришло время вставить словечко.

– Ну что ты, Герб, – сказал он. – Ты еще молодой совсем. Сорок восемь. Судя по твоему виду и медицинскому заключению, еще пару недель ты с нами пробудешь.

Мистер Клаттер выпрямился и снова взялся за ручку.

– Сказать по правде, чувствую я себя довольно неплохо. И довольно оптимистично смотрю в будущее. У меня появилась идея, как всего за несколько лет можно не сходя с места сделать приличные деньги. –

Упомянув о будущем улучшении своего финансового положения, он подписал чек и пододвинул его Джонсону.

Было десять минут седьмого, и агенту уже не терпелось уйти: жена ждала его к ужину.

– Приятно иметь с тобой дело, Герб.

– Взаимно, приятель.

Они обменялись рукопожатием. Потом, с чувством заслуженной победы, Джонсон взял чек Клаттера и заботливо уложил его в свой бумажник. Это был первый взнос за полис на сорок тысяч долларов; в случае, если смерть владельца произойдет не от естественных причин, эта сумма будет выплачена компанией в двойном размере.

*Он идет со мной, и Он говорит,
Что я предназначен ему,
И радость, которую Он дарит,
Ведома мне одному...*

Как всегда, собственное пение под гитару привело Перри в блаженное состояние духа. Он знал наизусть чуть ли не две сотни церковных гимнов и баллад – репертуар его простирался от «Старого креста» до Коула Портера – и, кроме гитары, умел играть на губной гармонике, аккордеоне, банджо и ксилофоне. В одной из любимых фантазий Перри на тему театра его сценическое имя было Пери О'Парсон, а на афишах он значился как «человек-оркестр».

– Как насчет коктейля? – спросил Дик.

Перри в принципе было все равно, что пить, поскольку пил он мало. Дик, однако, был разборчив и в барах обычно заказывал себе «Цветок апельсина». Из отделения для перчаток Перри извлек пинтовую бутылку, наполненную готовой к употреблению смесью апельсинового сока и водки. Они поочередно прикладывались к бутылке. Хотя сумерки уже сгустились, Дик ехал со скоростью шестьдесят миль в час и по-прежнему не включал фар; впрочем, дорога вела прямо, земля была плоской как озеро, и здесь редко попадались машины. Это было уже «там» – или почти рядом.

– Господи Иисусе! – произнес Перри, всматриваясь в ландшафт, ровный и бескрайний под холодной, тягучей зеленью неба – пустынный и одинокий, если не считать редких мерцающих огоньков фермерских домиков. Перри ненавидел все это, как ненавидел равнины Техаса и пустыню Невады: горизонтальные и малонаселенные пространства всегда

вызывали у него депрессию в сочетании с агорафобией. Милее всего его сердцу были морские порты – толпы людей, лязг и грохот, толчея судов, пропахшие сточными водами города вроде Йокогамы, где он провел целое лето во время войны с Кореей в качестве рядового американской армии.

– Господи Иисусе – и мне еще велели держаться подальше от Канзаса! Чтобы я не смел ступить своими маленькими ножками на эту землю. Так, будто запрещали поганить само небо. Нет, ты только посмотри! Насладись великолепием.

Дик передал ему наполовину пустую бутылку.

– Остальное спрячь, – сказал он. – Может, потом пригодится.

– Помнишь, Дик? Наш разговор насчет лодки? Я тут подумал – лодку мы можем и в Мексике купить. Какую-нибудь дешевую, но крепкую. И можно было бы отправиться в Японию. Переплыть Тихий океан. Это уже делали – тысячам людей это удалось. Я тебе серьезно говорю, Дик, – тебе в Японии точно понравится. Чудные, благородные люди – у них манеры тонкие и изящные, как цветы. И участливые – общаются с тобой не ради твоих бабок. А женщины! Да ты никогда настоящей женщины и не видел...

– Ну как не видел, – возразил Дик, утверждавший, что до сих пор влюблен в свою русоволосую первую жену, хоть она и вышла замуж во второй раз.

– А какие там бани... Одна, я помню, называлась «Озеро снов». Ляжешь там, растянешься, и сногшибательно красивые девушки моют и трут тебя всего с головы до пят.

– Ты рассказывал, – сухо отозвался Дик.

– Ну и что? Я уже и повторить не могу?

– Позже. Давай поговорим об этом позже. Черт, мне, брат, есть о чем подумать и без того.

Дик включил радио; Перри выключил. Не обращая внимания на возмущение Дика, он опять забренчал на гитаре и запел:

*Я пришел в тот сад, когда на цветах
Еще не обсохла роса.
И слова, что звенели в моих ушах,
Сын Божий пел в небесах...*

Над горизонтом показалась полная луна.

В следующий понедельник, давая показания перед тем, как пройти испытание на детекторе лжи, юный Бобби Рапп так описал свое последнее

посещение дома Клаттеров:

– Было полнолуние, и я подумал, что, если Нэнси согласится, можно съездить на озеро Мак-Киней. Или в Гарден-Сити, посмотреть кино. Но когда я позвонил – наверное, в начале восьмого, – она сказала, что ей надо спросить разрешения у отца. Он не разрешил, потому что накануне ночью мы поздно вернулись. Зато предложил мне зайти к ним посмотреть телевизор. Я часто просиживал вечера у Клаттеров перед телевизором. Видите ли, Нэнси – единственная девочка, с которой я встречался. Я знал ее всю жизнь; мы с ней вместе ходили в школу с первого класса. Всегда, сколько я ее помню, она была красавицей – и *личностью*, даже когда была совсем маленькой. Я хочу сказать, что она умела пробуждать в людях хорошее. Первый раз я пригласил ее на свидание, когда мы учились в восьмом классе. Почти каждый мальчишка в нашем классе мечтал, что она именно с ним пойдет на танцы по случаю окончания учебного года, и я очень удивился – и возгордился, – когда она сказала, что пойдет со мной. Нам обоим было по двенадцать. Папа дал мне свою машину, и я привез Нэнси на танцы. Чем больше я с ней виделся, тем больше она мне нравилась; и вся их семья тоже – другой такой семьи больше не было, во всяком случае здесь я даже никого похожего не знаю. Мистер Клаттер, может, был довольно строг в отношении некоторых вещей – религии там и еще всякого, – но он никогда не пытался заставить людей считать, будто он один прав, а все остальные не правы.

Мы живем в трех милях к западу от Клаттеров. Сколько раз я ходил туда и обратно – не сосчитать, но я каждое лето работаю и в прошлом году накопил достаточно денег, чтобы купить себе свою машину, «пятьдесят пятый» «форд». На нем я и приехал; это было около семи. Я никого не видел ни на дороге, ни на аллее, которая ведет к дому, вообще нигде поблизости. Только старину Тэдди. Он меня облаял. Свет горел в окнах нижнего этажа – в гостиной и в кабинете мистера Клаттера. На втором этаже света не было, и я решил, что миссис Клаттер уже спит – если она дома. Никогда нельзя было сказать, дома она или нет, и я никогда не спрашивал. Но через некоторое время выяснилось, что я не ошибся, потому что, когда позже в тот вечер Кеньон хотел потрубить в рожок – он играл на рожке-баритоне в школьном оркестре, – то Нэнси ему запретила, сказав, что он разбудит миссис Клаттер. Как бы там ни было, когда я приехал, они уже поужинали, Нэнси убрала со стола, сгрузила тарелки в посудомоечную машину, и они втроем – она с братом и мистер Клаттер – сидели в гостиной. Так вот, значит, мы все сидели, как в любой другой вечер, – Нэнси и я на кушетке, а мистер Клаттер в своем кресле-качалке. Он не

столько телевизор смотрел, сколько читал книжку – «Мальчик-бродяга», одна из книг Кеньона. Один раз он вышел на кухню и вернулся с двумя яблоками; одно предложил мне, но я отказался, так что он съел оба. У него были очень белые зубы; он говорил, что это от яблок. Нэнси – на Нэнси были носки и мягкие тапочки, голубые джинсы и, кажется, зеленый свитер; на руке – золотые часики и именной браслет, который я подарил ей в январе на шестнадцатилетие – с одной стороны ее имя, с другой мое, – и еще у нее было колечко, скромная серебряная вещица, она его купила позапрошлым летом в Колорадо, когда они с Кидвеллами ездили отдыхать. Это было не мое – не наше – кольцо. Видите ли, пару недель назад она на меня обиделась и сказала, что некоторое время не будет носить наше кольцо. Когда твоя девушка так делает, это значит, что ты на испытательном сроке. Я хочу сказать, что, конечно же, нам случалось ссориться – а у кого без этого обходится? А случилось то, что я поехал на свадьбу своего друга и там на банкете выпил пива, одну бутылку пива, и Нэнси об этом узнала. Какой-то сплетник сказал ей, что я упился в дым. Ну, что было! Она стала как каменная, неделю со мной не разговаривала. Но потом отношения у нас наладились, и мне показалось, что она уже готова снова надеть кольцо.

Так вот. Первое кино называлось «Человек бросает вызов». По одиннадцатому каналу. Про каких-то парней в Арктике. Потом мы смотрели вестерн, а после него – шпионский фильм «Пять пальцев». В половине десятого начался «Майк Хаммер». Потом новости. Но Кеньону ничего не нравилось, в основном из-за того, что мы не давали ему выбирать программы. Он все критиковал, а Нэнси то и дело его затыкала. Они всегда препирались, но на самом деле они были очень дружны – гораздо больше, чем обычно брат и сестра. Мне кажется, это потому, что они частенько оставались вдвоем, когда миссис Клаттер уезжала, а мистер Клаттер был где-нибудь в Вашингтоне. Я знаю, что Нэнси очень любила Кеньона, но сомневаюсь, чтобы даже она, не говоря уже о других, хорошо его понимала. Он, казалось, всегда был где-то далеко. Никогда нельзя было догадаться, о чем он думает, или даже смотрит он на тебя или нет – из-за того, что он слегка косил. Кое-кто считал его гением, и может, так оно и было. Точно знаю, что он много читал. Но, как я уже сказал, ему не сиделось; телевизор он смотреть не хотел, а хотел трубить в рожок, и когда Нэнси ему не разрешила, помнится, мистер Клаттер предложил ему спуститься в подвал, в комнату для отдыха, где его никто не услышит. Но его и это не устраивало. Один раз зазвонил телефон. Или два? Черт возьми, не могу припомнить. Помню только, что когда один раз он зазвонил, мистер Клаттер снял трубку у себя в кабинете. Дверь была открыта – та

раздвижная дверь, которая ведет из гостиной в кабинет, – и я услышал, как он говорил «Ван», поэтому догадался, что он разговаривает со своим партнером мистером Ван Влитом, и еще я слышал, как он сказал, что у него болела голова, но теперь боль уже почти прошла. И сказал, что они с мистером Ван Влитом увидятся в понедельник. Когда он снова вошел в комнату – да, «Майк Хаммер» как раз закончился. Потом был пятиминутный выпуск новостей. После него – прогноз погоды. Мистер Клаттер всегда оживлялся, когда передавали погоду. На самом деле он всегда только прогноза и ждал. Как я смотрю только новости спорта – они как раз были после погоды. Когда кончился спорт, было уже пол-одиннадцатого, и мне пора было уходить. Нэнси проводила меня до машины. Мы немного поболтали и договорились вечером в воскресенье съездить в кино – на картину, которую все девчонки давно ждали, «Голубая джинса». Потом она убежала в дом, а я уехал. Было светло словно днем – так ярко светила луна, – и холодно, и немного ветрено; мимо то и дело проносились шары перекасти-поля. Но больше я ничего не видел. Только теперь, задним числом, я понимаю, что там, наверное, кто-то прятался. Может быть, за деревьями. Кто-то только и ждал, когда я уеду.

В Грейт-Бенде путешественники остановились пообедать. Перри, у которого оставались последние пятнадцать долларов, собирался ограничиться безалкогольным пивом с бутербродами, но Дик сказал, что им необходимо хорошенько заправиться, и пусть Перри не смотрит на цены, он сам заплатит. Они заказали два бифштекса средней прожаренности, печеную картошку, чипсы, жареный лук, тушеные бобы, макароны и мамалыгу, салат, рулетики с корицей, яблочный пирог, мороженое и кофе. Для полного счастья они зашли в аптеку и выбрали по сигаре; в той же аптеке они купили две катушки широкого пластыря.

Когда черный «шевроле» вернулся на шоссе и покатил по равнине, углубляясь все дальше в зону более холодного и сухого климата, Перри закрыл глаза и задремал, ошеломленный обильным обедом; пробудившись, он услышал голос диктора, читающего одиннадцатичасовые новости. Перри опустил окно и омыл лицо струей студеного воздуха. Дик сказал, что они уже в округе Финней.

– Десять миль уже катим, – сказал он.

Автомобиль шел очень быстро. В свете фар мелькали надписи: «Белые медведи, спешите видеть!», «Моторы Бергиса», «Самый большой в мире БЕСПЛАТНЫЙ плавательный бассейн», «Мотель „Хлебный край"» и, наконец, незадолго перед тем, как пошли уличные фонари, «Здорово,

путник! Добро пожаловать в Гарден-Сити. Здесь тебе рады».

Они обогнули северную окраину города. На улице в этот почти полночный час не было ни души, и кроме нескольких отчаянно сверкающих станций техобслуживания все было закрыто. Дик завернул в одну из них – «Филипс-66». Из дверей вышел парнишка и спросил:

– Залить?

Дик кивнул, а Перри вылез из машины, зашел внутрь и заперся в туалете. У него опять, как это часто случалось, болели ноги; болели так, словно та авария произошла пять минут назад. Перри вытряс из пузырька три таблетки аспирина, медленно разжевал (потому что любил его вкус) и запил водой из-под крана. Потом уселся на унитаз, вытянул ноги и начал растирать колени. Дик сказал, что они уже почти на месте – «всего в семи милях». Перри расстегнул карман ветровки и достал бумажный пакет; в пакете лежали новенькие резиновые перчатки. Они были липкие и тонкие, и когда он начал их натягивать, одна порвалась – ничего серьезного, просто лопнула между пальцами, но ему почудилось в этом дурное предзнаменование.

Ручка двери повернулась и лязгнула. Дик снаружи спросил:

– Хочешь конфетку? Тут есть автомат.

– Нет.

– Ты в норме?

– Все прекрасно.

– Не просиди до утра.

Дик опустил в автомат десять центов, дернул за рычаг и получил пакетик драже; набив ими рот, он побрел назад к машине и, встав в небрежной позе, стал смотреть, как молодой дежурный старается стереть с ветрового стекла канзасскую пыль и разбившихся насекомых. Парнишка – его звали Джеймс Спор – чувствовал себя неловко. Взгляд и угрюмое лицо Дика, а также странно продолжительное пребывание Перри в уборной его встревожили. (На следующий день он сообщил своему хозяину: «У нас тут вчера побывали два каких-то крутых клиента», но не подумал, тогда или даже долгое время спустя, связать их визит с трагедией в Холкомбе.)

Дик сказал:

– Как-то у вас тут скучно.

– Да уж, – отозвался Джеймс Спор. – За два часа вы здесь первые остановились. Откуда едете?

– Из Канзас-Сити.

– А сюда поохотиться?

– Просто проездом. Вообще-то нам в Аризону. Нас там работа ждет.

Строителями. Не знаешь, сколько отсюда до Тукумкари, Нью-Мексико?

– Не буду врать, не знаю. С вас три доллара шесть центов. – Он взял у Дика деньги, отсчитал сдачу и сказал: – Вы извините меня, сэр? У меня еще есть работа. Устанавливаю бампер на грузовике.

Дик ждал; он дождал конфеты, нетерпеливо запустил двигатель, посигналил. Неужели он ошибся в характере Перри? Неужто Перри все-таки испытал внезапный приступ «гона волны»? Год назад, когда они впервые встретились, он подумал, что Перри «хороший парень», только немного «зациклен на себе», «сентиментален» и слишком любит «помечтать». Перри был ему по душе, но Дик не считал, что с ним стоит возиться, до тех пор пока тот не рассказал, как просто ради «черт его знает чего» убил цветного в Лас-Вегасе – забил до смерти велосипедной цепью. Этот анекдот возвысил Малыша Перри в глазах Дика; он, так же как Вилли-Сорока, хотя и по другим причинам, постепенно пришел к выводу, что Перри обладает необычными и ценными качествами. В Лансинге сидело несколько убийц – во всяком случае, они хвастали, что совершили или готовы совершить убийство; но Дик все больше убеждался, что Перри – тот самый редкий тип «прирожденного убийцы»: человек абсолютно нормальный, но лишенный совести и способный, по поводу или без повода, совершенно хладнокровно нанести смертельный удар. Дик решил, что под его чутким руководством такой дар может быть с успехом использован. Придя к этому выводу, он стал ухаживать за Перри, льстить ему – притворяться, например, что он верит во всякую подводную чушь и разделяет его тоску по островам и морским портам, которые вовсе не привлекали Дика, мечтавшего о «размеренной жизни», собственном бизнесе, доме, скаковой лошади, новом автомобиле и «белокурых цыпочках». Однако Перри не должен был об этом догадываться – во всяком случае до тех пор, пока он, со своим даром, не поможет Дику удовлетворить его амбиции. Но что если Дик просчитался, обманулся в своих ожиданиях? Если так – если в конце концов окажется, что Перри всего лишь «обычный новичок», – тогда игра окончена, месяцы подготовки потрачены зря, и ничего не остается, как только развернуться и уехать. Этого нельзя допустить; Дик вернулся на станцию.

Дверь в туалет все еще была заперта. Он постучал:

– Черт возьми, Перри!

– Сейчас.

– Что случилось? Ты заболел?

Перри ухватился за край раковины и привел себя в вертикальное положение. Ноги у него дрожали; от боли в коленях он весь взмок, и ему

пришлось вытереть лицо бумажным полотенцем. Он отпер дверь и сказал:
– Ну ладно. Пора двигать.

Спальня Нэнси была самой маленькой и самой выразительной комнатой во всем доме – типично девичья и такая же воздушная, как пачка балерины. Стены, потолок и вся обстановка, кроме бюро и письменного стола, были розового, голубого или белого цвета. Белая с розовым кровать, на которой лежали голубые подушки, была полностью отдана в распоряжение большого бело-розового плюшевого мишки – Бобби получил его в качестве приза за меткую стрельбу на окружной ярмарке. Над украшенным белой скатертью столом висела выкрашенная в розовый пробковая доска; к ней были приколоты засушенные цветы, останки какой-то древней бутоньерки, старые «валентинки», рецепты из газет и фотографии ее маленького племянника, а также Сьюзен Кидвелл и Бобби Раппа. Бобби был схвачен камерой за дюжиной разных занятий – раскачивал летучую мышь, вел мяч во время матча, ехал на тракторе, брел в плавках по мелководью озера Мак-Киней (глубже он зайти не отваживался, поскольку не умел плавать). И были фотографии, где они вдвоем – Нэнси и Бобби. Из них больше всего ей нравилась та, где они, пестрые от пятен солнца, просеянного сквозь листву, сидят среди остатков пикника и смотрят друг на друга, хотя и не улыбаясь, но с выражением радости и восторга. Снимки же лошадей и умерших, но не забытых котов – вроде «бедного Бубса», который недавно скончался при подозрительных обстоятельствах (она считала, что его отравили), были разложены на письменном столе.

Нэнси неизменно ложилась позже всех; как она однажды сказала своей подруге и учительнице домоводства, миссис Полли Стрингер, полночные часы были для нее «временем эгоизма и самолюбования». Именно в это время она совершала свои обряды: умывалась, мазалась кремом, а по субботам еще мыла голову. В эту ночь, высушив и расчесав волосы, Нэнси повязала легкую косынку и разложила вещи, которые собиралась утром надеть в церковь: колготки, черные туфельки и красное бархатное платье – самое красивое, сшитое ею собственноручно. В этом платье ее опустят в могилу.

Прежде чем помолиться на ночь, она всегда записывала в дневник события дня («Пришло лето. Надеюсь, уже насовсем. Зашла Сью, и мы на Крошке поехали к реке. Сью играла на флейте. Светлячки») и внезапные озарения («Я люблю его, люблю»). Это был дневник на пять лет; за четыре года его существования Нэнси ни разу не забыла сделать запись, хотя из-за

грандиозности одних событий (свадьба Эвианы, рождение племянника) и трагичности других (ее «первая НАСТОЯЩАЯ ссора с Бобби» – страница вся в разводах от слез) ей пришлось занять место у будущего. Каждому году соответствовал свой цвет чернил: 1956-й был зеленым, 1957-й – красным, ему на смену пришел фиолетовый, а нынешний, 1959-й, она решила удостоить синего. Одновременно она отрабатывала свой почерк, делая наклон то вправо, то влево, округляя или заостряя, стараясь писать размашисто или убористо – словно спрашивала: «Нэнси такая? Или такая? Или вот такая? Которая же из них я?» (Однажды миссис Риггс, учительница английского, вернула ей сочинение с таким замечанием: «Хорошо. Но почему написано тремя разными почерками?» На что Нэнси ответила: «Потому что я еще недостаточно взрослая, чтобы быть одной личностью и иметь один почерк».) Однако за последние несколько месяцев она подросла, и почерк стал единообразнее. «Приезжала Джолен К., я показала ей, как печь пирог с вишнями. Занималась с Рокси. Приходил Бобби, смотрели телик. В одиннадцать он ушел».

– Это здесь, это здесь, где-то рядом. Вот школа, вот гараж, теперь поворачиваем на юг.

Перри казалось, что Дик бормочет какие-то шаманские заклинания. Они свернули с шоссе, промчали по пустынному Холкомбу и пересекли рельсы магистрали Санта-Фе.

– Банк, это, должно быть, он, теперь поворачиваем на запад – видишь деревья? Это здесь, это должно быть здесь. – Фары выхватили из темноты аллею китайских вязов; по ней носились подхваченные ветром клубки колючек. Дик приглушил свет, сбавил ход и остановился, выжидая, пока глаза не привыкнут к полумраку лунной ночи. Потом «шевроле» снова пополз вперед.

Холкомб всего на двенадцать миль восточнее горного часового пояса, и этим обстоятельством местные жители весьма недовольны, поскольку благодаря ему в семь утра, а зимой даже в восемь и позже небо еще темное и звезды, если они вообще были видны, все еще ярко сияют – как было и в воскресенье утром, когда пришли сыновья Вика Ирзика. Но в девять, когда мальчишки закончили свою работу, – за это время они не заметили ничего необычного, – солнце уже возвестило начало нового дня охотничьего сезона. Завидев въезжающую в усадьбу машину, мальчишки бросили все и побежали вдоль лужайки, махая руками автомобилю. Из него им в ответ помахала девочка. Это была одноклассница Нэнси Клаттер, и ее тоже звали Нэнси – Нэнси Эволт. Она была единственной дочерью сидевшего за рулем

мистера Кларенса Эволта, фермера, выращивающего сахарную свеклу. Мистер Эволт не ходил в церковь, и его жена тоже, но каждое воскресенье он отвозил дочь в «Речную Долину», чтобы она вместе с Клаттерами съездила в методистскую церковь в Гарден-Сити. Это избавляло его от необходимости «два раза мотаться туда и обратно». Следуя установившейся традиции, он ждал, пока дочь благополучно дойдет до крыльца. Нэнси обладала фигурой кинозвезды, любила красивые тряпки и знала в них толк, но при этом носила очки, держалась застенчиво, а походка у нее была такая, словно она всегда шла на цыпочках. Она прошла по лужайке и позвонила в дверь. В дом вели четыре входа, и когда ей никто не открыл даже после повторного звонка, она перешла к следующей двери – в кабинет мистера Клаттера. Дверь была приотворена; Нэнси приоткрыла ее еще немного и удостоверилась, что в кабинете нет никого, кроме теней. Но она подумала, что Клаттеры не обрадуются, если она «просто вломится», поэтому Нэнси стучала, звонила и, наконец, перешла к задней части дома. Там находился гараж, и она отметила, что обе машины на месте: два «шевроле-седан». Значит, хозяева дома. Однако когда ее попытки вызвать их через третью дверь, ведущую в «подсобку», и четвертую – на кухню, ничем не увенчались, она вернулась к отцу, и он сказал:

– Может, они спят.

– Но это же невозможно! Ты можешь себе представить, чтобы мистер Клаттер не пошел в церковь? Просто проспал?

– Тогда поехали. Заглянем в «Учительскую». Сьюзен должна знать, что случилось.

«Учительская», расположенная прямо напротив суперсовременной школы, помещается в старом здании, сером и угловатом. Оно поделено на казенные квартиры для тех преподавателей, кто не сумел найти или не может себе позволить жилья получше. Однако Сьюзен Кидвелл и ее мать сумели создать уют в своей квартирке – трех комнатах на первом этаже. В маленькой гостиной каким-то непостижимым образом кроме мебели, на которой можно сидеть, умещались орган, фортепьяно, целый цветник, светливая маленькая собачка и большой сонный кот. В то воскресное утро Сьюзен стояла у окна и смотрела на улицу – высокая, меланхоличная юная леди с бледным овальным лицом и красивыми голубовато-серыми глазами; у нее были необыкновенные руки – с длинными пальцами, гибкие и нервно-изящные. Уже одетая для посещения церкви, она ждала «шевроле» Клаттеров, поскольку тоже всегда ездила на службу вместе с ними. Но вместо них приехали Эволты и рассказали ей странную историю.

Но Сьюзен, как и они, не нашла объяснения. Мать ее тоже ничего не

знала, однако сказала:

– Если бы у них изменились планы, они бы предупредили, я в этом уверена. Сьюзен, может, ты им позвонишь? Они *запросто* могли проспять – по-моему.

Что я и сделала, – рассказывала Сьюзен позже, во время дачи показаний. – Я позвонила им домой и слушала гудки, наверное, больше минуты. Никто не взял трубку, и тогда мистер Эволт предложил поехать и попробовать «их разбудить». Но когда мы подошли к дверям – мне расхотелось входить в дом. Я испугалась, сама даже не знаю почему. Со мной раньше никогда такого не бывало. Но солнце светило так ярко, все вокруг казалось таким спокойным, а потом я увидела, что все машины на месте, даже старый «Фургон койота». Мистер Эволт был в рабочей одежде; на ботинки налипла грязь; он понимал, что в таком виде не стоит будить Клаттеров. Тем более что он никогда не бывал там. У них в доме, я имею в виду. Наконец Нэнси сказала, что пойдет со мной. Мы пошли к кухонной двери, и, конечно же, она была не заперта; в этом доме запирали двери только миссис Хелм – сами Клаттеры никогда этого не делали. Мы вошли, и я сразу же увидела, что они еще не завтракали: не было никаких тарелок на столе, никаких кастрюль на плите. Потом я заметила забавную вещицу: кошелек Нэнси. Он лежал на полу и был раскрыт. Мы прошли через столовую и остановились у подножия лестницы. Комната Нэнси была наверху. Я окликнула ее по имени и начала подниматься. Нэнси Эволт шла за мной следом. Звук наших шагов напугал меня больше всего остального, они были такие громкие, а вокруг было так тихо... Дверь в комнату Нэнси была открыта. Гардины отдернуты, и комната залита солнечным светом. Нэнси Эволт говорит, что кричала без остановки. Но я сама этого не помню. Я только помню плюшевого медвежонка, он смотрел прямо на меня. И Нэнси. И как я побежала...

Тем временем мистер Эволт решил, что ему, вероятно, не стоило разрешать девочкам входить в дом одним. Он как раз открыл дверцу автомобиля, когда услышал крики, но не успел добежать до дома, как на него налетели девочки. Его дочь кричала:

– Она умерла! – и бросилась ему на грудь. – Правда, папа! Нэнси умерла!

Сьюзен повернулась к ней:

– Нет, неправда. Не говори так. Ты не смеешь так говорить. У нее просто из носа текла кровь. У нее это часто очень бывает, сильно течет из носа кровь, и это все – больше ничего.

– Слишком много крови. На стенах тоже кровь. Ты просто не

посмотрела.

Я никак не мог собраться с мыслями, – говорил позднее мистер Эволт. – Я думал, может быть, девочка поранилась. Я решил, что первым делом нужно вызвать «скорую». Мисс Кидвелл – Сьюзен – сказала мне, что на кухне есть телефон. Я нашел аппарат там, где она говорила. Но трубка висела на проводе, а когда я ее взял, то увидел, что шнур перерезан.

Ларри Хендрикс, преподаватель английского языка, возраст – двадцать семь лет, жил на самом верхнем этаже «Учительской». Он мечтал стать писателем, но его квартира плохо годилась на роль жилища начинающего автора. Она была еще меньше, чем у Кидвеллов, а кроме того, Хендриксу приходилось делить ее с женой, тремя весьма активными детишками и ни на минуту не умолкающим телевизором. («Это единственный способ заставить детей хоть пять минут посидеть спокойно».) Хотя и не опубликовавший пока еще ни одной книги, молодой Хендрикс, с внешностью и повадками отставного моряка из Оклахомы, с трубкой в зубах, с пышными усами и дерзкой копной черных волос, по крайней мере выглядел литературно, поразительно напоминая ранние фотографии того автора, которым он больше всего восхищался, – Эрнеста Хемингуэя. Жалованье преподавателя невелико, и он подрядился еще водить школьный автобус.

– Иногда приходится делать по шестьдесят миль в день, – сказал он, едва представившись. – На литературу остается не так уж много времени. Кроме воскресений, конечно. Итак, в то воскресенье, пятнадцатого ноября, я сидел здесь, в квартире, листал газеты. Знаете, почти все сюжеты для своих рассказов я черпаю из газет. Ну вот, телевизор орет, дети тоже орут, но я все равно слышал *голоса*. На лестнице. Внизу, у миссис Кидвелл. Мне и в голову не пришло, что меня это как-то касается: я ведь еще новичок здесь, в Холкомбе, понимаете? Приехал только к началу занятий. Но потом Шерли – она как раз развешивала белье, – так вот, моя жена, Шерли, вбежала и говорит: «Ты, милый, лучше спустись. Они там просто в истерике». И точно – эти две девушки были просто в истерике. Ни разу не видел Сьюзен в таком состоянии. И не увижу, это уж точно. А бедная миссис Кидвелл... У нее здоровье и так неважное, да к тому же она все принимает чересчур близко к сердцу. Она все время твердила – я только потом понял к чему – всё время твердила: «О Бонни, Бонни, как это могло случиться? Ты была так счастлива, ты говорила мне, что все позади, что теперь ты совсем поправишься...», жутко звучали эти ее причитания. Даже мистер Эволт и тот разволновался – насколько вообще такой человек, как

он, способен разволноваться. Он вызвал по телефону шерифа – шерифа Гарден-Сити – и сказал, что у Клаттеров произошло «нечто непредставимое». Шериф обещал немедленно выехать, и мистер Эволт сказал – хорошо, я встречу вас на шоссе. Спустилась Шерли, чтобы посидеть с женщинами и попытаться их успокоить – как будто в таком состоянии кто-то смог бы их успокоить. А я пошел с мистером Эволтом – поехал с ним на шоссе ждать шерифа Робинсона. По пути он мне рассказал, что случилось. Когда он упомянул про перерезанные провода, я сказал про себя «Ого!» и понял, что должен держать глаза открытыми. Не упустить ни малейшей детали. На случай, если меня вызовут свидетелем. Приехал шериф; было ровно девять тридцать пять – я специально посмотрел на часы. Мистер Эволт махнул ему, чтобы он ехал за нами, и мы рванули к Клаттерам. Я никогда у них не бывал, ферму видел только издали. Но, конечно, я знал младших Клаттеров. Кеньон был в моем классе, и я ставил «Тома Сойера», в котором играла Нэнси. Это были удивительно скромные дети – ни за что не скажешь, что они из богатой семьи и живут в таком большом доме. Аллея, газончики – одним словом, все, что нужно для жизни. Когда мы приехали и Эволт все рассказал шерифу, тот связался по рации с Управлением и велел прислать еще людей и «скорую помощь». Сказал – «У нас тут несчастный случай». Потом мы вошли в дом, все трое. Прошли через кухню и увидели дамский кошелек на полу и телефон с обрезанными проводами. У шерифа на поясе был пистолет, и когда мы начали подниматься по лестнице, к комнате Нэнси, я заметил, что он держит руку поближе к кобуре. Что ж, зрелище действительно было ужасное. Нэнси – какая это была замечательная девочка – было почти невозможно опознать. Ей выстрелили в затылок, почти в упор. Она лежала на боку, лицом к стене, и вся стена была забрызгана кровью. Она была укрыта до плеч покрывалом с кровати. Шериф Робинсон снял покрывало, и мы увидели, что на девочке были купальный халат, пижама, носочки и тапочки – когда бы ни произошло это несчастье, она еще не спала. Руки у нее были связаны за спиной, и ноги тоже стянуты – шнуром, похожим на те, какими поднимают и опускают жалюзи. Шериф спросил: «Это Нэнси Клаттер?» – он никогда не видел ее прежде, – и я сказал: «Да. Да, это Нэнси». Мы вернулись в коридор. Все другие двери были закрыты. Мы открыли одну – за ней оказалась ванная. Отчего-то возникало чувство, будто в ней что-то неправильно. Я решил, что это, наверное, из-за стула: стул, из тех, что обычно ставят в гостиной, выглядел там неуместно. За следующей дверью была – мы все с этим согласились – комната Кеньона. Сразу было видно, что это жилище

мальчишки, – и еще я узнал очки Кеньона: увидел их на книжной полке возле кровати. Но кровать была пуста, хотя выглядела так, будто на ней кто-то спал. Так мы дошли до конца коридора, и в последней комнате, на кровати, нашли миссис Клаттер. Она тоже была связана. Но по-другому – руки связаны впереди, – казалось, что она молится, – и в одной руке она держала – *стискивала* – носовой платок. Или это была салфетка? Шнур шел от запястий к лодыжкам, а потом – к ножке кровати. Какая изощренность! Только представьте, сколько труда нужно, чтобы так связать человека. И она лежала там, с безумным от ужаса лицом. Ну, на ней были какие-то драгоценности, два кольца – поэтому я всегда отвергал версию, что это убийство с целью грабежа, – и еще халат, и длинная белая ночная рубашка, и белые носки. Рот ей залепили пластырем, но пуля его разорвала. Ее глаза были открыты. Широко открыты. Как будто она все еще видела перед собой убийцу. Как будто ее все еще заставляли смотреть, как он наводит на нее ружье. Никто не сказал ни слова. Все были слишком ошеломлены. Помню, что шериф обшарил всю комнату в поисках стреляной гильзы. Но кто бы ни совершил это преступление, он был слишком умен и слишком хладнокровен, чтобы оставить после себя такую улику. Естественно, мы задались вопросом, где мистер Клаттер? И Кеньон? Шериф сказал: «Давайте посмотрим внизу». Первая комната, где мы посмотрели, была хозяйская спальня – там обычно спал мистер Клаттер. Покрывало было сброшено на пол, а у ножки кровати валялся бумажник; из него были вытащены все визитки и разбросаны вокруг, будто кто-то в них рылся в поисках чего-то особенного: какой-нибудь личной записки или долговой расписки – кто знает? Тот факт, что денег в бумажнике не было, ни о чем не говорил. Это был бумажник мистера Клаттера, а он никогда не носил с собой наличных. Даже мне было это известно, а ведь я пробыл в Холкомбе всего лишь чуть больше двух месяцев. И я знал еще одну вещь: ни мистер Клаттер, ни Кеньон не смогли бы без очков вдеть нитку в иголку. А очки мистера Клаттера лежали на конторке. Из этого я сделал вывод, что где бы сейчас ни были сын и отец, попали они туда не по собственной воле. Мы осмотрели весь дом, и везде все выглядело как обычно – никаких следов, ничего не сломано, не разбито. Кроме кабинета, где телефон был обрезан, как и на кухне. Шериф Робинсон нашел в туалете несколько гильз и понюхал, чтобы выяснить, не были ли они использованы недавно. Сказал, что нет, и – такого изумленного лица я в жизни ни у кого не видел – добавил: «Где, черт побери, может быть Герб?» Сразу после этого мы услышали шаги. Кто-то поднимался по лестнице. «Кто здесь?» – крикнул шериф – он уже был готов стрелять, – и мужской голос откликнулся: «Это

я. Вендель». Оказалось, что это Вендель Мейер, помощник шерифа. Наверное, он вошел в дом и, не увидев нас, решил осмотреть подвал. Шериф сказал ему – как будто жаловался: «Вендли, просто не знаю, что делать. Два трупа на втором этаже». – «И, – добавил Вендель, – еще один там, внизу». Мы спустились за ним в подвал – или в комнату для игр, так, пожалуй, будет точнее. Там было не так уж темно: окошки под потолком пропускали достаточно света. Кеньон лежал на кушетке в углу. Рот у него был заклеен пластырем, а руки и ноги связаны вместе, как у матери, – и шнур точно так же вился от запястий к лодыжкам, а потом к ножке кушетки. Он все время стоит у меня перед глазами – в смысле, Кеньон. Я думаю, это потому, что его было проще опознать, чем остальных. То есть он был больше похож на себя – даже несмотря на то, что ему выстрелили прямо в лицо, и к тому же в упор. На нем были футболка и синие джинсы, а ноги босые, словно он одевался в спешке и надел первое, что подвернулось под руку. Под голову ему подложили пару подушек, будто для того, чтобы удобнее было прицелиться. Потом шериф спросил: «А там что?» – имея в виду еще одну дверь в подвале. Он открыл ее, но за ней было темно хоть глаз выколи, и пока мистер Эволт не нашел выключатель, ничего нельзя было разглядеть. Оказалось, что там стоит котел; жарко было невыносимо. У нас в округе люди просто ставят газовые котлы и качают газ прямо из земли. Он им не стоит ни цента, и поэтому во всех домах вечно перетоплено. Ну, я взглянул на мистера Клаттера и не мог заставить себя посмотреть второй раз. Я знал, что огнестрельная рана не дает столько крови. И я не ошибался. Его застрелили так же, как Кеньона, – в упор и прямо в лицо, – но, вероятно, он был уже к этому времени мертв. Или, во всяком случае, умирал. Потому что сначала ему перерезали горло. На нем была пижама в полоску – и ничего больше. Рот был залеплен пластырем; пластырь обхватывал голову. Ноги были связаны, но руки – нет; скорее всего, он сумел их развязать, бог знает как – наверное, от злости или от боли порвал шнур у себя на запястьях. Он был растянут перед котлом на большой картонной коробке – казалось, ее принесли сюда специально для этого. Коробка от матраца. Шериф сказал: «Вендли, взгляни-ка». Это был кровавый отпечаток ботинка. Прямо на коробке. Отпечаток подошвы с рисунком в виде кошачьей лапки. Потом кто-то из нас – мистер Эволт? не помню – заметил еще кое-что. Эта картина так и стоит у меня перед глазами. Поверху шел дымоход, и вот с него свисал, к нему был привязан обрывок шнура – того же самого, каким убийца связывал свои жертвы. Очевидно, сначала мистера Клаттера подвесили за руки к дымоходу, а потом зарезали. Но для чего? Ради того, чтобы его помучить? Вряд ли мы

когда-нибудь это узнаем – узнаем, кто это сделал, почему и что происходило в том доме той ночью.

Постепенно дом начал заполняться людьми. Приехали санитары, и коронер, и методистский священник, и полицейский фотограф, и полиция штата, и парни из газеты и с телевидения. О, целый табор. Почти все приехали сразу из церкви и вели себя так, словно до сих пор находятся там. Очень тихо. Переговаривались шепотом. Казалось, никто не верит в то, что случилось. Полицейский из полиции штата спросил, есть ли у меня здесь какое-то официальное дело, и сказал, что если нет, то мне лучше уехать. Снаружи, на лужайке, я увидел помощника шерифа: он расспрашивал Альфреда Стоуклейна, наемного работника Клаттеров. Стоуклейн вроде жил всего в сотне ярдов от дома Клаттеров, и между ними ничего, только сарай. Но он объяснил, почему они с женой ничего не слышали: «Я обо всем узнал только пять минут назад, когда ко мне прибежал один из моих ребят и сказал, что здесь шериф. Мы с моей миссис прошлую ночь и двух часов не спали, все носились туда-сюда как оглашенные, у нас ведь малышка болеет. Вечером, где-то в десять тридцать или в четверть одиннадцатого, мы слышали шум мотора; это я услышал и еще миссис своей сказала: „Боб Рапп уехал“. А потом – ничего. Я пошел к шоссе и по дороге, примерно на середине аллеи, увидел старого пса Кеньона. Он был сильно напуган. Скорчился под деревом, поджав хвост, и даже не лаял. И только тогда я почувствовал весь ужас этого злодеяния. Сполна, понимаете. До этого я был настолько ошеломлен, настолько оглушен, что все ощущал как сквозь вату. Они все умерли. Вся семья. Благородные, добрые люди, которых я знал лично, – *убиты*. И приходится в это верить, потому что это чистая правда».

Каждые двадцать четыре часа через Холкомб не останавливаясь пролетают восемь пассажирских поездов. Из них два привозят и забирают почту – то есть производят действия, которые, как пылко объясняет тот, кто за это отвечает, имеют свои сложности.

– Да, сэр, тут смотри не зевай. Поезда-то эти, которые через нас идут, они иногда и по сто миль делают в час. Такой ветер от них, просто с ног валит. А уж когда эти мешки с почтой на полном ходу вылетают – только держись! Все равно как полузащитнику в футболе достается: Бац, *бац!* БАЦ! Не то что я жалуюсь, заметьте. Это – честная работа, государственная работа, и она не дает мне стареть. – Почтальонше из Холкомба, миссис Сэди Труит – или Матушке Труит, как ее величают горожане, – и впрямь не дашь ее лет, коих прожито уже семьдесят пять.

Матушка Труит – вдова; коренастая, с обветренным лицом, она повязывает платок на манер русских «бабушек» и носит ковбойские сапоги («Самая удобная обувь, какую только придумали на этом свете, мягкая, как гагачий пух»). Матушка Труит живет в Холкомбе испокон веку. «Было время, здесь не было никого не нашего племени. Те дни мы это место называли Шерлок. Потом пришел этот чужак. По имени Холкомб. Свиновод он был, вот кто. Сделал денежки и решил, что город должен называться по его фамилии. Дальше что он делает? Все продает. Уезжает в Калифорнию. Он, а не мы. Я сама родилась здесь, мои дети родились здесь. ЗДЕСЬ МЫ! И! ЖИВЕМ!» Одна из ее дочерей – миссис Миртл Клэр – занимает должность почтмейстера. «Только не думайте, что я через нее свою государственную работу получила. Мирт даже не хотела, чтоб я здесь работала. Но за эту должность вечно торгуются. Достается самому нищему. И всегда это я – такая жалкая гусеница, что вне конкуренции. Ха-ха! Мальчишки, конечно, прямо бесятся. Слишком много их сюда рвется, да, сэр. Но посмотрела бы я, как им понравится, когда сугробы высотой со старого мистера Примо Карнера, ветер аж с ног сбивает, а тут еще мешки лови – бац! Бух!»

Для Матушки Труит воскресенье – такой же рабочий день, как и все остальные. 15 ноября она как раз ждала идущий на запад «десять тридцать две», когда с удивлением увидела, как две санитарные машины переехали через рельсы и повернули к особняку Клаттеров. Это событие заставило ее совершить то, чего она никогда прежде себе не позволяла – пренебречь своими обязанностями. Пусть мешки падают, куда им заблагорассудится, но Мирт обязательно должна узнать эту новость.

Холкомбские жители свое почтовое отделение называют Федеральным зданием, что представляется чересчур пышным наименованием для ветхого и пыльного сарая. Потолок протекает, половицы «гуляют», почтовые ящики не закрываются, лампочки побиты, часы стоят. «Да, это позор, – соглашается язвительная, немного экстравагантная, но представительная леди, которая царствует во всем этом бардаке. – Но марки мы наклеиваем, и письма доходят, не так ли? Во всяком случае, мне-то жаловаться не на что. У меня в каморке чистота и уют. Там у меня качалка, хорошая печь, кофейник и много всякого чтива».

Миссис Клэр – известная фигура в округе Финней. Своей известностью она обязана не своему нынешнему занятию, а предыдущему: она была хозяйкой танцзала (впрочем, эта ипостась никак не проявляется в ее внешности). Миссис Клэр – костлявая, высокого роста, ходит в брюках, шерстяной рубашке и ковбойских сапогах; рыжеволосая темпераментная

женщина, как говорится, неопределенного возраста («Это мое дело – знать. Ваше – гадать»), зато вполне определенных взглядов, которые она провозглашает голосом, пронзительностью и тембром напоминающим воронье карканье. До 1955 года она со своим покойным мужем управляла Холкомбским танцевальным павильоном, заведением, которое в силу того, что было единственным на сотни миль вокруг, привлекало сюда пижонов, не умеющих пить, но любящих покрасоваться, чье поведение, в свою очередь, периодически привлекало к ним интерес шерифа.

– Что ж, и нам порой приходилось нелегко, – вспоминает те годы миссис Клэр. – Эти кривоногие мальчишки – стоит им чуть-чуть выпить, и они уже как краснокожие: норовят снять скальп с каждого встречного. Ясное дело, продавали мы только коктейли, чистое – никогда. И даже если б по закону было можно, не продавали бы. Мой муж, Гомер, этого не одобрял, да и я тоже. Однажды Гомер – вот уж семь месяцев и двенадцать дней, как он покинул сей мир, не перенеся пятичасовой операции, – так вот, он сказал мне: «Мирт, всю жизнь мы прожили в аду, давай хоть помрем в раю». На следующий день мы закрыли танцзал. Я никогда об этом не жалела. Поначалу, правда, мне, как сове ночной, скучно было – без шума, без музыки. Но теперь, когда Гомера не стало, я только рада, что работаю здесь, в Федеральном здании. Сидишь себе. Кофеек попиваешь.

Собственно говоря, в то воскресное утро миссис Клэр как раз налила себе чашечку свежего кофе, когда вошла Матушка Труит.

– Мирт! – начала она, но больше ничего произнести не могла, пока не восстановила дыхание. – Мирт, только что к Клаттерам поехали две санитарных машины.

Дочь сказала:

– Где «десять тридцать две»?

– Санитарные машины. К Клаттерам...

– Подумаешь, что тут такого? Опять припадок у Бонни. Где «десять тридцать две»?

Матушка Труит примолкла; Мирт, как обычно, все знает, и последнее слово снова за ней. Но вдруг ее поразила новая мысль.

– Но, Мирт, если бы все дело было в Бонни, для чего две санитарных машины?

Вопрос резонный; миссис Клэр, как поклонница логики, хотя и в своеобразном ее понимании, не могла этого не признать. Она сказала, что позвонит миссис Хелм.

– Мейбл наверняка знает.

Беседа с миссис Хелм продолжалась несколько минут и еще сильнее

взволновала Матушку Труит, которая не слышала ничего, кроме уклончивых односложных ответов дочери. Хуже того, когда дочь повесила трубку, она и не подумала удовлетворить любопытство старухи; вместо этого она спокойно отхлебнула кофе, подошла к столу и принялась проставлять штемпели на гуде писем.

– Мирт, – взмолилась Матушка Труит. – Ради всего святого, что сказала Мейбл?

– Этого следовало ожидать, – проговорила миссис Клэр. – Герб Клаттер всю жизнь спешил, прибегал сюда за своей почтой и даже ни разу не задержался, чтобы просто сказать «доброе утро» или «спасибо тебе, старая кляча». Носился, как куренок без головы, – во всех-то клубах он член, в каждом деле впереди, и все лучшие должности сразу ему, хотя, может, кто-то другой о них тоже мечтал. А теперь гляди – добежался. Все, больше ему спешить некуда.

– Почему, Мирт? Почему некуда?

Миссис Клэр возвысила голос:

– ПОТОМУ ЧТО ОН МЕРТВ. И Бонни тоже. И Нэнси. И мальчишка. Кто-то их всех перестрелял.

– Мирт, что ты такое говоришь? Кто же их пострелял?

Не прерывая своего занятия, миссис Клэр отвечала:

– Тот тип из аэроплана, что врезался в его персики. Которого Герб отдал под суд. А если не он, тогда, значит, ты. Или кто-то из тех, кто живет через улицу. Все соседи – гремучие змеи. Все себе на уме, так и норвят нос дверью прищемить. Таков уж этот мир. Сама знаешь.

– Не знаю, – пролепетала Матушка Труит, зажав ладонями уши. – Ничего я такого не знаю.

– Змеи.

– Я боюсь, Мирт.

– Чего? Когда придет твое время, тогда и придет. И никакие слезы тебя не спасут. – Клэр заметила, что мать тихонько всхлипывает. – Когда Гомер умер, я исчерпала все свои запасы и страха, и горя. Если где-то поблизости болтается какой-нибудь дурак, которому не терпится перерезать мне горло, желаю ему успеха. Какая мне разница? Для вечности все это ерунда. Ты просто запомни: если одна птичка начнет таскать по одной песчинке – сначала одну, потом еще одну – через море, то время, когда она все их перетаскает на другую сторону, будет всего лишь началом вечности. Так что вытри нос.

Скорбная весть, объявленная проповедниками в церквях, переданная по телефонным проводам, распространенная независимой радиостанцией

Гарден-Сити («невероятная и невыразимо страшная трагедия минувшей ночью или сегодня ранним утром постигла четверых членов семьи Герба Клаттера. Убийство, зверское и без очевидного мотива...»), вызвала среди мирных граждан реакцию, близкую скорее к реакции Матушки Труит, чем миссис Клэр: изумление, переходящее в тревогу; жутковатое ощущение того, как стремительно разливаются холодные ручейки страха за собственную жизнь.

«Кафе Хартман», вся обстановка которого состояла из четырех грубо сколоченных столов и буфетной стойки, с трудом могло вместить всех перепуганных сплетников, главным образом мужского пола, которые стремились в это заведение. Владелица, миссис Бесс Хартман, полноватая неглупая дама с короткими золотисто-седыми волосами и яркими, властными зелеными глазами, приходилась кухней почтмейстерше Клэр и вполне могла потягаться с ней в прямолинейности высказываний.

– Люди говорят, что я суровая тетка, но эта история с Клаттерами проняла даже меня, – признавалась она подруге. – Не представляю, кто мог это сделать! Наслушавшись всякой дичи, которую тут несли, я сначала решила – Бонни. Глупо, конечно, но ведь подробностей никто не знал, и многие тогда подумали «а вдруг она» – из-за ее припадков. А теперь никто не знает, что и думать. Такое убийство можно совершить только из ненависти. И убийца наверняка знал дом как свои пять пальцев. Но кто их мог ненавидеть, Клаттеров? Ни от кого я не слышала о них худого слова; так, как их, у нас никого не любили, и если уж с ними такое случилось, то кто тогда застрахован, спрашиваю я вас? Один старик, который сидел у меня тут в то воскресенье, точно сказал, почему теперь никто не может уснуть; он сказал: «Все, кто здесь живет, – наши друзья. Других нет». Вот это и есть самое скверное. Ужасно, когда соседи не могут смотреть друг на друга без такого подозрительного прищуря! Знаю, с такими мыслями трудно примириться, но я уверена, что когда выяснят, кто преступник, это потрясет нас еще больше, чем само убийство.

Миссис Боб Джонсон, жена агента Нью-Йоркской Страховой Компании, превосходно готовит, но воскресный обед так и не был съеден – по крайней мере, не был съеден горячим, – потому что в тот миг, когда ее муж вонзил нож в жареного фазана, ему позвонил друг.

– И тогда, – вспоминает он со скорбью, – я впервые услышал о том, что произошло в Холкомбе. Я не поверил. Я не мог позволить себе поверить. Господи, у меня был чек Клаттера, при себе, в кармане пиджака. Листок бумаги стоимостью восемьдесят тысяч долларов – если то, что я

услышал, была правда. Но я подумал, что этого не может быть, наверное, произошла ошибка, так не бывает, не бывает так, чтобы сегодня ты продал человеку большой полис, а завтра он оказался мертв. И не просто мертв, а убит. То есть компенсация выплачивается в двойном размере. Я не знал, что делать. Я позвонил нашему менеджеру в Уичито. Сказал ему, что получил чек, но еще не оформил, и спросил, что он мне посоветует. Гм, ситуация была щекотливая. Казалось бы, с юридической точки зрения мы не обязаны выплачивать страховку. Но с нравственной точки зрения – другое дело. Естественно, мы решили поступить по совести.

Два человека, которым это благородное решение принесло прямую выгоду, – Эвиана Джарчоу и ее сестра Беверли, единственные наследницы отцовского состояния, – находились в тот момент на пути в Гарден-Сити. Беверли ехала из Уинфилда, штат Канзас, где она гостила у своего жениха, а Эвиана – из собственного дома в Маунт-Кэрроле, штат Иллинойс. Постепенно, в течение дня, были извещены и другие родственники, в их числе – отец мистера Клаттера, двое братьев, Артур и Кларенс, и сестра, миссис Гарри Нельсон, все живущие в Ларнеде, штат Канзас, а также вторая сестра, миссис Элейн Селсор из Палатки, штат Флорида. Кроме того, родители Бонни Клаттер: мистер и миссис Артур Б. Фокс, которые жили в Пасадене, штат Калифорния, и три ее брата – Гарольд из Визалии, штат Калифорния; Говард из Орегона, штат Иллинойс; и Гленн из Канзас-Сити, штат Канзас. Да, по сути дела, почти все, кто был в списке гостей Клаттеров на День благодарения, получили это сообщение, кто по телефону, кто по телеграфу, и почти все немедленно отправились на традиционную встречу рода Клаттеров, только состоялась она не за праздничным столом, а на кладбище.

В это время в «Учительской» Уилма Кидвелл старалась держать себя в руках, потому что Сьюзен, хоть и совершенно опухла от слез и обессилела от приступов тошноты, безутешно твердила, что должна идти – срочно бежать – за три мили на ферму Раппов.

– Как ты не понимаешь, мама? – говорила она. – Что будет с Бобби, когда он об этом услышит? Он любил ее. И я любила. Он должен все узнать от меня.

Но Бобби уже знал. По пути домой мистер Эволт остановился на ферме Раппов. Он посоветовался со своим другом Джонни Раппом, отцом восьмерых детей, из которых Бобби был третьим. Вместе двое мужчин направились в «ночлежку» – постройку, отделенную от собственно дома, который не мог вместить всех отпрысков Раппа. Мальчишки жили в «ночлежке», девочки «дома». Бобби как раз застилал кровать. Он выслушал

мистера Эволта, не задал ни одного вопроса и поблагодарил его за приезд. Потом он вышел во двор. Ферма Раппа стоит на высокой равнине, и с нее ему были хорошо видны золотящиеся поля «Речной Долины»; целый час он смотрел на них не отрываясь. Его пытались отвлечь, но безуспешно. Прозвонил колокол к обеду, и мать стала звать Бобби в дом – и звала до тех пор, пока наконец ее муж не сказал: «Не надо. Оставь ты его».

Ларри, младший брат Бобби, тоже отказался повиноваться колоколу. Он ходил вокруг Бобби кругами, не в силах помочь, но горя желанием что-то сделать, даже несмотря на то, что ему было велено «убираться». Потом, когда его брат пошел через поля к Холкомбу, Ларри увязался следом.

– Эй, Бобби. Послушай. Если уж мы куда-то идем, может, лучше взять машину?

Брат не отвечал. Он нарочно шел пешком, точнее, даже бежал, но Ларри не составляло труда идти с ним вровень. Хотя ему было еще только четырнадцать, он был выше ростом, выносливее, и ноги у него были длиннее. А Бобби, при всех своих спортивных заслугах, был едва ли не ниже среднего роста – ладненький, стройный мальчик с открытым, красивым лицом.

– Эй, Бобби. Послушай. Тебе все равно не разрешат на нее посмотреть. Ничего не выйдет.

Бобби обернулся и сказал:

– Иди назад. Ступай домой.

Ларри чуть поотстал, но продолжал идти следом. Несмотря на иссушающее тепло тыквенной поры, оба взмокли от пота, пока добрались до полицейского кордона у фермы «Речная Долина». Там уже собрались те, кто был дружен с Клаттерами, и просто любопытные со всего округа, но никто не был допущен за ограждение; его убрали лишь на короткое время, чтобы выпустить четыре санитарные машины – именно такое их число понадобилось, чтобы вывезти трупы, – и автомобиль с полицейскими. Когда мальчики пришли, все как раз говорили о Бобби Раппе. Потому что Бобби, как ему пришлось узнать еще до наступления сумерек, считался главным подозреваемым.

Из окна своей комнаты Сьюзен Кидвелл видела, как белый кортеж промчал мимо, и смотрела ему вслед, пока он не скрылся за углом и летучая пыль немощеной улицы снова не осела на дорогу. Потом в поле ее зрения возник Бобби, полускрытый тенью высокого младшего брата. Он, пошатываясь, брел по направлению к ее дому. Сьюзен вышла ему навстречу:

– Я так хотела сама тебе сказать.

Бобби заплакал. Ларри остановился у ограды дворика «Учительской» и привалился спиной к дереву. Он никогда в жизни не видел, как Бобби плачет, и не желал видеть, поэтому опустил глаза.

Далеко, в городе Олате, в гостиничном номере с зашторенными, чтобы приглушить свет полуденного солнца, окнами спал Перри. Рядом с ним бормотал маленький приемник. Перри даже не стал раздеваться – только скинул сапоги. Он просто упал ничком поперек кровати, как будто сон был дубиной, которой его огрели сзади. Сапоги, черные с серебряными пряжками, мокли в ванне с теплой, чуть розоватой водой.

В нескольких милях к северу в уютной кухоньке скромного сельского домика Дик уплетал воскресный обед. Домашние: мать, отец и младший брат Дика – не заметили в его поведении ничего странного. Он вернулся домой в полдень, поцеловал мать, с готовностью ответил на вопросы отца о своей неожиданной поездке в Форт-Скотт и как ни в чем не бывало уселся за стол. Когда обед подошел к концу, мужчины устроились перед телевизором смотреть баскетбольный матч. Передача только началась, как вдруг отец с изумлением услышал храп Дика. Вот уж никогда не думал, говорил он потом младшему сыну, что доживу до того дня, когда Дик заснет на баскетболе. Но, разумеется, он не мог себе представить, насколько устал Дик, и не знал, что его соня сын, помимо всего прочего, за прошедшие двадцать четыре часа проехал больше восьми сотен миль.

Часть 2

НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА

Понедельник, шестнадцатое ноября 1959 года, тоже был прекрасным образчиком фазаньей погоды в высоких пшеничных равнинах западного Канзаса – день, полный изумительно яркого неба, сверкающего, как слюда. В прежние годы Энди Эрхарт частенько в эту пору проводил охотничьи деньки на ферме «Речная Долина», в гостях у своего доброго друга Герба Клаттера, и нередко в этих спортивных экспедициях его сопровождали трое других ближайших друзей Герба: доктор Дж. Э. Дэйл, ветеринар; Карл Майерс, владелец молочной фермы; и Эверетт Огберн, бизнесмен. Как и Эрхарт, руководитель Экспериментальной сельскохозяйственной станции Канзасского университета, все трое были весьма уважаемыми гражданами Гарден-Сити.

Сегодня четверо старых товарищей вновь собрались в знакомые места, но с незнакомой целью и странным, неспортивным инвентарем – швабрами и ведрами, жесткими щетками и корзиной, набитой тряпками и бутылками с едкими моющими средствами. Охотники были одеты в самую поношенную одежду. Ибо, чувствуя, что таков их христианский долг, они вызвались вычистить все четырнадцать комнат в доме на ферме «Речная Долина»: комнаты, в которых четыре члена семьи Клаттеров были убиты, как значилось в свидетельствах о смерти, «неизвестным лицом или лицами».

До фермы Эрхарт и его спутники ехали в молчании. Один из них позже рассказывал:

– Нас будто кто-то выключил. Дикая ситуация. Ведь мы ехали туда, где всегда встречали такой теплый прием.

Это был особый случай, и патрульный на шоссе пропустил их без разговоров. Еще полмили они проехали по тенистой вязовой аллее, ведущей к дому Клаттеров. Альфред Стоуклейн вышел навстречу, чтобы подтвердить полиции их личности.

Сначала они спустились в котельную, где был обнаружен труп связанного мистера Клаттера, в одной пижаме лежавшего на картонной коробке от матраца. Закончив уборку там, они перешли в комнату для игр, где был застрелен Кеньон. Кушетка, которую Кеньон когда-то спас и

починил, а Нэнси украсила покрывалом и вышитыми подушками, была залита кровью; ее, как и коробку от матраца, следовало сжечь. По мере того как уборщики передвигались от подвала до спален второго этажа, где были убиты Нэнси и ее мать, у них скапливалось все больше топлива для будущего костра: запачканное кровью постельное белье, матрацы, прикроватные коврики, плюшевый медвежонок.

Альфред Стоуклейн, человек обычно неразговорчивый, о многом рассказал, пока таскал горячую воду и всячески помогал убирать. Он выразил пожелание, чтобы «народ перестал болтать языком и уяснил наконец», почему ни он, ни его жена, хотя живут от силы в ста ярдах от дома Клаттеров, не слышали «почитай ничего» – даже эха выстрелов – из того зверства, что здесь творилось:

– Шериф и его ребята, которые тут отпечатки со всех брали и черкали в блокнотиках, у них-то котелок варит, они понимают, почему так вышло. Как получилось, что мы не слышали. С одной стороны, ветер. Западный ветер, вот как сейчас, относит звук в сторону. Потом, еще этот большой амбар между его домом и нашим. Он все глушит. Вам-то небось это и в голову бы не пришло? А уж он, тот, что все это сделал, наверняка *знал*, что мы не услышим. А то разве стал бы так рисковать – палить из ружья среди ночи, да еще четыре раза! Надо быть просто ненормальным. Конечно, вы можете сказать, что он и так ненормальный. Какой нормальный человек может такое совершить? Только я думаю, тот, кто это сделал, просчитал все до точки. Он *знал*. А я знаю одно: мы с моей миссис вчера в последний раз здесь ночевали. Мы перебираемся в домик поближе к шоссе.

Мужчины трудились с полудня до заката. Потом погрузили в пикап все, что предстояло сжечь, и Стоуклейн повез их в дальнюю, северную часть ранчо, на окрашенное в ровный охряно-желтый ноябрьский цвет пшеничное поле. Там они разгрузили пикап и сложили пирамиду из вышитых Нэнси подушечек, простынь, матрацев, кушетки из игровой; Стоуклейн полил ее керосином и бросил спичку.

Ближе всех из присутствующих к семье Клаттеров был Энди Эрхарт. Мягкий, неизменно благожелательный, истинный ученый с трудовыми мозолями на руках и загорелой шеей, он был однокурсником Герба по Канзасскому университету.

– Мы с ним дружили тридцать лет, – говорил он позже; за эти три десятилетия Эрхарту довелось увидеть, как его друг из малооплачиваемого сельскохозяйственного агента округа вырос в одного из самых известных и уважаемых хозяев в этих краях. – Все, чем Герб владел, он заработал сам – с Божьей помощью. Он был человеком скромным, но гордым, и у него

были все основания для гордости. Он воспитал прекрасных детей. Он кое-что сделал в этой жизни.

«Но вот она, его жизнь – горит жарким пламенем, вот горит то, что он сделал. Как это могло случиться?» – спрашивал себя Эрхарт, глядя на разгорающийся костер. Как получилось, что такие труды, такие несомненные добродетели в одночасье превратились в дым, который постепенно тает, уходя в вышину и всасываясь в огромное, прожорливое небо?

Канзасское бюро расследований, организация со штаб-квартирой в Топике, состоит из девятнадцати опытных детективов, разбросанных по всему штату на случай, если какое-то дело выйдет за пределы компетенции местных властей. Представитель Бюро в Гарден-Сити, который отвечает почти за весь западный Канзас, – стройный и красивый сорокасемилетний мужчина, канзасец в четвертом поколении, Элвин Адаме Дьюи. Шерифу округа Финней, Эрлу Робинсону, волей-неволей пришлось просить Эла Дьюи взять на себя расследование дела Клаттеров. Это было неизбежно. Неизбежно и закономерно. Ибо Дьюи, сам бывший шериф округа Финней (с 1947 по 1955 год), а до того – специальный агент ФБР (в период между 1940 и 1945 годами он служил в Новом Орлеане, в Сан-Антонио, в Денвере, в Майами и в Сан-Франциско), был профессионалом и потому был способен раскрыть даже такое запутанное преступление, как это, на первый взгляд, немотивированное и не поддающееся объяснению убийство. Кроме того, это задание стало для него, как он говорил позже, «делом личным». Эрл не уставал повторять, что они с женой «искренне любили Герба и Бонни», «каждое воскресенье виделись с ними в церкви, много раз бывали у них в гостях и приглашали их к себе», и добавлял: «Но даже если бы я не знал Клаттеров так хорошо, это бы ничего не изменило. Потому что я повидал на своем веку немало скверного, можете мне поверить. Но ни разу не встречал такой гнусности. Не знаю, сколько времени у меня на это уйдет, может быть – вся оставшаяся жизнь, но я выясню, что произошло в этом доме: кто убил и почему».

В конце концов к расследованию подключили целых восемнадцать человек, и в том числе трех самых способных следователей Канзасского бюро расследований, специальных агентов Гарольда Ная, Роя Черча и Кларенса Дунца. Когда они прибыли в Гарден-Сити, Дьюи с удовлетворением заметил, что подобралась «сильная команда».

– Ну, теперь держись, – сказал он, обращаясь к неизвестному преступнику.

Кабинет шерифа находится на четвертом этаже здания окружного суда; это типовое цементно-серое строение расположено в центре во всем остальном очень красивого сквера. В настоящее время Гарден-Сити, который некогда был довольно беспокойным пограничным городом, совсем притих. У шерифа не так уж много работы, и в его офисе – трех скудно обставленных комнатах – обыкновенно отсиживаются праздные служители закона; миссис Эдна Ричардсон, гостеприимный секретарь шерифа, неизменно располагает полным кофейником кофе и уймой времени для того, чтобы почесать языком. Точнее, *располагала* до тех пор, пока «не приключилась эта ужасная история с Клаттерами», приманившая «всех этих иногородних», которые только раздувают «всю эту газетную шумиху». Газеты от Чикаго на востоке до Денвера на западе пестрели заголовками, посвященными убийству Клаттеров, и в Гарден-Сити действительно съехалось немало журналистов.

В понедельник, в полдень, Дьюи проводил пресс-конференцию в офисе шерифа.

– Я буду излагать факты, а не гипотезы, – сообщил он собравшимся репортерам. – Значит, так. Основной факт, о котором мы не должны забывать, заключается в том, что мы имеем дело не с одним убийством, а с четырьмя. И мы не знаем, кто из четверых убитых был главной мишенью. Первоочередной жертвой. Это могли быть Нэнси, или Кеньон, или любой из их родителей. Некоторые говорят – ну, в общем, считается, что это был мистер Клаттер. Потому что у него перерезано горло; с ним обошлись наиболее жестоко. Но это всего лишь гипотеза, а не факт. Если бы можно было установить, в каком порядке умерли члены семьи, было бы легче, но коронер не в состоянии это определить; он знает лишь, что убийства произошли в промежутке между одиннадцатью вечера субботы и двумя утра воскресенья.

Потом, отвечая на вопросы, он сказал: нет, никто из женщин не подвергся «сексуальным домогательствам»; нет, насколько известно, в доме ничего не украдено, и да, он тоже думает, что это «подозрительное совпадение» – то, что мистер Клаттер застраховал свою жизнь на сорок тысяч долларов с компенсацией в удвоенном размере примерно за восемь часов до смерти. Однако Дьюи был «готов дать голову на отсечение», что нет никакой связи между этим полисом и преступлением; откуда ей взяться, когда единственные, кто выигрывал в этом случае – две старшие, оставшиеся в живых дочери мистера Клаттера, миссис Дональд Джарчоу и мисс Беверли Клаттер? И, сказал он репортерам, да, у него есть свое мнение насчет того, одним человеком или двумя было совершено

преступление, но он предпочитает пока его не высказывать.

На самом же деле в тот момент определенного ответа на этот вопрос у Дьюи еще не было. Пока что он обдумывал пару идей – или, говоря его словами, «концепций» – и, восстанавливая картину преступления, разрабатывал как «концепцию одного убийцы», так и «концепцию двух убийц». В прошлом убийца, по-видимому, был другом семьи или, во всяком случае, человеком, который знал больше, чем можно узнать случайно о доме и его обитателях: ему было известно, что двери запирают редко, что мистер Клаттер спит один в хозяйской спальне на первом этаже, что миссис Клаттер и дети занимают отдельные спальни на втором этаже. Этот человек, как представлялось Дьюи, подошел к дому пешком, вероятно около полуночи. Свет в окнах уже не горел, Клаттеры спали, а что касается Тэдди, сторожевого пса – ну, Тэдди всегда тушевался при виде оружия. Он, должно быть, поджал хвост, заскулил и уполз в кусты. Проникнув в дом, убийца первым делом перерезал телефонные провода в кабинете мистера Клаттера и на кухне; затем он отправился в спальню мистера Клаттера и разбудил его. Под дулом ружья мистер Клаттер был вынужден повиноваться приказам налетчика и поднялся с ним на второй этаж, где они разбудили остальных членов семьи. Потом убийца дал ему шнур и пластырь и приказал связать жену и залепить ей рот, связать дочь (которой, непонятно почему, рот не залепили) и привязать их к кроватям. После этого отца с сыном согнали в подвал; там преступник заставил мистера Клаттера заклеить рот Кеньону и привязать его к кушетке в игровой комнате. Потом он привел мистера Клаттера в котельную, оглушил ударом по голове, залепил ему рот и связал. После этого, получив полную свободу действий, убийца одного за другим прикончил всех членов семьи, каждый раз исправно подбирая стреляную гильзу. Исполнив задуманное, он погасил свет во всех комнатах и скрылся.

Возможно, так все и было; существовала такая вероятность. Но Дьюи сомневался:

– Если бы Герб решил, что его семье угрожает опасность, смертельная опасность, он бы дрался как лев. А Герб – это вам не дохляк какой-нибудь: здоровый мужик и в отличной форме. Да и Кеньон тоже – сильный, как отец, даже сильнее, широкоплечий мальчик. Трудно себе представить, чтобы один налетчик, пусть даже вооруженный, мог одолеть их обоих.

Кроме того, были основания предполагать, что все четверо были связаны одним человеком: во всех четырех случаях применялся один и тот же узел, «полуштык».

Дьюи, как и большинство его коллег, склонялся ко второй гипотезе,

которая во многих чертах совпадала с первой, но имела одно важное отличие: убийца был не один, но с сообщником, который помог ему справиться с жертвами, а потом связал их и заклеил им рты. Однако этот вариант тоже не был безукоризненным. Дьюи, например, не мог понять, «как получилось, что два индивидуума достигли одинаковой степени ярости, той психопатической ярости, которая способна привести к столь зверскому преступлению». И пояснял:

– Допустим, убийца был знаком с семьей Клаттеров; допустим, что он действительно самый обычный человек, во всем обычный, за исключением того, что у него бзик – безумная неприязнь к Клаттерам или к одному из Клаттеров. Где же он нашел напарника, еще одного настолько сумасшедшего человека, что тот взялся ему помочь? Неувязка. Нонсенс. Как, впрочем, и все, что связано с этим делом.

После пресс-конференции Дьюи удалился в свой кабинет – комнату, которую ему временно выделил шериф. Там стояли стол и два стула с прямой спинкой. Стол был завален вещественными доказательствами, которые Дьюи однажды надеялся продемонстрировать в зале суда: полоски пластыря и куски шнура, снятые с жертв и упакованные в полиэтиленовые пакеты (в качестве улики они мало чего стоили, поскольку и то и другое можно было купить в любой точке Соединенных Штатов), – и фотографиями, сделанными на месте преступления полицейским фотографом: двадцать увеличенных глянцевых снимков раздробленного черепа мистера Клаттера, обезображенного до неузнаваемости лица его сына, связанных рук Нэнси, остановившихся тоскливых глаз ее матери и тому подобного. В ближайшие дни Дьюи предстояло провести много часов за изучением этих фотографий в надежде, что он внезапно что-нибудь увидит, что какая-нибудь ключевая деталь вдруг обнаружит себя:

– Это как картинки-головоломки. Те, под которыми пишут: «Сколько зверей здесь нарисовано?» Можно сказать, что я как раз этим и занимаюсь – ищу спрятанных зверей. Я чувствую, что они должны там быть, другой вопрос, удастся ли мне их увидеть.

Кстати сказать, одна из фотографий – снимок крупным планом мистера Клаттера и коробки, на которой он лежал, уже дала кое-что ценное: следы, пыльные отпечатки подошвы с ромбическим рисунком, невидимые невооруженным глазом, запечатлелись на пленке; фотовспышка, увеличив контрастность, выявила их с превосходной четкостью. Эти отпечатки, вместе с найденным на той же картонной коробке бесстыдным кровавым отпечатком подошвы с рисунком в виде кошачьей лапки, были единственными «серьезными уликами», о которых могли бы сообщить

следователи. Но не сообщали; Дьюи и его команда решили пока держать находку в секрете.

Среди прочих предметов на столе Дьюи лежал дневник Нэнси Клаттер. Дьюи уже бегло просматривал его и теперь взялся за подробное изучение. Дневник начинался в тринадцатый день рождения Нэнси и заканчивался приблизительно за два месяца до ее семнадцатилетия; не содержащее ничего чувственного или сногшибательного откровения умной девочки, которая обожала животных, любила читать, готовить, шить, танцевать, ездить верхом, – всеми любимой хорошенькой девственницы, которая считала, что «флиртовать весело», но при этом «по-настоящему и верно любила Бобби». Первым делом Дьюи прочел последнюю запись. Она состояла из трех строк, выведенных Нэнси за час или два до смерти: «Приезжала Джолен К., я показала ей, как печь пирог с вишнями. Занималась с Рокси. Приходил Бобби, смотрели телек. В одиннадцать он ушел».

Юный Рапп, как предполагалось последний человек, который видел Клаттеров живыми, уже подвергся обстоятельнейшему допросу, и хотя он бесхитростно рассказал о том, что провел «самый обычный вечер» с Клаттерами, его вызывали повторно, для проверки показаний на детекторе лжи. Сразу было видно, что полиция пока не готова исключить его из числа подозреваемых. Сам Дьюи не считал, что мальчик «как-то к этому причастен», однако не подлежало сомнению, что на этой начальной стадии расследования Бобби был единственным человеком, которому можно приписать мотив, пусть даже слабый. Не раз и не два в своем дневнике Нэнси упоминала о ситуации, которая, предположительно, могла послужить мотивом: требование отца «порвать» с Бобби, перестать с ним «так часто встречаться», основанное на том, что Клаттеры – методисты, а Раппы – католики, а это, с его точки зрения, совершенно исключало всякую надежду влюбленных на брак. Но те фразы из дневника, которые особенно мучили Дьюи, не были связаны с этим. Нет, ему не давали покоя другие – те, в которых говорилось о коте, о таинственной кончине любимца Нэнси Бубса, которого, согласно записи, сделанной за две недели до ее собственной смерти, она нашла в амбаре павшим жертвой, как она подозревала (но не объясняла почему), отравителя: «Бедный Бубс. Я похоронила его в особом месте». Читая об этом, Дьюи чувствовал, что гибель кота может оказаться очень важной. Если кота отравили, не могло ли это быть маленькой, но злонамеренной прелюдией к убийству людей? Он твердо решил найти то «особое место», даже если ему придется прочесать всю обширную территорию «Речной Долины».

Пока Дьюи занимался дневником, его основные помощники, агенты Черч, Дунц и Най, колесили по округе, беседуя, как выразился Дунц, «с кем угодно, лишь бы узнать хоть что-то»: с учителями холкомбской школы, где и Кеньоном и Нэнси гордились как круглыми отличниками; с работниками из «Речной Долины» (которых весной и летом порой набиралось до восемнадцати человек, но в этот золотисто-коричневый сезон кроме Джеральда Ван Влита их оставалось лишь трое, не считая миссис Хелм); с друзьями убитых; с соседями; и, очень подробно, с родственниками. Родственников, приехавших издалека и из ближних мест на похороны, которые должны были состояться в среду утром, набралось около двадцати человек.

Гарольду Наю, самому молодому из команды Дьюи, энергичному маленькому человечку тридцати четырех лет с беспокойными, подозрительными глазами, острым носиком и подбородком, а также не менее острым умом, была поручена, как он сам говорил, «чертовски тонкая работа» – опросить родственников Клаттеров: «Это мучительно и для меня и для них. Когда расследуется убийство, приходится забыть об уважении к скорби. Или к семейным тайнам. Или к личным чувствам. Приходится задавать вопросы, и некоторые из них больно ранят». Но ни один из опрошенных ни на один его вопрос («Я исследовал эмоциональный фон. Я думал, что услышу о какой-нибудь женщине, – любовный треугольник. Судите сами: мистер Клаттер был довольно молодой, вполне здоровый мужчина, а его жена была полуинвалид, спала в отдельной спальне...») не сообщил ничего полезного; даже две старших дочери не смогли выдвинуть никаких предположений о мотиве преступления. Короче говоря, Най узнал только одно: «Из всех людей во всем мире Клаттеры давали меньше всего повода для убийства».

В конце дня, когда трое агентов собрались в кабинете Дьюи, выяснилось, что Дунцу и Черчу повезло больше Ная – Братишки Ная, как его называли коллеги. (У членов Канзасского бюро расследований было пристрастие к прозвищам; Дунца прозвали Стариком – незаслуженно, поскольку этому крупному, но легконогому, похожему на кота широколицему мужчине еще не было пятидесяти, а Черч, которому было шестьдесят или около того, румяный и всегда подтянутый человек, по словам коллег, «жесткий» и умеющий «раскалывать быстрее всех в Канзасе», прозывался Кудрявым – за редкие волосы и залысины.) Оба они в ходе расспросов уцепились за «многообещающие ниточки».

История Дунца касалась отца и сына, которых здесь называли Джон-старший и Джон-младший. Несколько лет назад Джон-старший вел с

мистером Клаттером незначительную деловую операцию, результатом которой Джон-старший остался недоволен, почуяв, что Клаттер подкинул ему не тот шар. Теперь и Джон-старший и его сын пьянствовали; впрочем, Джон-младший часто попадал в тюрьму за пьянство. В один злосчастный день отец и сын, осмелев от виски, явились домой к Клаттерам с намерением «разобраться с Гербом». Но им не представилась такая возможность, поскольку мистер Клаттер, трезвенник, агрессивно настроенный против спиртного и алкоголиков, схватил ружье и отконвоировал их за пределы своей территории. Джоны такой неучтивости не простили; всего лишь месяц назад Джон-старший говорил своему знакомому: «Как подумаю об этом ублюдке, у меня аж пальцы сводит. Так бы и задушил его».

«Ниточка» Черча была того же характера. Он тоже слышал о человеке, который, по общему признанию, питал к мистеру Клаттеру вражду: некий мистер Смит (хотя это не настоящее имя) был убежден, что владелец «Речной Долины» пристрелил его охотничью собаку. Черч осмотрел дом Смита и увидел в сарае свисающую со стропила веревку, завязанную тем же узлом, каким были связаны Клаттеры.

Дьюи сказал:

– Возможно, мы на верном пути. Личные счеты – ненависть, вышедшая из-под контроля.

– Если только не ограбление, – заметил Най, хотя ограбление как мотив для убийства обсуждалось не раз и было в принципе отвергнуто. Против этой версии было много аргументов, и самым сильным являлся тот, что отвращение мистера Клаттера к наличным деньгам давно стало притчей во языцех; у него не было сейфа, и он никогда не держал при себе крупных сумм. К тому же, если это было ограбление, почему грабитель не взял драгоценности миссис Клаттер – золотое обручальное кольцо и колечко с бриллиантом? И все-таки Ная эти аргументы не убеждали: «Сама схема пахнет грабежом. Что вы скажете насчет пустого бумажника Клаттера? Кто-то копался в нем и бросил на кровати – вряд ли это был сам владелец. А кошелек Нэнси? Кошелек валялся на полу в кухне. Как он туда попал? Да, и в доме ни гроша. Ну, два доллара, ладно. Мы нашли два доллара в конверте на столе Нэнси. Но нам известно, что Клаттер только накануне обналичил чек на шестьдесят долларов. По крайней мере полсотни должно было остаться».

Некоторые говорят, мол, никто не станет убивать четверых человек ради пятидесяти долларов. И еще говорят, что убийца мог и забрать деньги, но только затем, чтобы ввести нас в заблуждение, заставить думать, что его

целью был грабеж. Не знаю, не знаю!»

Когда стемнело, Дьюи прервал совещание, чтобы позвонить жене, Мэри, и предупредить, что к ужину он не успеет. Она сказала:

– Да. Хорошо, Элвин. – Но он почувствовал в ее голосе нехарактерное волнение. У Дьюи было два маленьких сына, он был женат семнадцать лет, и Мэри, бывшая стенографистка ФБР, с которой он познакомился в Новом Орлеане, с пониманием относилась к издержкам его профессии: неурочной работе и внезапным звонкам, призывающим его в отдаленные уголки штата.

Он спросил:

– Случилось что-нибудь?

– Нет, что ты, – поспешно сказала она. – Только, когда придешь домой, тебе придется позвонить в дверь. Я поменяла все замки.

Он все понял.

– Не волнуйся, милая. Просто запри двери и включи свет над крыльцом.

Когда Дьюи повесил трубку, кто-то из коллег спросил его:

– В чем дело? Мэри боится?

– Черт возьми, – ответил Дьюи. – Не только она, все.

– Не все. Уж во всяком случае не вдовствующая почтмейстерша, бесстрашная миссис Миртл Клэр, которая презирала своих сограждан: «трусливые людишки, трясутся от страха как зайцы и боятся глаз сомкнуть», а сама про себя говорила так:

– Наша-то старушка спит, как всегда, отлично. Если я кому нужна, пусть делают со мной все что хотят. (Одиннадцать месяцев спустя группа вооруженных налетчиков в масках, поймав ее на слове, ворвалась в здание почты и облегчила кассу этой дамы на девятьсот пятьдесят долларов.)

Как обычно, мнение миссис Клэр разделяли очень немногие. По словам владельца одного магазина скобяных изделий в Гарден-Сити, «замки и задвижки стали самым ходовым товаром. Какая марка, народу без разницы, лишь бы *запирался*». Воображение, разумеется, способно открыть любую дверь – повернуть ключ и впустить в дом ужас. Во вторник на рассвете охотники из Колорадо, чужаки, понятия не имевшие о местной трагедии, покинув прерии, были поражены тем, что увидели, проходя через Холкомб: почти в каждом доме горел свет, и в ярко освещенных комнатах полностью одетые люди, целыми семьями, всю ночь сидели без сна, тревожно прислушиваясь. Чего они так боятся? «Это может случиться снова». Таким, с некоторыми вариантами, был общий ответ. Однако одна женщина, учительница из школы, заметила:

– Паника была бы наполовину меньше, случись это с кем угодно, кроме Клаттеров. С кем угодно, менее достойным восхищения. Не столь преуспевающим. Не так надежно защищенным. Но эта семья воплощала в себе все, что здешние жители больше всего ценят и уважают, и то, что такое несчастье произошло именно с Клаттерами, – ну, для нас это все равно что узнать, будто Бога нет. Кажется, что жизнь потеряла смысл. На мой взгляд, люди не столько напуганы, сколько глубоко подавлены.

Другая причина паники, самая простая и самая гадкая, была в том, что мирному до настоящего времени сообществу соседей и старых друзей внезапно пришлось пережить доселе не испытанный приступ недоверия друг к другу; понятное дело, они полагали, что убийца находится среди них, и все как один готовы были подписаться под словами Артура Клаттера, брата покойного, которые тот произнес в беседе с журналистами в вестибюле гостиницы в Гарден-Сити 17 ноября: «Когда все выяснится, держу пари, что убийцу обнаружат не дальше чем в десяти милях от того места, где мы сейчас находимся».

Примерно в четырехстах милях к востоку от того места, где в тот момент находился Артур Клаттер, двое молодых людей сидели в кабинке «Закусочной Орла», дешевом ресторанчике Канзас-Сити. Один – узколицый, с выколотым на правом плече синим котом – уже расправился с несколькими сэндвичами с курятиной и теперь поглядывал на еду своего приятеля: нетронутый гамбургер и стакан сладкого пива, в котором таяли три таблетки аспирина.

– Перри, малыш, – проговорил Дик. – Ты ведь не хочешь этот бургер. Я его возьму.

Перри пододвинул к нему тарелку.

– Господи Боже! Ты можешь хоть какое-то время мне не мешать?

– А ты бы не перечитывал одно и то же по пятьдесят раз.

Речь шла о передовице «Стар» за 17 ноября. Озаглавленная «Четверо убитых, горстка улик», статья была продолжением вчерашнего сообщения о происшествии и заканчивалась таким обобщающим абзацем:

«Следователям приходится заниматься поиском убийцы или убийц, чья хитрость очевидна, а мотивы – нет. Посудите сами – этот убийца или убийцы:

- предусмотрительно перерезали шнуры обоих телефонов в доме;
- связали свои жертвы и залепили им рты, но при этом никаких признаков борьбы нет;
- не оставили после себя беспорядка и никаких следов того, что они

что-нибудь искали, – за исключением разве что бумажника Клаттера;

– застрелили четверых человек в разных частях дома и хладнокровно подобрали гильзы;

– проникли в дом и покинули его, никем не замеченные;

– действовали немотивированно, если отместить, как это делают следователи, неудачную попытку ограбления».

– «Этот убийца или убийцы», – вслух прочел Перри. – Тут ошибка. Грамматическая. Должно быть «этот убийца или *эти* убийцы». – Отхлебнув приправленного аспирином пива, он продолжал: – Как бы там ни было, я в это не верю. Как и ты. Признай, Дик. Будь честным. Ты же не веришь в то, что не осталось никаких улик?

Вчера, внимательно прочитав газеты, Перри задал тот же самый вопрос, и Дику, считавшему, что он дал на него исчерпывающий ответ («Слушай. Если бы эти ковбои могли найти хоть какую-то зацепку, мы бы за сто миль услышали топот копыт»), не хотелось отвечать еще раз. И ему ужасно надоело спорить, когда Перри вновь принимался за свое: «Я всегда доверял предчувствиям. Только поэтому я еще жив. Помнишь Вилли-Сороку? Он говорил, что я настоящий „медиум“, а он знает толк в таких вещах. Он сказал, что у меня высокая степень экстрасенсорного восприятия. Что-то вроде встроенного радара – я вижу вещи до того, как смогу их увидеть глазами. Очертания надвигающихся событий. Взять, к примеру, моего брата и его жену. Джимми и его жену. Они были без ума друг от друга, но он был дьявольски ревнив и своей ревностью и подозрениями довел ее до того, что она застрелилась, а на следующий день сам Джимми пустил себе пулю в лоб. Когда это случилось, в 1949 году, я был с отцом на Аляске недалеко от Серкл-Сити и сказал папе: „Джимми умер“. А через неделю нам сообщили. Клянусь Богом. В другой раз, в Японии, я помогал грузить судно и на минутку присел отдохнуть. Вдруг внутренний голос мне говорит: „Прыгай!“ Я отпрыгнул футов, наверное, на десять, и в то же мгновение прямо на то место, где я сидел, рухнул груз весом в тонну. Я могу привести хоть сотню таких примеров. Мне плевать, веришь ты мне или нет. Скажем, прямо перед тем, как произошла авария, я увидел все, что должно было случиться. Увидел в голове: дождь, мотоцикл заносит, я лежу в крови с переломанными ногами. И сейчас такая же штука. Я чувствую предупреждение. Что-то мне подсказывает, что здесь ловушка. – Он похлопал по газете ладонью. – Слишком много недомолвок».

Дик заказал себе еще гамбургер. Последние несколько дней его мучил голод, который ничем нельзя было унять: ни тремя бифштексами подряд,

ни дюжиной шоколадных батончиков, ни фунтом леденцов. Перри, напротив, лишился аппетита; он держался только на своем любимом пиве, аспиристине и сигаретах.

– Понятно, что ты дергаешься, – сказал ему Дик. – Брось, малыш. Не гони волну. Нам подфартило. Вышло идеальное убийство.

– Странное утверждение, если учесть все обстоятельства, – сказал Перри. Спокойствие, с которым он говорил, подчеркивало каверзность его слов. Но Дик проглотил их, даже улыбнулся – и улыбнулся мастерски. Вот, как бы говорила эта детская улыбка, очень приятный молодой человек, милый, приветливый, такому можно доверить побрить себя опасной бритвой.

– О'кей, – сказал Дик. – Может, у меня неверные сведения.

– Слава тебе Господи...

– Но в целом прошло идеально. Мы выбили мяч за границы поля. Он потерялся. И его не найдут. Нет никакой связи.

– А мне кажется, есть. – Перри знал, что зашел слишком далеко. Но не остановился: – Флойд, так, кажется, его зовут? – Удар, пожалуй, ниже пояса, но Дик это заслужил, пора уже его одернуть, спустить поближе к земле, как бумажного змея. Как бы там ни было, Перри с опаской наблюдал за признаками ярости, исказившими улыбку Дика: подбородок, губы и все лицо застыло; в уголках рта показались пузырьки слюны. Что ж, если дойдет до схватки, Перри сумеет за себя постоять. Он был ниже Дика на несколько дюймов, и его коротенькие, перебитые ноги могли подвести, но он был тяжелее, плотнее, и у него была медвежья хватка. Однако доказывать это ему вовсе не хотелось. Как бы он ни относился к Дику (а Перри не испытывал к нему неприязни, хотя раньше любил Дика больше и больше уважал), было очевидно, что теперь они не могут без риска разойтись каждый своей дорогой. На этот счет они были единого мнения, потому что, как сказал Дик: «Если мы попадемся, уж лучше попасться вместе. Тогда мы сможем хоть поддержать друг друга. Когда нас начнут обрабатывать, будем говорить одно и то же». Кроме того, если он поссорится с Диком, придется проститься с дорогими для Перри планами, которые, несмотря на перемены последних дней, им обоим казались осуществимыми: жить вдвоем на островах или на побережье к югу от границы и нырять за сокровищами морских глубин.

– Мистер Уэллс! – сказал Дик и поднял вилку. – Дело того стоило. Даже если меня заметут с чеками. Стоило бы, пожалуй, снова сесть. – Вилка спикировала и вонзилась в крышку стола. – Прямо в сердце, дружок.

– Я не говорю, что он сдаст, – теперь, когда гнев Дика миновал его и

обрушился на другой предмет, Перри был готов пойти на уступки. – Наверняка побойтся.

– Конечно, – сказал Дик. – Еще бы ему не бояться. – Право же, поразительно, как непринужденно Дик переходил от одного настроения к другому; в один миг всякие следы злобы исчезли с его лица. – А теперь насчет твоих предчувствий. Скажи мне: если ты был так уж уверен, что разобьешься, почему ж ты не остановился? Слез бы с мотоцикла и был бы цел и здоров. Правильно?

Над этой загадкой Перри уже размышлял. Ему казалось, что он разгадал ее, хотя и не до конца:

– Нет. Потому что, если уж что-то должно случиться, тебе остается только надеяться, что этого не произойдет. Или произойдет – смотря что тебе выгоднее. Всю жизнь чего-то ждешь, и даже если знаешь, что будет плохо, что тут можно поделаться? Не можешь же ты перестать жить. Как в моем сне. Мне с самого детства часто снился один и тот же сон. Как будто я в Африке. В джунглях. Я пробираюсь между деревьями к какому-то одному дереву. Черт, оно так омерзительно пахнет, это дерево; меня тошнит от его вони. Только на вид оно ужасно красивое: у него голубые листья и с веток свисают алмазы. Прямо как апельсины. И ради этого я к нему иду – чтобы набрать мешок алмазов. Но я знаю, что в ту минуту, когда я подойду, в ту минуту, когда я протяну руку, на меня бросится змея. Змея, которая сторожит дерево. Жирная сволочь, которая живет на его ветвях. Я знаю это заранее, понимаешь? Бог мой, я понятия не имею, как с ней справиться. Но я прикидываю, ну, в общем, я готов попытаться счастья. Вся соль в том, что алмазов я хочу сильнее, чем боюсь змеи. Поэтому я хватаю один алмаз и стараюсь сорвать, и в это время на меня падает змея. Мы начинаем бороться, но эта гадина такая скользкая, что я не могу ее удержать, она сдавливает меня, и я слышу, как хрустят мои кости. А потом... Как вспомню, сразу пот прошибает. Понимаешь, она начинает меня заглатывать. Сначала ноги. Словно зыбучие пески. – Перри умолк. Он заметил, что Дик чистит вилкой ногти, явно не питая интереса к его снам.

– И что? – спросил Дик. – Змея тебя проглотила? Или как?

– Ладно, не бери в голову. Это не важно.

Но это было важно! Развязка имела большое значение, она была источником его маленького торжества. Однажды он рассказал свой сон Вилли-Сороке; он описал ему могучую птицу, желтую, «вроде попугая». Конечно, Вилли-Сорока – не Дик, он тонкий, «святой». Он понял. Дик мог и посмеяться. А Перри не мог позволить, чтобы кто-то смеялся над попугаем, который впервые прилетел в его сны, когда он был еще

семилетним мальчиком, ненавистным и ненавидящим полукровкой в калифорнийском приюте у монахинь – закутанных по самые глаза надсмотрщиц, которые лупили его за то, что он мочился в постель. Как раз после одного такого избиения, которого он никак не мог забыть («Она меня разбудила. У нее был фонарь, и она ударила меня фонарем. Потом еще раз, и еще. А когда фонарь сломался, она продолжала бить меня в темноте»), появился этот попугай, прилетел во сне, «большой, как Иисус, и желтый, как подсолнух», воинствующий ангел, который ослепил монахинь своим клювом, выклевал им глаза и убил, не слушая их мольбы о пощаде, а потом нежно поднял Перри, укрыл его своим крылом и унес далеко-далеко, в рай.

С годами мучения, от которых его спасала птица, менялись; другие люди – старшие дети, отец, неверная девушка, сержант в армии – сменили монахинь, но попугай остался, парящий мститель. И змея, этот страж плодоносящего алмазами дерева, никогда не успевала пожрать Перри, она сама всегда бывала пожрана. А потом благословенный полет! Вознесение в рай, который в одном варианте был просто «ощущением», ощущением могущества, непобедимого превосходства, а в других вариантах сна это ощущение было связано с конкретными событиями. «Как в кино. Возможно, когда-то я его именно там и увидел – запомнил по фильму. Потому что где еще я мог видеть такой сад? С белыми мраморными ступенями, с фонтанами? А далеко внизу, если дойти до края сада, виднеется океан. Обалденный! Как возле Кармела в Калифорнии. Но самое прекрасное – это такой длинный-предлинный стол. На нем столько жратвы, что представить невозможно. Устрицы. Индейки. Хот-доги. Фрукты, из которых можно приготовить миллион фруктовых салатов. И все это бесплатно, слышишь? То есть я могу есть сколько захочу, и это не будет стоить ни цента. Так я и понимаю, куда я попал».

Дик сказал:

– Я нормальный. Мне снятся только белокурые цыпочки. Кстати о птичках, ты слышал анекдот о козе, которой приснился кошмар? – В этом весь Дик: всегда у него наготове грязная шуточка на любую тему. Но анекдоты он рассказывать умел, и Перри, хоть и был в известной степени ханжа, как обычно, не смог удержаться от смеха.

Рассказывая о своей дружбе с Нэнси Клаттер, Сьюзен Кидвелл говорила:

– Мы были как сестры. По крайней мере, я к ней относилась как к сестре. Первые дни после убийства я не могла ходить в школу. Я не появлялась там до тех пор, пока не прошли похороны. И Бобби Рапп тоже.

Какое-то время мы с Бобби не расставались. Он хороший мальчик, у него доброе сердце, но раньше с ним никогда не случилось ничего такого, что может сравниться с потерей любимого человека. И вдобавок ему еще пришлось пройти испытание на детекторе лжи. Я не хочу сказать, что он обозлился, он понимал, что полиция делает то, что должна делать. Но у меня в жизни случались несчастья и раньше, а у него – нет, и поэтому для него ударом явилось открытие, что жизнь, оказывается, не просто один длинный баскетбольный матч. Главным образом мы колесили по округе на его старом «форде». Взад-вперед по шоссе. К аэропорту и обратно. Или отправлялись в «Кри-Ми» – это кафе для автомобилистов – сидели в машине, пили «коку», слушали радио. Радио играло все время; нам нечего было сказать друг другу. Только время от времени Бобби говорил, как он любил Нэнси и что теперь никогда и не взглянет на другую девушку. Я-то была уверена, что Нэнси бы это не понравилось, и так ему и сказала. Я помню – наверное, это было в понедельник, – как мы поехали к реке и остановились на мосту. Оттуда был виден дом, дом Клаттеров. И часть земли – фруктовый сад мистера Клаттера и уходящие вдаль поля пшеницы. Где-то в поле горел костер; жгли вещи из их дома. Все вокруг напоминало об убитых. Мужчины с сетями и баграми ходили вдоль берега, но они удили не рыбу. Бобби сказал, что они ищут оружие. Нож. Ружье.

Нэнси любила реку. Летними вечерами мы часто приезжали сюда вдвоем на Крошке. Это лошадь Нэнси. Такая старая, растолстевшая. Подъезжали к реке и въезжали прямо в воду. Потом Крошка бродила по мелководью, а мы играли на флейте и пели. Прохлаждались. Боже мой, я так и не знаю, что с ней будет. С Крошкой. Леди из Гарден-Сити забрала собаку Кеньона, Тэдди. Он убежал, нашел дорогу и вернулся в Холкомб. Но она приехала и снова его увезла. А у меня теперь живет кот Нэнси, Эвинруд. Но Крошка... Наверное, ее продадут. Нэнси была бы возмущена. Она, наверное, пришла бы в ярость. А накануне похорон мы с Бобби сидели возле железной дороги. Смотрели на проходящие поезда. Глупо, правда? Как овцы в снежную бурю. Внезапно Бобби очнулся и сказал: «Мы должны пойти проститься с Нэнси. Мы должны быть с нею». И мы поехали в Гарден-Сити, в похоронный зал «Филипс», что на Главной улице. Кажется, с нами был младший братишка Бобби. Да, точно, был. Потому что я помню, что мы забирали его из школы. И помню, как он сказал, что на завтра уроки отменили, чтобы все холкомбские дети могли пойти на похороны. Он еще рассказывал нам, что думают младшие. Говорил, что все уверены, будто это работа наемного убийцы. Я не хотела этого слышать. Сплошные сплетни и болтовня – все, что Нэнси так презирала. Вообще мне

не важно, кто это сделал. Главное в другом: моей подруги больше нет. И если станет известно, кто ее убил, это ее не воскресит. А что еще имеет значение? Нас не подпустили. В смысле, в зале для панихиды. Сказали, что никому нельзя «глядеть на усопших». Кроме родственников. Но Бобби настаивал, и наконец распорядитель – он знал Бобби, и, наверное, ему было его жалко – сказал: ладно, можете пройти, только никому не рассказывайте. Теперь я жалею, что мы туда зашли.

Четыре гроба, которые едва поместились в маленькой комнате, заваленной цветами, должны были быть заколочены еще в похоронном бюро – и это вполне понятно, ибо как ни пытались придать убитым приличный вид, зрелище было ужасное. Нэнси была в своем красном бархатном платье, ее брат – в яркой шерстяной рубашке; родители были одеты более чинно: мистер Клаттер – в темно-синем фланелевом костюме, его жена – в темно-синем креповом платье; а головы трупов – от чего, собственно, зрелище и было таким ужасным – были полностью обернуты ватой: пухлые коконы размером вдвое больше обычного воздушного шарика; и вата, из-за того, что ее обрызгали каким-то составом, мерцала, словно искусственный снег на рождественской елке.

Сьюзен сразу же вышла.

– Я вышла на улицу и ждала в машине, – вспоминала она. – На другой стороне улицы какой-то мужчина сгребал опавшие листья. Я все смотрела на него не отрываясь. Я боялась закрыть глаза. Боялась, что тогда я потеряю сознание. Поэтому я смотрела как он сгребает листья и сжигает их. Смотрела, но на самом деле не видела ни мужчины, ни листьев. Я видела только это платье. Оно мне было слишком хорошо знакомо. Я помогала ей выбирать ткань. Она сама придумала фасон и шила тоже сама. Я помню, какая она была веселая в тот день, когда в первый раз его надела. Был какой-то праздник. И теперь я видела только этот красный бархат. И Нэнси в нем. И как она танцует.

«Стар» – главная газета Канзас-Сити – напечатала подробный отчет о похоронах Клаттеров, но Перри, лежа на кровати в гостиничном номере, прочел его только через два дня. Он лишь пробежал глазами текст, пропуская целые абзацы: «Тысяча человек, самая большая толпа за пять лет существования Первой методистской церкви, пришли сегодня на панихиду по четверым убитым... Несколько одноклассников Нэнси по средней школе заплакали, когда преподобный Леонард Коуэн сказал: „Бог дает нам мужество, любовь и надежду, даже когда мы идем сквозь тьму в долину смерти. Я уверен, что в последние часы их жизни Он не оставил их. Иисус

никогда не обещал нам, что нам не придется испытать боль или горе, но Он всегда говорил, что Он будет с нами, чтобы помочь нам переносить горе и боль..." В этот теплый не по сезону день примерно шестьсот человек пришли на кладбище Вэлли-Вью на северной окраине города. Там, у разверстой могилы, они прочли „Отче наш". Их голоса, слившиеся воедино в проникновенном шепоте, были слышны в любом уголке кладбища».

Тысяча человек! Ничего себе! Перри мучил вопрос, во сколько же обошлись эти похороны. Деньги занимали все его мысли, хотя и не так неотвязно, как накануне, – вчерашний день он встретил с такой суммой, на которую «не купишь даже мяу у кота». Но теперь, благодаря Дикю, они оба получили «нехилый кусок» – достаточно, чтобы добраться до Мексики.

Дик! Ловкий. Умный. Да, надо отдать ему должное. Как он умеет «надуть честного малого», это что-то бесподобное! Как того продавца из магазина готового платья в Канзас-Сити, которого Дик решил «пощипать» первым. Сам Перри ни разу не пробовал «втюхать чек». Он волновался, но Дик сказал ему: «Все, что от тебя требуется, это стоять рядом. Не смейся и не удивляйся, что бы я ни говорил. В общем, сообразишь по ходу дела». Дик оказался неплохим лицедеем. Он небрежно подошел к прилавку, небрежно представил Перри продавцу: «Мой приятель, собирается жениться», – потом прибавил: «Я – его лучший друг. Помогаю ему найти одежду по вкусу. Ха-ха, можно сказать – приданое». Продавец проглотил это, и вскоре Перри, оставшись в одних кальсонах, примерял мрачный костюм, который продавец считал «идеальным для неофициальной церемонии». Потом, посетовав на непропорциональность фигуры клиента – чересчур мощное туловище на коротеньких ножках, – он добавил: «Боюсь, у нас нет ничего подходящего, все придется подгонять». О, сказал Дик, это пустяки, у них еще уйма времени, свадьба только через восемь дней. Уладив таким образом этот вопрос, они отобрали кучу безвкусных пиджаков и слаксов, подходящих, по их мнению, для того, что Дик называл «медовым месяцем во Флориде». «„Идеи Рок" знаете? – спросил Дик продавца. – В Майами-Бич? У них там забронирован номер. Подарок от родных невесты – две недели за сорок долларов в день. Ну что ты скажешь, а? Такой вроде уродливый карлик, а девочку окрутил что надо. А красивые ребята, вроде нас с вами...» Продавец представил счет. Дик потянулся к брючному карману, нахмурился, щелкнул пальцами и сказал: «Вот черт! Забыл бумажник». Его товарищу показалось, что на такую хилую уловку «не клюнет и новорожденный ниггер». Но продавец, очевидно, не разделял этого мнения, потому что достал незаполненный чек, и когда Дик вписал в него сумму на восемьдесят долларов больше, чем полагалось по счету, тут

же выдал сдачу наличными.

Выйдя на улицу, Дик сказал:

– Так ты на будущей неделе женишься? Значит, тебе нужно кольцо.

Через мгновение они уже подъехали на престарелом «шевроле» Дика к магазину «Лучшие украшения». Оттуда, купив по чеку два кольца с бриллиантами, одно для помолвки, другое обручальное, они направились в ломбард, сдавать свои приобретения. Перри вдруг стало жалко расставаться с ними. Он уже начал привыкать к мысли о воображаемой невесте, хотя в его представлении, в противоположность тому, что говорил Дик, она не была ни богата, ни красива; скорее, была воспитанная тихоня, типичная «студентка», во всяком случае «интеллектуалка» – девушка того типа, который всегда ему теоретически нравился, но на практике не попадался. Если не считать Куки, медсестры из больницы, где он лежал после аварии. Фигуристая была девчонка эта Куки, и ведь любила его, жалела, нянчилась с ним, вдохновляла на «серьезное чтение» – «Унесенные ветром», «Это мой возлюбленный». Имели место сексуальные эпизоды странного и тайного характера, упоминалось и о любви, и о браке тоже, но в конце концов, когда его кости срослись, он сказал ей до свидания и вместо объяснения дал стихотворение, которое, по его словам, сочинил сам:

*Есть раса людей, что все время в пути,
Им дома покоя нету;
Разбивают сердца, говорят «прости»
И уходят топтать планету.
Им бы полем брести, в лодке грести,
Лезть на отвесные скалы;
Их цыганская кровь им за отдых мстит
И гонит с любого привала.
Если прямо идти – далеко уйдешь,
Эти люди смелы и сильны.
Но огонь очага для них нехорош —
Им иные огни нужны.*

Больше он Куки не видел и ничего о ней не знал и все же через несколько лет вытатуировал на руке ее имя, и когда однажды Дик спросил его, кто это – Куки, Перри сказал: «Никто. Девушка, на которой я чуть было не женился». (Тому, что Дик был женат, причем дважды, и породил троих сыновей, Перри очень завидовал. Жена, дети – это был тот опыт, который,

по его мнению, мужчина должен приобрести, даже если он, как в случае с Диком, не делает его счастливым и не приносит ничего хорошего.)

Кольца были заложены за сто пятьдесят долларов. Они посетили другой ювелирный магазин, Голдмана, и вышли оттуда с мужскими золотыми часами. Затем притормозили у магазина фото- и киноаппаратуры «Элко», где «купили» сложную кинокамеру.

– Камеры – самое лучшее вложение денег, – просвещал Перри Дик. – Их легче всего толкнуть или заложить. Камеры и телевизоры. – По этим соображениям они решили взять еще и несколько телевизоров, а покончив с техникой, снова принялись «щипать» магазины одежды – Шеперда и Фостера, Ротшильда, «Рай для покупателя». На закате, когда магазины начали закрываться, карманы у друзей были набиты наличными, а автомобиль загружен товаром, который легко сбыть. Разглядывая урожай рубашек и зажигалок, дорогих приборов и дешевых запонок, Перри почувствовал небывалый подъем: теперь впереди Мексика, новые возможности, «настоящая» жизнь. Но Дик казался подавленным. В ответ на похвалы Перри («Клянусь, Дик, ты был неподражаем! Я сам чуть было не поверил твоим сказкам») он только пожал плечами. Перри был озадачен; он не мог понять, почему Дик, обычно такой самодовольный, теперь, когда у него есть законный повод гордиться собой, вдруг притих, поник и загрустил. Перри сказал:

– Сегодня ты у меня напьешься.

Они остановились в баре. Дик выпил три «Цветка апельсина». После третьего он вдруг спросил:

– А как же папа? Я же знаю – боже мой, он такой славный старикан. И мать тоже – ну, ты ж ее видел. Как же они? Я-то улизну в Мексику. Или еще куда-нибудь. Но они будут здесь, когда банк начнет возвращать чеки. Я знаю папу. Он захочет их обеспечить. Такое уже бывало. И не сможет – он старый, больной, а за душой у него ничего нет.

– Да, это грустно, – искренне посочувствовал Перри. Добротой он не отличался, но был сентиментален, и привязанность Дика к родителям, его тревога за них его растрогали. – Но черт возьми, Дик. Это же так просто, – сказал Перри. – Мы сами сможем оплатить чеки. Как только окажемся в Мексике, как только устроимся, сразу начнем делать деньги. Большие деньги.

– Как?

– «Как»? – Что значит «как»? Этот вопрос просто ошеломил Перри. В конце концов, они ведь обсудили столько возможностей. Поиски золота, подводное плавание за затонувшим кладом – это лишь два из множества

проектов, которые предложил Перри. А были ведь и другие. Лодка, например. Они часто говорили о том, что можно купить рыбацью лодку и сдавать напрокат отдыхающим, – хотя никто из них никогда в жизни не правил лодкой и не ловил гуппи. Опять же, можно было быстро заработать, перегоняя через границу с южноамериканскими странами угнанные автомобили. («За одну езду платят пять сотен баксов», – вычитал Перри в каком-то журнале.) Но из разнообразных ответов, которые он мог дать на последнюю реплику Дика, Перри выбрал тот, что должен был напомнить Дик о богатстве, ожидающем их на Кокосовом острове, клочке земли у побережья Коста-Рики. – Без дураков, Дик, – сказал Перри. – Все по правде. У меня есть карта. У меня есть целая история. Клад был зарыт в 1821 году. Перуанский слиток, драгоценности. Шестьдесят миллионов долларов – так там было написано. Пусть даже мы не найдем все сокровища, пусть только часть – ты со мной, Дик? – Прежде Дик всегда поддерживал его, внимательно слушал рассказы о картах и сокровищах, но сейчас – раньше Перри такое в голову не приходило – он впервые задумался, не притворялся ли Дик все это время, не смеется ли он над ним в душе.

Но эта неприятная мысль сразу исчезла, едва Дик, подмигнув и игриво ударив его в грудь, сказал:

– Конечно, дружище. Я с тобой. Всецело.

Было три часа ночи, вновь звонил телефон. Правда, время не имело значения. Эл Дьюи все равно не спал, равно как и его жена Мэри и сыновья Дьюи, девятилетний Пол и двенадцатилетний Элвин Адаме Дьюи-младший. Разве можно заснуть в доме – скромном одноэтажном коттедже – где всю ночь с перерывами в несколько минут трезвонит телефон? Вылезая из кровати, Дьюи пообещал жене: «На этот раз я нарочно плохо положу трубку». Но он не посмел сдержать обещание. Звонили алчущие новостей репортеры, потенциальные юмористы или теоретики («Эл? Слушай, брат, а я ведь разобрался в этом деле. Это самоубийство и убийство. Я случайно узнал, что у Герба были финансовые затруднения. Он сильно поиздержался. Поэтому что он делает? Он берет эту крупную страховку, стреляет в Бонни и детей, а потом убивает себя бомбой. Ручной гранатой, начиненной картечью»), или анонимщики со склонностью к кляузничеству («Вы знаете Л.? Эмигрантов? Тех, что нигде не работают, а сами закатывают шикарные приемы, коктейли подают. Откуда такие деньги? Я не удивлюсь, если они приложили руку к этому делу Клаттеров»), или задыхающиеся от волнения дамы, встревоженные слухами и сплетнями, от

которых просто не было спасения («Элвин, я вас знаю с тех пор, как вы были ребенком. И хочу, чтобы вы мне прямо сказали, что правда, а что нет. Я любила и уважала мистера Клаттера и просто *отказываюсь* верить, что этот человек, этот христианин... Отказываюсь верить, что он бегал за женщинами...»). Но в основном звонили ответственные местные жители, желавшие помочь следствию («Я хотел спросить, вы уже расспрашивали подружку Нэнси, Сью Кидвелл? Я разговаривал с ней, и девочка сказала одну вещь, которая меня поразила. Она сказала, что когда они с Нэнси в последний раз говорили по телефону, Нэнси сказала, что мистер Клаттер сильно не в духе. И в таком состоянии он был последние три недели. Нэнси думала, что он чем-то сильно озабочен, настолько, что даже начал курить...»). Или же звонили те, с кем Дьюи был связан по службе – представители закона, шерифы других округов («Может, в этом что-то есть, а может, и нет, но тут один бармен говорит, что подслушал, как двое приятелей обсуждали это дело в таких словах, будто имеют к нему непосредственное отношение...»). И несмотря на то, что ни один из этих звонков пока еще не принес ничего, кроме дополнительной работы для следователей, всегда оставался шанс, что следующий окажется, как выразился Дьюи, «тем счастливым звонком, который сорвет завесу неизвестности».

На этот раз, сняв трубку, Дьюи немедленно услышал:

– Я хочу признаться.

Элвин сказал:

– Простите, с кем я разговариваю?

Звонивший повторил свою первую фразу и добавил:

– Это сделал я. Это я их всех убил.

– Ясно, – сказал Дьюи. – А теперь, может быть, вы сообщите свое имя и адрес...

– Э, нет, так не пойдет, – сказал человек негодующим, сирым от пьянства голосом. – Я не собираюсь ничего вам сообщать. Сначала вы вышлете награду, а потом я вам скажу, кто я такой. Это окончательное условие.

Дьюи повесил трубку и вернулся в постель.

– Нет, милая, – сказал он. – Ничего интересного. Просто очередной пьяница.

– Чего он хотел?

– Желал сделать признание. Только чтобы сначала мы прислали ему вознаграждение. – Канзасская газета «Хатчинсон ньюс» предложила тысячу долларов за информацию, способствующую раскрытию

преступления.

– Элвин, ты опять закуливаешь? Ну Эл, разве нельзя хотя бы попытаться заснуть?

Но Элвин был слишком взвинчен, чтобы спать, даже если бы можно было заставить телефон замолчать; слишком раздражен и измучен. Ни одна из его «ниточек» не вела никуда, кроме разве что кривого проулка, заканчивающегося совершенно гладкой стеной. Бобби Рапп? Детектор лжи вычеркнул Бобби из списка подозреваемых. И мистер Смит, фермер, который завязал веревку таким же узлом, каким пользовался убийца, – он тоже не подходил, поскольку выяснилось, что в ночь преступления он был в Оклахоме. Оставались еще Джоны, отец и сын, но они тоже представили твердое алиби. «Итак, – подвел итог Гарольд Най, – в результате мы имеем хорошее круглое число. Ноль». Даже розыски могилы Нэнсиного кота ничего не дали.

Однако кое в чем все-таки повезло. Во-первых, перебирая одежду Нэнси, миссис Элейн Селсор, ее тетя, нашла засунутые в носок туфли золотые наручные часы. Во-вторых, миссис Хелм в сопровождении агента Канзасского бюро расследований внимательно осмотрела все комнаты на ферме «Речная Долина». Была надежда, что она вдруг заметит какую-то перестановку или пропажу, и она заметила. Это случилось в комнате Кеньона. Миссис Хелм все смотрела и смотрела, все ходила и ходила кругами по комнате, поджав губы, и все трогала и трогала разные предметы – старую бейсбольную перчатку Кеньона, его грязные рабочие сапоги, его осиротевшие очки. И все время шептала:

– Чего-то не хватает, я это чувствую. Я в этом уверена, но чего – не соображу. – Потом сообразила: – Радио! Где маленький приемник Кеньона?

Эти два события вынуждали Дьюи вновь вернуться к версии «обычного ограбления». Уж наверное часы не сами закатились в туфлю Нэнси? Вероятно она, лежа в темноте, услышала что-то подозрительное – шаги или голоса, решила, что в дом влезли воры, и поспешила спрятать часы, подаренные отцом, потому что очень ими дорожила. Что касается радио, серого портативного приемника «Зенит», то тут не было никаких сомнений: он пропал. Но все равно Дьюи не мог согласиться с тем, что четыре человека были убиты ради такой несуразной добычи – нескольких долларов и радиоприемника. Это не согласовывалось с созданным им образом убийцы – или, вернее, убийц: Дьюи и его коллеги твердо решили употреблять этот термин во множественном числе. Мастерское осуществление преступного замысла неопровержимо доказывало, что по крайней мере один из преступников обладал невероятным запасом

хладнокровной хитрости и был – должен был быть – слишком умен для того, чтобы совершить убийство без разумного повода. К тому же кое-какие детали укрепили уверенность Дьюи в том, что хотя бы один из убийц был неравнодушен к жертвам и испытывал к ним, даже в момент убийства, какую-то извращенную нежность. Как иначе объяснить коробку от матраца?

Эта коробка не давала Дьюи покоя. Для чего убийцам понадобилось нести ее с дальнего конца комнаты к печи, как не для того, чтобы устроить мистера Клаттера поудобнее – чтобы обеспечить его на то время, что он смотрел на приближающийся нож, менее жесткой лежанкой, чем холодный цемент? А изучив фотографии с места преступления, Дьюи выделил и другие детали, которые, по его мнению, тоже говорили о том, что убийца то и дело проявлял немотивированную заботу. «Или, – он никак не мог подобрать верное слово, – какую-то суетливость. И мягкость. Например, покрывала. Кто стал бы так делать – связав женщин, да еще таким образом, каким связали Бонни и девочку, укрывать их покрывалами, подтыкать края, словно желая приятных сновидений? Или подушка под головой у Кеньона. Сначала я решил, что ее подсунули, чтобы легче было целиться в голову. Теперь я думаю – нет, ее положили по той же причине, что и коробку из-под матраца, – чтобы жертве было удобнее».

Впрочем, эти выводы хоть и казались Дьюи верными, не давали ему ощущения, что он к чему-то пришел. Преступления редко раскрываются с помощью экстравагантных гипотез; он делал ставку на факты – «добытые тяжелой работой и подтвержденные под присягой». Тяжелой работы впереди было немало: факты предстояло собрать и просеять, а это означало отслеживание, проверку сотен человек, в том числе всех прежних работников с фермы, друзей и знакомых, всех, с кем мистер Клаттер заключал сделки, большие или маленькие, – возвращение черепашьям шагом в прошлое. Ибо, как сказал Дьюи своей команде: «Мы должны продолжать работать, пока не узнаем Клаттеров лучше, чем они сами себя знали. Пока не увидим связь между тем, что мы нашли в прошлое воскресенье утром, и тем, что произошло, возможно, пять лет назад. Связь. Она должна быть. Должна».

Жена Дьюи задремала, но проснулась, почувствовав, что мужа нет рядом, и услышала, что он снова говорит по телефону, а потом – детский плач из соседней комнаты, где спали мальчики. «Пол?» – Пол не был ни беспокойным, ни капризным мальчиком – уж во всяком случае не был плаксой. Он был слишком занят рытьем туннелей на заднем дворе или подготовкой к карьере «самого быстрого бегуна в округе Финней». Но в то

утро за завтраком он разревелся. Его матери не нужно было спрашивать из-за чего; она знала, что, хотя он весьма смутно понимал причины суеты вокруг, его нервировали бесконечные телефонные звонки, незнакомые посетители и устало-тревожные глаза отца. Мэри пошла успокоить Пола. Ей помог старший сын. «Пол, – сказал он, – ты успокойся, а завтра я тебя научу играть в покер».

Дьюи был на кухне; когда Мэри вошла, он сидел за столом, ожидая, пока сварится кофе, а перед ним были разложены все те же фотографии. На нарядной клеенке с узором из фруктов они казались пятнами грязи. (Он однажды предложил Мэри взглянуть на снимки, но она отказалась: «Я хочу запомнить Бонни такой, какая она была, – и всех их тоже».) Дьюи сказал:

– Может быть, мальчикам стоит пока пожить у бабушки? – Его мать, вдова, жила неподалеку; она вечно жаловалась, что у нее в доме слишком тихо и слишком много места для нее одной; она всегда была рада приезду внуков. – Всего несколько дней. До тех пор... ну, до тех самых пор.

– Элвин, как ты думаешь, мы когда-нибудь будем снова жить нормальной жизнью? – спросила миссис Дьюи.

Их нормальная жизнь выглядела так: поскольку оба работали (миссис Дьюи была секретаршей в офисе), они поделили домашние обязанности поровну и по очереди заступали на вахту к плите или мойке. («Когда Элвин был шерифом, я знаю, его иногда дразнили. Говорили про него: „Гляньте-ка! Вот идет шериф Дьюи! Суровый парень! Лучший стрелок в городе! Но стоит ему прийти домой, он снимает кобуру и надевает фартук!“».) В то время они копили на ферму, которую Дьюи купил в 1951 году – двести сорок акров земли немного севернее Гарден-Сити. В ясные дни, и особенно когда стояла жара и созревала высокая пшеница, он любил ездить туда и тренироваться в своем искусстве – стрелять по воронам, по консервным банкам – или мысленно бродить по дому, который он надеялся построить, по цветнику, который собирался разбить, и под сенью деревьев, которые еще даже не посадил. Он был твердо уверен, что когда-нибудь среди этих равнин появится оазис его дубов и вязов:

– Когда-нибудь. С Божьей помощью.

Вера в Бога и ритуалы, окружающие эту веру – церковь по воскресеньям, молитва перед обедом и перед сном, – была важной составляющей жизни семейства Дьюи. «Я не понимаю, как можно сесть за стол, не попросив Бога благословить твой кусок, – сказала однажды миссис Дьюи. – Да, иногда я прихожу с работы усталая. Но на плите всегда стоит кофе, а иногда найдется и бифштекс в холодильнике. Мальчики зажигают конфорку, чтобы поджарить бифштекс, и мы разговариваем, рассказываем

друг другу, что у нас произошло за день, и когда ужин готов, я знаю, что у нас есть повод быть счастливыми и благодарными. Поэтому я говорю: „Благодарю тебя, Господи“. Не только потому, что должна, – потому, что искренне этого хочу».

– Элвин, ответь мне, – сказала миссис Дьюи. – Как ты думаешь, у нас будет когда-нибудь снова нормальная жизнь?

Он начал отвечать, но его прервал телефонный звонок.

Старый «шевроле» покинул Канзас-Сити 21 ноября, в субботу ночью. Багаж был привязан к решетке на крыше автомобиля; багажник был так забит, что не закрывался; внутри, на заднем сиденье, один на другом стояли два телевизора. Пассажиры поместились с трудом: Дик – в водительском кресле, Перри – рядом, в обнимку с «гибсоном», своим главным достоянием. Что касается остального имущества Перри – фибрового чемоданчика, серого приемника «Зенит», галлона концентрата для приготовления сладкого пива (он боялся, что его любимый напиток в Мексике не продается) и двух больших коробок с книгами, рукописями и милыми сердцу памятными вещицами (Дик просто рвал и метал! Ругался, пинал коробки, обзывал их «пятьюстами фунтами собачьего дерьма!»), – оно тоже было где-то в захламленном нутре машины.

Около полуночи они пересекли границу с Оклахомой. Перри радовался, что они покинули Канзас и теперь можно расслабиться. Наконец-то они в пути. В пути, и уже не вернуться, и никогда об этом не пожалеют, во всяком случае Перри, у которого позади не осталось никого, кто стал бы ломать голову, куда он пропал. Но Дик не мог то же самое сказать о себе. Здесь оставались те, кого он, по собственным уверениям, любил: три сына, мать, отец, брат – люди, которых он не посмел посвятить в свои планы и которым даже не сказал «до свидания», хотя и не надеялся вновь их увидеть – во всяком случае, в этой жизни.

«В СУББОТУ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ БРАКОСОЧЕТАНИЯ КЛАТТЕР И ИНГЛИША»: такой заголовок, появившийся на полосе светской хроники рупора Гарден-Сити «Телеграм» от 23 ноября, удивил многих читателей этой газеты. Из него явствовало, что Беверли, младшая из двух оставшихся дочерей мистера Клаттера, вышла замуж за мистера Вера Эдварда Инглиша, юного студента-биолога, с которым давно была помолвлена. Мисс Клаттер была в белом, и бракосочетание, полноценное торжество («миссис Леонард Коуэн солировала, миссис Говард Бланчард играла на органе»), прошло в Первой методистской церкви – той самой, в

которой за три дня до того невеста оплакивала своих родителей, брата и младшую сестру. Как бы там ни было, по сведениям «Телеграм», «Вер с Беверли собирались обвенчаться в рождественские каникулы. Уже были напечатаны приглашения, и отец невесты зарезервировал церковь на определенный день. Ввиду внезапной трагедии и приезда большого числа родственников, многим из которых пришлось проделать далекий путь, молодая пара решила перенести свадьбу на эту субботу».

После свадьбы родственники разъехались. В понедельник последние из них покинули Гарден-Сити, и «Телеграм» поместила на первой полосе письмо мистера Говарда Фокса из Орегона, штат Иллинойс, брата Бонни Клаттер. Письмо, начинавшееся с изъявлений благодарности горожанам за то, что они открыли свои «дома и сердца» семье, которую постигла такая утрата, дальше превращалось в патетическое воззвание. «В этом обществе (то есть в Гарден-Сити) слишком много ненависти, – писал мистер Фокс. – Я не раз слышал, как люди говорят, что убийцу надо вздернуть на ближайшем суку. Нельзя позволять таким чувствам завладеть нашими душами. Люди уже мертвы, и отняв еще одну жизнь, мы ничего не изменим. Вместо этого давайте простим их, как заповедал нам Господь. Мы не должны копить в сердце ненависть. Тот, кто совершил это злодеяние, скоро убедится, что теперь ему трудно жить в мире с собой. И он вновь обретет покой, лишь когда пойдет за прощением к Господу. Не будем стоять у него на пути, а помолимся за то, чтобы мир вновь воцарился в его душе».

Автомобиль стоял на мысу, где Перри и Дик решили устроить привал. Была середина дня. Дик разглядывал в бинокль окрестности. Горы. И ястребы в белом небе. Пыльная дорога вьется сквозь белую пыльную деревушку. Шел второй день его пребывания в Мексике, и пока ему все казалось чудесным – даже еда. (В этот самый момент он жевал холодную, сочащуюся маслом тортилью.) Они пересекли границу в Ларедо, штат Техас, утром 23 ноября и провели первую ночь в борделе Сан-Луиса. Следующий пункт назначения, Мехико, лежал в двухстах милях к югу.

– Знаешь, о чем я подумал? – сказал Перри. – Я подумал, что мы какие-то не такие. Совершить такое...

– А что мы такого совершили?

– Ну, там...

Дик опустил бинокль в кожаный футляр, роскошный футляр с инициалами Г. У. К. Он разозлился. До чертиков разозлился. Какого черта Перри опять разевает пасть?

Господи Иисусе, ну какого дьявола надо без конца болтать об одном и

том же? Это начинает действовать на нервы. Особенно после того, как они условились больше не говорить на эту тему. Просто забыть.

– У людей, которые такое совершили, явно не все в порядке с головой, – сказал Перри.

– Ты меня сюда не приплетай, малыш, – сказал Дик. – Я-то нормальный. – И Дик действительно верил в то, что говорил. Он думал, что он такой же уравновешенный и такой же нормальный, как любой средний американец, разве что малость поумнее. Но у Перри, по мнению Дика, точно было «не все в порядке с головой». Если не сказать больше. Прошлой весной, когда они сидели в одной камере в Канзасской исправительной колонии, он узнал множество мелких подробностей из жизни Перри: Перри иногда вел себя «совсем как младенец», писался в постель и кричал во сне («Папа, я везде тебя искал, где ты был, папа?»), а то часами сидел, сосал большой палец и изучал свои чертовы фальшивые карты с кладами. Но это только одна сторона; были и другие. Временами старина Перри становился «чисто дьявол». Одни его приступы бешенства чего стоили. Он мог впасть в ярость «быстрее, чем десять надрывшихся индейцев». И при этом даже не измениться в лице. «Он может в следующую секунду тебя прикончить, но ты об этом не догадаешься ни по голосу, ни по роже», – сказал однажды Дик. Когда гнев раздирал Перри изнутри, внешне он оставался хладнокровным, жестким парнем со взглядом безмятежным и едва ли не сонным. Было время, когда Дик думал, что может управлять им, может регулировать температуру этих внезапных холодных вспышек, которые жгли и замораживали его приятеля. Но он ошибался и, поняв это, уже не знал, что и думать о Перри – за исключением того, что должен его бояться, и сам удивлялся, почему не боится.

– Вот так оно и бывает, – продолжал Перри. – Буль-буль-буль, и ты уже у самого дна. Никогда не думал, что дойду до такого.

– А как же ниггер? – спросил Дик.

Молчание. Но Дик чувствовал, что Перри на него смотрит. Неделю назад в Канзас-Сити Пери купил солнечные очки – причудливые, в посеребренной оправе и с зеркальными линзами. Дик их ненавидел; он сказал Перри, что ему стыдно ходить в компании «типа с такими фарами на морде». На самом же деле его раздражали зеркальные стекла; ему было неприятно, что за ними не видно глаз Перри.

– Так то ниггер, – сказал Перри. – Две разные вещи.

Дика насторожило это замечание и особенно то, с какой неохотой оно было произнесено. Он спросил:

– А ты не врешь? Ты вообще-то его убивал? – Существенный вопрос,

если учесть, что интерес Дика к Перри, оценка его характера и потенциальных возможностей были основаны исключительно на рассказе самого Перри о том, как он однажды забил до смерти чернокожего.

– Конечно, убивал. Только это же ниггер. Совсем другое дело. – Помолчав, Перри добавил: –

Знаешь, что мне на самом деле не дает покоя? Не верю я, будто кто-то может выйти сухим из воды после такого. По-моему, так не бывает. Сделать то, что мы сделали, и на все сто процентов избежать неприятностей. Я не могу избавиться от мысли, что скоро что-нибудь случится.

В детстве Дик посещал церковь, но он никогда не «подходил» к вере в Бога и уж тем более не был суеверен. В отличие от Перри, он не считал, что разбитое зеркало сулит семь лет неудач или что месяц, если увидеть его сквозь стекло, предвещает несчастье. Но, обладая обостренным и болезненным восприятием, Перри почувствовал, что и Дика не оставляют сомнения. Дик тоже переживал минуты, когда этот вопрос вертелся у него в голове: возможно ли это? Были ли они «честны перед Богом, надеясь избежать неприятностей после того, что совершили»? Неожиданно он рывкнул на Перри: «Да заткнись же ты наконец!» Потом запустил двигатель и повел автомобиль прочь от мыса. Впереди он увидел собаку, трусившую по пыльной дороге.

Горы. И ястребы в белом небе.

Когда Перри спросил Дика: «Знаешь, о чем я подумал?», он понимал, что начинает разговор, который Дику не понравится и которого, по существу, он сам бы с радостью избежал. Перри был согласен с Диком – что толку опять об этом говорить? – но не всегда мог удержаться. Случались припадки беспомощности, минуты, когда на него накатывали воспоминания – синие вспышки в черной комнате, стеклянные глаза плюшевого медведя, – и тогда в голове у него начинали навязчиво звучать голоса, особенно несколько слов: «О нет! Пожалуйста! Нет! Нет! Нет! Нет! Не надо! О, пожалуйста, не надо, пожалуйста!» И возвращались другие звуки: звон серебряного доллара, катящегося по полу, скрип деревянных ступеней и хрипы – захлебывающееся дыхание человека с перерезанным горлом.

Когда Перри сказал: «Я подумал, что мы какие-то не такие», он вступил в область, куда совершенно не хотел вступать. Тем более что было больно представить себе, что ты не совсем нормальный, – особенно если ненормален ты не по своей вине, а просто таким уродился. Стоит только посмотреть на семью! Мать, алкоголичка, умерла, захлебнувшись

собственной блевотиной. Из четырех ее детей – двух сыновей и двух дочерей – только самой младшей, Барбаре, удалось зажить как обычные люди, выйти замуж и создать семью. Вторая дочь, Ферн, выбросилась из окна гостиницы в Сан-Франциско. (Перри до сих пор старался убедить себя, что она «просто сорвалась», потому что любил Ферн. Она была такая милая, так артистично, потрясающе танцевала и пела тоже великолепно. «Ей бы немножко везения – с ее внешностью и прочими данными она могла бы добиться чего угодно». Ему было неприятно представлять, как она взбирается на подоконник и падает с пятнадцатого этажа.) И был еще Джимми, старший брат Перри, – Джимми, который в один прекрасный день довел жену до самоубийства, а на следующий день тоже покончил с собой. Потом он услышал, как Дик говорит: «Ты меня сюда не приплетай, малыш. Я-то нормальный». Бред сивой кобылы! Но черт с ним, это он проглотил. «Вот так это и бывает, – продолжал Перри. – Буль-буль-буль, и ты уже у самого дна. Никогда не думал, что дойду до такого». И тут же понял свою ошибку: Дик, естественно, спросил в ответ: «А как же ниггер?» Перри рассказал Дику эту историю, потому что хотел с ним подружиться, хотел, чтобы Дик его уважал, думал, что он крутой, «настоящий мужик», каким, по мнению Перри, был сам Дик. Поэтому через день после того, как они оба прочли и обсудили статью в «Ридерз дайджест» под названием «Хороший ли вы знаток человеческой природы?» («Когда вы ждете в приемной дантиста или на вокзале, воспользуйтесь бесплатной возможностью изучить особенности поведения окружающих вас людей. Например, присмотритесь к походке. Твердая походка свидетельствует о твердом характере; если человек шаркает ногами, это говорит о неуверенности в себе»), Перри сказал: «Я всегда был выдающимся знатоком человеческой природы, а иначе мне бы не выжить. Представь, что я бы не знал, кому можно доверять, а кому нет. Без этого не прожить. Но тебе, Дик, я доверяю. Чтоб ты мне поверил, я отдаю свою судьбу в твои руки. Я расскажу тебе то, чего никогда никому не рассказывал. Даже Вилли-Сороке. Однажды я прикончил одного парня». И Перри видел, что Дик заинтересовался; он действительно слушал очень внимательно. «Это было пару лет назад. Еще в Вегасе. Я жил в старом пансионе – когда-то это был довольно престижный пансион. Но потом вся его престижность улетучилась. Его давно пора было снести; впрочем, он и так уже разваливался. Самые дешевые комнаты были на чердаке, там я и жил. И ниггер этот тоже. Его звали Кинг; он поселился там временно. Мы с ним были единственными постояльцами – не считая миллиона тараканов. Кинг был не слишком молод, но занимался ремонтом дорог, укладыванием

асфальта – в общем, мужик был крепкий. Он носил очки и много читал. И никогда не закрывал дверь. Всякий раз, когда я проходил мимо, он неизменно валялся на кровати с голой задницей. В то время он не работал: сказал, что отложил немного баксов с последнего заработка и хочет какое-то время просто валяться в кровати, читать и дуть пиво. Читал он сплошь барахло – всякую чушь про ковбоев или комиксы. Но мужик был нормальный. Иногда мы вместе пили пиво, а однажды он дал мне десятку. У меня не было никакой причины его обижать. Но вышло так, что как-то ночью мы сидели на чердаке; духота была такая, что не уснуть, и я предложил: „Давай, Кинг, прокатимся, что ли?" У меня была старая развалюха; я ее починил, перебрал и выкрасил в серебряный цвет. „Серебряный призрак", так я ее назвал. И мы поехали. В пустыню: там было прохладнее. Остановились, выпили еще пивка. Кинг вылез из машины, и я вслед за ним. Он не заметил, как я взял эту цепь. Велосипедную цепь, которую я всегда держал под сиденьем. На самом деле я даже не думал, что начну его бить, пока вдруг не начал. Я ударил его цепью по роже. Разбил очки. И понеслось... А когда все кончилось, я даже ничего не почувствовал. Я его там оставил и никогда больше о нем не слышал. Может, его так никто и не нашел. Кроме стервятников».

В этой истории была доля истины. Перри действительно познакомился – при тех обстоятельствах, о которых он говорил, – с негром по фамилии Кинг. Но если к этому времени Кинг успел умереть, то Перри тут был ни при чем; он ни разу не поднял на него руку. Насколько Перри было известно, Кинг до сих пор валялся на какой-нибудь кровати, листал комиксы и потягивал пиво.

– А ты не врешь? Ты вообще его убивал? – спросил Дик. Перри не был одаренным вруном или хотя бы опытным; но стоило ему начать врать, как он уже не мог остановиться. «Конечно, убивал. Только это же ниггер. Совсем другое дело». Потом он сказал: «Знаешь, что мне на самом деле не дает покоя? Не верю я, будто кто-то может выйти сухим из воды после такого». И он подозревал, что Дик тоже не верит. Потому что Дик, по крайней мере отчасти, заразился от Перри его морально-мистическими переживаниями. Отсюда:

– Да заткнись же ты наконец!

Автомобиль тронулся. В сотне футов впереди по краю дороги бежала собака. Дик направил машину прямо на нее. Это был старый полудохлый пес, непонятная помесь, шелудивый и тощий, и удар от столкновения с ним был ненамного сильнее, чем от столкновения с птицей. Но Дик был доволен. «Красота! – сказал он; он всегда так говорил, задавив собаку, что

делал при каждом удобном случае. – Красота! Размазали его по дороге!»

Миновал День благодарения, закончился фазаний сезон, но прекрасное бабье лето с чередой ясных, чистых дней еще не ушло. Последний из приезжих репортеров, придя к убеждению, что дело не будет раскрыто никогда, покинул Гарден-Сити. Однако жители округа Финней не перестали говорить об этой истории, особенно те, что постоянно бывали в любимом месте встреч холкомбцев, «Кафе Хартман».

– С тех пор, как это случилось, мы только и делаем, что пережевываем одно и то же, – сказала миссис Хартман, зорко оглядывая свои владения, на каждом пяточке которых сидели или стояли с чашками кофе пропахшие табаком фермеры и скотоводы.

– Как старые перечницы, – добавила кузина миссис Хартман, почтмейстерша Клэр, которая в тот момент тоже была здесь. – Будь сейчас весна, когда работы невпроворот, они бы тут не торчали. Но урожай уже убран, зима на носу, делать им нечего, только сидеть и пугать друг друга. Знаете Билли Брауна из «Телеграм»? Видели его передовицу? Называется «Еще одно преступление?». Он там говорит: «Пора бы перестать молотить языками», потому что это тоже преступление – болтать откровенную ложь. Но чего еще от них ожидать? Оглянитесь по сторонам. Гремучие змеи. Сплетники. Может, вы видите что-то другое? Ха! Черта с два.

Среди многочисленных слухов, рожденных в «Кафе Хартман», был один, который касался Тейлора Джонса, владельца ранчо, примыкающего к ферме «Речная Долина». По мнению большинства клиентов кафе, жертвами убийц должны были стать мистер Джонс и его семья, а не Клаттеры. «Тогда бы это еще имело смысл, – доказывал один из тех, кто разделял эту точку зрения. – Тейлор всегда был богаче Герба. Допустим, что убийца был не из наших краев. Допустим, его кто-то нанял и объяснил ему, как найти дом. Тогда он мог легко перепутать, не там повернуть – и попасть вместо Тейлора к Гербу». Все повторяли друг другу «гипотезу Джонса», особенно часто самим Джонсам, людям степенным и здравомыслящим, которых никак не удавалось расшевелить.

Буфетная стойка, несколько столов и ниша, в которой стоят маленькая духовка, радио и холодильник, – вот и все, что есть в «Кафе Хартман». «Но нашим клиентам нравится, – говорит владелица. – Поневоле понравится. Больше им податься некуда. На семь миль в одну сторону и на пятнадцать в другую ни одной забегаловки. И вообще, у нас тут все по-домашнему, и кофе хороший, с тех пор как у нас работает Мейбл. – Мейбл звали миссис Хелм. – Когда случилась эта трагедия, я сказала: „Мейбл, теперь ты

осталась без работы, приходи ко мне помогать в кафе. Будешь понемножку готовить. Стоять за стойкой". Так оно и получилось – только плохо, что все, кто к нам приходит, пристают к ней с вопросами. Насчет убийства. Но Мейбл не такая, как кузина Мирт. Или я. Она слишком стеснительная. Кроме того, она ничего особенного не знает. Не больше, чем все остальные». Однако многие продолжали подозревать, что Мейбл что-то знает, но помалкивает. Так оно и было. Дьюи провел с ней несколько бесед и попросил держать в секрете их содержание. Самое главное – не говорить никому ничего насчет пропажи радио и о часах, найденных в тужельке Нэнси. Поэтому она сказала миссис Арчибальд Уильям Уоррен-Брауни: «Любой, кто читает газеты, знает столько же, сколько и я. Даже больше. Потому что я их не читаю».

Миссис Арчибальд Уильям Уоррен-Брауни, невысокая и коренастая англичанка лет сорока, с почти бессознательной манерой выражаться как леди, ничуть не напоминала других завсегдатаев кафе и, находясь в этом заведении, напоминала паву, попавшую в загон для индюшек. Однажды, объясняя знакомой, почему они с мужем отказались «от фамильных владений на севере Англии» и променяли доставшийся им по наследству дом – «чудеснейшую, о, прекраснейшую старинную обитель» – на старый и отнюдь не чудесный сельский дом на равнинах западного Канзаса, миссис Уоррен-Брауни сказала:

– Налоги, моя дорогая. Убийственные поборы. Немыслимо, *преступно* убийственные поборы. Из-за них нам и пришлось уехать из Англии. Да, мы уехали год назад. И не жалеем. Ни единой секунды. Нам здесь нравится. Мы просто в восторге. Хотя, конечно, это совсем не похоже на ту нашу жизнь. На жизнь, к которой мы привыкли. Париж и Рим. Монте-Карло. Лондон. Да, я иногда думаю о Лондоне. Но на самом деле я совершенно не скучаю по нему – настоящее безумие, никогда не найдешь такси и всегда беспокоишься о том, как выглядишь. Определенно не скучаю. Нам здесь нравится. Наверное, некоторые – те, кто знал, какую жизнь мы вели раньше, – задаются вопросом, не чувствуем ли мы себя чуточку одиноко здесь, среди пшеничных полей. Но мы хотели поселиться именно на Западе. В Вайоминге или Неваде – как получится. Мы надеялись, что там нам удастся слегка обрасти жирком. По дороге мы остановились погостить у друзей в Гарден-Сити – точнее даже, у друзей наших друзей. Но они оказались невероятно любезны. Настаивали, чтобы мы погостили подольше. И мы подумали, ну, в общем, почему бы и нет? Почему бы не взять в аренду немного земли и не завести ранчо? Или ферму. Этот вопрос мы так до сих пор и не решили – ранчо или ферму. Доктор Остин

спрашивает, не кажется ли нам, что здесь слишком тихо. Надо сказать, нет. Надо сказать, я еще никогда не жила в таком бедламе. Здесь шуму больше, чем во время бомбежки. Гудки поездов. Койоты. Чудовища, завывающие всю ночь напролет. Жуткий шум. И с тех пор, как произошло это убийство, кажется, стало еще невыносимее. Столько всяких звуков. Наш домик – господи, ну и скрипит же эта старая развалина! Заметьте себе, я не жалуясь. Правда – это вполне пригодный для жилья дом, со всеми удобствами, – но как он кряхтит и кашляет, бог мой! А после наступления темноты, когда начинается ветер, этот ненавистный ветер прерий, слышатся просто душераздирающие стоны. Я хочу сказать, что если у кого нервы не в порядке, может почудиться всякая ерунда. Боже милостивый! Бедные Клаттеры! Нет, мы с ними не были знакомы. Я видела мистера Клаттера только один раз. В Федеральном здании.

В начале декабря двое самых постоянных клиентов кафе в один день объявили о своем намерении собрать вещи и покинуть не просто округ Финней, но даже и сам штат. Первым был фермер – арендатор Маккоя, известного в западном Канзасе землевладельца и бизнесмена. Он сказал: «Я разговаривал с мистером Маккоем. Постарался просветить его насчет того, что здесь творится, в Холкомбе и во всей округе. Что ни одна живая душа не может спать. Моя жена не может спать и мне не дает. Вот я и сказал мистеру Маккою, что мне очень нравится участок, все это прекрасно, но ему лучше найти себе другого арендатора. А мы уезжаем. В восточное Колорадо. Может, там мне наконец удастся отдохнуть».

Второй была миссис Хидео Ашида, которая заглянула в кафе с тремя из четырех своих краснощеких детей. Она выстроила их у стойки и сказала миссис Хартман: «Дайте Брюсу коробку крекера. Бобби просил „коку“. Бонни-Джин? Мы знаем, что ты расстроена, Бонни-Джин, но ты бы подошла, угостилась чем-нибудь». Бонни-Джин покачала головой, и миссис Ашида сказала: «Бонни немного хандрит. Ей не хочется уезжать. Ведь здесь школа, здесь все ее друзья».

– Ну что за беда, – улыбнулась миссис Хартман, – так уж сильно грустить не из-за чего. Перейдешь в школу в Гарден-Сити. Там гораздо больше мальчиков...

Бонни-Джин сказала:

– Вы не понимаете. Папа нас увозит. В Небраску.

Бесс Хартман посмотрела на миссис Ашида, словно ожидая, что она опровергнет утверждение дочери.

– Это правда, Бесс, – подтвердила та.

– Просто не знаю, что сказать, – произнесла миссис Хартман, и в

голосе ее звучали негодование, удивление и даже отчаяние. Ашида были частью холкомбского сообщества, их все считали своими – это была веселая семья, и притом трудолюбивая, радушная и щедрая, хотя они мало чем могли поделиться.

Миссис Ашида сказала:

– Мы давно уже над этим думали. Хидео кажется, что в других краях мы можем добиться большего.

– Когда вы собираетесь ехать?

– Скоро, как только продадим дом. Но во всяком случае не раньше Рождества. Потому что мы записались на прием к дантисту. Это рождественский подарок Хидео. Мы с детьми подарим ему три золотых зуба. На Рождество.

Миссис Хартман вздохнула:

– Не знаю, что и сказать, кроме того, что мне очень жаль. Вот так берете и бросаете нас. – Она снова вздохнула. – Похоже, скоро нас все покинут.

Кто так, кто эдак.

– Черт возьми, думаешь, мне хочется уезжать? – сказала миссис Ашида. – Да это самое лучшее место из всех, где мы жили. Но Хидео, он мужчина, и он говорит, что в Небраске мы сможем найти ферму лучше. И вот что я тебе скажу, Бесс, – миссис Ашида попыталась нахмуриться, но ее пухлое, круглое гладкое лицо довольно плохо подчинилось. – Мы долго спорили. И как-то ночью я сказала: «Ладно, будь по-твоему, давай уедем». После того, что случилось с Гербом и его семьей, я почувствовала, что для меня здесь что-то закончилось. Я имею в виду, лично для меня. И я перестала спорить. Я сказала, ладно. – Она запустила руку в коробку с крекером, которую держал Брюс. – Черт возьми, я ничего не могу с собой поделывать. Не могу выбросить это из головы. Мне нравился Герб. Знаешь, я ведь одна из последних, кто видел его живым. Да-да. Мы с детьми. Мы встретились на собрании «4С» в Гарден-Сити, и он подвез нас до дома. И напоследок я ему тогда сказала, что не могу себе представить, чтобы он когда-нибудь испугался. Что он в любой ситуации найдет, что сказать. – Она задумчиво похрустела крекером, взяла у Бобби глотнуть «кока-колы» и сказала: – Забавно, но знаешь, Бесс, я готова держать пари, что он не боялся. Даже когда это случилось, готова поспорить, он до последнего не верил, что это случится. Потому что этого случиться не могло. Только не с ним.

Сверкало солнце. Море было спокойно. Маленькая лодка под

названием «Звездочка» стояла на якоре с четырьмя пассажирами на борту – Диком, Перри, молодым мексиканцем и Отто, богатым немцем средних лет.

– Пожалуйста, спой еще раз, – попросил Отто, и Перри, подыгрывая себе на гитаре, хрипловатым приятным баритоном затянул «Песню Туманных гор»:

*Покуда мы живем на этом свете,
Нас люди вечно судят и бранят,
Но только ляжем в деревянный ящик,
Нам в руки вложат лилии они.
Дари же мне цветы, пока я жив...*

Неделю они с Диком провели в Мехико, потом двинули на юг – в Куэрноваку, Таско, Акапулько. И как раз в Акапулько в «баре с музыкальными автоматами» они встретили Отто, отличительными чертами которого были волосатость ног и широта души. Дик его «подцепил». Но у этого джентльмена, адвоката из Гамбурга, проводящего в Мексике отпуск, уже был приятель – юный уроженец Акапулько, называющий себя Ковбой. «Он оказался своим парнем, – сказал как-то Перри про Ковбоя. – В каком-то смысле он был подлый как Иуда, но до чего же занятный пронира, шустрый такой. Дику он тоже понравился. Мы здорово спелись».

Ковбой нашел для покрытых татуировками бродяг комнату в доме дяди, вызвался помочь Перри в освоении испанского языка и делился с ним благами своей связи с отдыхающим гамбургцем, в компании и на средства которого они пили, ели и покупали женщин.

Но тот, казалось, считал, что неплохо тратит свои песо уже потому, что имеет возможность смаковать шуточки Дика. Каждый день Отто нанимал «Звездочку», суденышко для ловли рыбы в глубоких водах, и четверо друзей, распевая, плавали вдоль берега. Ковбой правил лодкой; Отто делал зарисовки и удил рыбу; Перри наживлял крючки, мечтал, пел и иногда удил рыбу; Дик не делал ничего – только стонал, жаловался на качку, лежал вялый и одуревший от солнца, словно ящерица в сиесту. Но Перри сказал: «Вот оно. Наконец-то все так, как должно быть». Однако он знал, что бесконечно так продолжаться не может – такая жизнь фактически должна была закончиться уже в этот день. На завтра Отто возвращался в Германию, а Перри с Диком уезжали обратно в Мехико – по настоянию Дика. «Конечно, малыш, – сказал он, когда они обсуждали этот вопрос. – Это все очень мило. Солнце в спину и тому подобное. Но денежки-то уже тью-тью.

Ну, продадим мы машину, и что у нас останется?»

Оставалось у них очень немного, поскольку к настоящему моменту они в основном уже распорядились товарами, приобретенными в ходе прощального чекового кутежа в Канзас-Сити, – камерой, запонками, телевизорами. Кроме того, они толкнули полицейскому, с которым Дик познакомился в Мехико, бинокль и серый приемник «Зенит». «Что надо сделать, так это вернуться в Мехико и продать машину. Может быть, я устроюсь в какой-нибудь гараж. В любом случае, там проще найти работу. Больше возможностей. Черт, да и эта Инес еще может мне пригодиться». Инес была проститутка, которая подцепила Дика в Мехико на ступенях Дворца искусств (посещение которого входило в экскурсионный тур, купленный, чтобы порадовать Перри). Ей было восемнадцать, и Дик обещал на ней жениться. Но он еще обещал жениться на Марии, пятидесятилетней вдове «очень известного в Мексике банкира». Они познакомились в баре, а наутро она выдала Дику эквивалент семи долларов. «Так как тебе мой план? – сказал Дик Перри. – Мы продадим фургон. Найдем работу. Подкопим денег. И посмотрим, что будет дальше». Как будто Перри уже сейчас не мог точно предсказать, что будет дальше. Допустим, они выручат за старенький «шевроле» сотни две или три. Дик, насколько он знает Дика – а теперь он узнал его как следует, – сразу же начнет тратить их на водку и женщин.

Пока Перри пел, Отто набросал в альбоме его портрет. Сходство было довольно сильное, к тому же художник уловил одну не самую заметную особенность в лице своей модели – некую злокозненность, злое детское озорство, наводящее на мысль о недобром купидоне, у которого в колчане вместо любовных стрел отравленные. Он был обнажен до пояса. (Перри было «стыдно» снимать брюки, «стыдно» носить плавки: он боялся, что людям будет «противно смотреть» на его изувеченные ноги, и в связи с этим, несмотря на все свои мечты о подводном плавании, все разговоры об аквалангах, ни разу даже не окунулся.) Отто воспроизвел татуировки, украшающие мускулистую грудь Перри, его плечи и мозолистые, но маленькие, как у девушки, кисти рук. В альбоме, который Отто отдал Перри в качестве прощального подарка, было также несколько набросков Дика – «этюды обнаженной натуры».

Отто закрыл альбом, Перри убрал гитару, и Ковбой, выбрав якорь, запустил двигатель. Пришло время поворачивать. До берега было десять миль, а вода уже начала темнеть.

Перри все уговаривал Дика порыбачить.

– Такого шанса может больше никогда не быть, – сказал он.

– Какого «такого»?

– Поймать крупную рыбу.

– Черт, опять мне паршиво, – пробурчал Дик. – И тошнит. – У Дика часто случались головные боли, сильные, как при мигрени, – это и называлось «мне паршиво». Он считал их последствием той аварии. – Будь друг, малыш, давай посидим очень, очень тихо.

Мгновением позже Дик забыл о боли. Он вскочил на ноги и заорал от восторга. Отто и Ковбой тоже заорали. Перри подцепил «крупную». Десятифутовая рыба – парусник – билась на крючке, прыгала, выгибалась радугой, ныряла, уходила в глубину, туго натягивая лесу, поднималась, взлетала, падала и снова поднималась. Прошло больше часа, прежде чем промокшие от пота рыболовы втащили парусника в лодку.

В гавани Акапулько вечно околачивается старик с фотоаппаратом в древнем деревянном кожухе, и когда «Звездочка» причалила к берегу, Отто заказал ему шесть фотографий Перри в обнимку с уловом. С точки зрения техники снимки оказались ужасными – коричневые и полосатые. Но все же это были замечательные фотографии, главным образом благодаря выражению лица Перри, взгляду, полному неомраченного удовлетворения, блаженства, словно могучая желтая птица из снов наконец подхватила его и несет к небесам.

В этот декабрьский день Пол Хелм прореживал цветочные дебри, которые оправдывали членство Бонни Клаттер в Клубе садоводов Гарден-Сити. Грустная это была работа, потому что напоминала ему о другом дне, когда он ею занимался. В тот день ему помогал Кеньон, и это был последний раз, когда он видел живым и Кеньона, и Нэнси, и их родителей; Недели, прошедшие с того дня, были тяжелыми для мистера Хелма. Он был «нездоров» (более нездоров, чем думал; ему оставалось жить меньше четырех месяцев), и ему приходилось беспокоиться о многих вещах. В первую очередь о работе. Он сомневался, что долго продержится на этом месте. Никто вроде бы точно не знал, но мистер Хелм понял так, что «девочки», Беверли и Эвиана, собираются продать усадьбу – хотя, как сказал один парнишка в кафе, «никто не станет ее покупать, пока не будет раскрыта эта тайна». Неприятно было думать о том, что здесь поселятся чужаки, что они соберут урожай с «нашей» земли. Мистер Хелм переживал – и переживал он в память о Гербе. Этой ферме, говорил мистер Хелм, «нужны настоящие хозяева». Однажды Герб сказал ему: «Я надеюсь, что здесь всегда будут жить Клаттеры и Хелмы». Это было всего год назад. Боже, куда податься, если ферму продадут? Он чувствовал, что «слишком

стар, чтобы привыкать к новому месту».

Однако он должен был работать и хотел работать. Как он сам говорил, он не из тех, кто скинут башмаки и сидят у печки, греются. И все же надо признать, что сейчас ему было не по себе: дом заколочен, лошадь Нэнси одиноко ждет в поле, под яблонями гниют упавшие яблоки, и не слышно привычных звуков – голоса Кеньона, зовущего Нэнси к телефону, посвистывания Герба, его приветливого «Доброе утро, Пол». Они с Гербом отлично ладили – даже не спорили никогда. Почему же тогда шериф и его помощники без конца его допрашивают? Не иначе, думают, будто ему «есть что скрывать»? Наверное, не стоило рассказывать им про мексиканцев. Мистер Хелм сообщил Элу Дьюи, что приблизительно в четыре часа дня в субботу, 14 ноября, в день, когда произошло убийство, на ферму «Речная Долина» приходили двое мексиканцев: один усатый, другой рябой. Мистер Хелм видел, как они постучались в дверь кабинета, видел, как Герб вышел с ними поговорить, и минут десять спустя заметил, как чужаки уходили с «мрачным видом». Мистер Хелм полагал, что они спрашивали, не найдется ли для них работы, и получили отрицательный ответ. К сожалению, хотя его неоднократно вызывали для дачи показаний о событиях того дня, об этом эпизоде он впервые рассказал лишь спустя две недели после преступления, потому что, как он объяснил Дьюи, «совершенно неожиданно об этом вспомнил». Но Дьюи и некоторые другие следователи, казалось, не поверили в эту историю и вели себя так, словно все это он придумал для того, чтобы ввести их в заблуждение. Они предпочитали верить Бобу Джонсону, страховому агенту, который провел в субботу весь день в кабинете мистера Клаттера и был «абсолютно уверен», что с двух до десяти минут седьмого он был единственным посетителем Герба. Мистер Хелм стоял на своем не менее твердо: мексиканцы, усы, оспины, четыре часа. Герб сказал бы им, что он говорит правду, уверил бы их в том, что он, Пол Хелм, человек, который «честно молится и честно зарабатывает на хлеб». Но Герба больше нет.

Он покинул этот мир. И Бонни тоже. Окно ее спальни выходило в сад, и иногда, как правило в те дни, когда у нее начинался очередной приступ, мистер Хелм видел, как она долгие часы простаивает, зачарованно глядя на свой садик. («Когда я была девочкой, – сказала она однажды подруге, – я была твердо уверена, что деревья и цветы такие же живые, как птицы или люди. Что они умеют думать и разговаривают друг с другом. И что если хорошенько постараться, можно услышать, как они разговаривают. Нужно лишь освободить мозг от всех остальных звуков. Дождаться полной тишины и внимательно прислушаться. Иногда я и теперь так думаю. Но

никак не могу добиться такой тишины...»)

Вспомнив, как Бонни стояла у окна, мистер Хелм посмотрел вверх, словно ожидая снова ее увидеть – призрак за стеклом. Если бы он увидел ее, это поразило бы его меньше, чем то, что он разглядел на самом деле: руку, придерживающую штору, и глаза. «Но, – как он рассказывал впоследствии, – на эту сторону дома падали лучи солнца». От этого стекло окна сверкнуло, искажая то, что скрывалось за ним, и когда мистер Хелм, защитив глаза ладонью, посмотрел снова, шторы, качнувшись, сомкнулись, а в окне уже никого не было.

– Вижу я плоховато и поэтому сначала засомневался, не обманывают ли меня глаза, – вспоминал он. – Но я был на все сто уверен, что мне не померещилось. И я был на все сто уверен, что это был не призрак. В привидения я не верю. Тогда кто же это мог быть? Кто там шастает? Входить в дом не имел права никто, кроме законников. Да и как этот кто-то умудрился туда проникнуть? Ведь все двери и окна были так глухо заперты, словно по радио объявили торнадо. Вот над всем этим я и ломал голову. Но мне не полагалось самому выяснять, что там такое. Так что я бросил работу и полями дунул в Холкомб. А уж там я позвонил шерифу Робинсону и объяснил, что в доме Клаттеров кто-то ходит. Ну, они сразу же и приехали. Полиция штата. Шериф со своими молодчиками. Ребята из Канзасского бюро расследований. Эл Дьюи. Как только они начали окружать дом и готовиться к действию, открылась передняя дверь. Из нее вышел человек, которого никто из присутствовавших прежде никогда не видел, – мужчина лет тридцати пяти со скучными глазами, встрепанный, с кобурой на бедре, из которой торчал пистолет тридцать восьмого калибра.

Я думаю, нас всех в тот момент поразила одна и та же мысль: это он, тот, кто их убил, – продолжал мистер Хелм. – Он не шевелился. Стоял смирно. Помаргивал. У него забрали оружие, а потом начали задавать вопросы.

Мужчину звали Адриан – Джонатан Дэниел Адриан. Он направлялся в Нью-Мексико и в настоящее время не имел никакого постоянного адреса. С какой целью он влез в дом Клаттеров, и как, кстати, это ему удалось? Он показал как. (Поднял крышку водопроводного колодца и прополз по трубам в подвал.) Что касается того, зачем он это сделал, – прочел в газете об этом деле, и ему стало любопытно, просто захотелось посмотреть, где все это произошло.

– А потом, – вспоминает мистер Хелм, – кто-то спросил его, не автостопом ли он приехал? Не автостопом ли он добирается до Нью-Мексико? Нет, сказал он, у него своя машина, она стоит на подъездной

дорожке. Все пошли смотреть машину. Когда они увидели то, что было в машине, кто-то – возможно, это был Эл Дьюи – сказал ему, сказал этому Джонатану Дэниелу Адриану: «Что ж, мистер, похоже, нам с вами нужно кое-что обсудить». Потому что внутри машины они нашли дробовик 12-го калибра. И охотничий нож.

Гостиничный номер в Мехико. В номере стоит уродливое современное бюро с зеркалом голубоватого стекла, и за угол зеркала засунуто напечатанное типографским способом предупреждение администрации:

Su dia termina las 2 p. m.

Ваш день заканчивается в 2 часа пополудни.

Иными словами, гости должны освободить комнату к заявленному часу или внести плату за следующий день – роскошь, о которой нынешние постояльцы даже не помышляли. Они думали только о том, как им расплатиться с теми, кому они уже задолжали. Ибо все произошло именно так, как Перри и предсказывал: Дик продал машину, и уже через три дня от денег, чуть менее двухсот долларов, остались какие-то гроши. На четвертый день Дик отправился на поиски честного заработка, а вечером объявил Перри:

– Дурдом! Знаешь, сколько они платят? Какую ставку? Механику, специалисту? Два доллара в день. В гробу я видал эту Мексику! Нет, дружок, пора отсюда линять. Назад в Штаты. Больше я тебя слушать не намерен. Алмазы, потонувшие клады. Проснись, мой мальчик. Нет никаких сундуков с золотом. Никаких затонувших кораблей. А даже если и есть – черт, да ты ведь даже плавать не можешь.

И на следующий день, заняв денег у той своей невесты, что побогаче, – вдовы банкира, – Дик купил билеты на автобус, который должен был отвезти их через Сан-Диего до самой Калифорнии, в город Барстоу. «А оттуда, – сказал он, – двинем пешком».

Конечно, Перри мог настоять на своем, остаться в Мексике, и пусть Дик катится, куда его проклятой душе угодно. А что? Разве не был он всегда одиночкой, у которого нет настоящих друзей (кроме седовласого, сероглазого и «непревзойденного» Вилли-Сороки)? Но он боялся оставлять Дика одного; при мысли об этом он чувствовал, что его подташнивает, словно он пытается убедить себя «спрыгнуть с поезда, идущего со скоростью девяносто девять миль в час». В основе этих страхов была – по крайней мере, сам он считал именно так – недавно выросшая суеверная убежденность в том, что «то, что должно случиться, не случится» до тех пор, пока они с Диком «держатся вместе». Опять же суровость этого

«проснись», воинственность, с которой Дик высказал свое до той поры скрываемое мнение о мечтах и чаяниях Перри, – все это и злоба, сквозившая за всем этим, больно ранили и потрясли Перри, но они же и околдовали его, почти восстановив в нем прежнюю веру в крутого, прагматичного Дика, который, как «настоящий мужчина», всегда берет принятие решений на себя и которому Перри когда-то позволил собой командовать. Итак, с самого восхода солнца холодным декабрьским утром Перри бродил по нетопленому гостиничному номеру и укладывал свои пожитки – тихонько, чтобы не разбудить пару, спящую в одной из двух одинаковых кроватей: Дика и ту его нареченную, что помоложе, – Инес.

Об одной вещи ему больше не нужно было беспокоиться. В последний вечер их пребывания в Акапулько неизвестный вор украл гибсоновскую гитару – похитил в прибрежном кафе, где Перри, Отто, Дик и Ковбой прощались, чувствуя друг друга обильными возлияниями. И Перри испытывал горечь утраты. Он чувствовал себя, сказал он позже, «скверно и гадко», и пояснил: «Если гитара живет у тебя долго, как моя, и ты ее полируешь до блеска воском, принаравливаешь к ней голос, холишь ее, словно девушку, с которой собираешься связать свою судьбу, – можно сказать, что она становится для тебя святыней». Но как раз с похищенной гитарой не возникало никаких трудностей, а вот о его уцелевшей собственности этого никак нельзя было сказать. Поскольку теперь им с Диком предстояло путешествовать пешком или голосовать на шоссе, они определенно не могли взять с собой больше нескольких рубашек и нескольких пар носков. Остальную одежду придется отправлять почтой – и Перри уже собрал картонную коробку (в которую, помимо грязного белья, попали две пары сапог: одни, оставляющие отпечатки кошачьей лапки, другие с ромбическим рисунком на подошвах) и адресовал ее себе самому в Лас-Вегас, штат Невада, до востребования.

Но ему не давал покоя вопрос, что делать с такими дорогими ему памятными вещами – двумя огромными коробками с книгами, картами, пожелтевшими письмами, текстами песен, стихами и необычными сувенирами (подтяжки и ремень из кожи невадской гремучки, которую он собственноручно убил; эротические нэцкэ, купленные им в Киото; раскидистое карликовое деревце в горшке, тоже из Японии; медвежья лапа с Аляски). Наверное, лучше всего – по крайней мере, лучшее из того, что мог придумать Перри, – было бы оставить все это добро у «Иисуса». Под «Иисусом» подразумевался Хесус, бармен из кафе через дорогу от гостиницы, которого Перри считал «*miu simpatico*» и стоящим доверия. Ему можно было оставить коробки, не боясь, что он не вернет их по

первому требованию. (Перри собирался послать за ними, как только обзаведется постоянным адресом.)

Однако оставались еще некоторые гораздо более ценные вещи, рисковать которыми он не мог, и поэтому, пока любовники дремали, а время потихоньку подбиралось к двум пополудни, Перри просмотрел старые письма, фотографии, вырезки из газет и выбрал из них те, которые ему хотелось взять с собой. Среди них было плохо напечатанное сочинение, озаглавленное «История жизни моего мальчика». Автором этой рукописи был отец Перри, который, стремясь помочь сыну получить условное освобождение из исправительной колонии, написал ее в прошлом декабре и отправил в канзасскую комиссию по условному освобождению. Этот документ Перри читал по меньшей мере раз сто, и он никогда не оставлял его равнодушным:

«ДЕТСТВО. Рад сообщить вам все хорошее и плохое, как я это себе представляю. Да, Перри родился нормальным. Да, он родился вполне здоровым. Да, я заботился о нем как полагается, пока моя жена не превратилась в отвратительную алкоголичку, когда дети достигли школьного возраста. Хороший ли у него характер? – и да и нет, никогда не забывает, если его заденешь. Я всегда держал слово и требовал от него того же. Моя жена другая. Мы жили в деревне. Мы все рабочие люди. Я своих детей учил Золотому Правилу: живи и давай жить другим. Мои дети обычно указывали друг другу на неправильные поступки, и тот, кто провинился, всегда признавал вину и сам шел, чтобы его отшлепали. И обещал впредь хорошо себя вести. Они всегда справлялись с работой быстро и охотно, так что у них оставалось время для игр. По утрам первым делом – умыться, надеть чистую одежду, на этот счет я был всегда очень строг, и насчет того, чтобы плохо поступать с другими, а если чужие дети с моими плохо поступали, я своим запрещал с ними играть. Наши дети не доставляли нам хлопот, пока мы были вместе. Все началось, когда моя жена захотела податься в город и зажить вольной жизнью и с этой целью сбежала. Я ее отпустил, сказал ей „пока“, когда она взяла машину и оставила меня (это было во времена Депрессии). Мои дети ревели во весь голос. Она только ругалась на них и говорила, что они все равно потом сбегут от нее ко мне. Она была сумасшедшая и сказала, что научит детей меня ненавидеть, и научила всех, кроме Перри. Ради любви к моим детям я через несколько месяцев отправился их искать и разыскал в Сан-Франциско, тайком от жены. Я старался видаться с ними в школе. Моя жена велела учителю не позволять мне видаться с ними. Но я все равно сумел к ним пробраться на школьный двор и был поражен, когда они сказали мне:

„Мама нам не велела с тобой разговаривать". Все, кроме Перри. Он был другой. Он меня обнял и хотел прямо тогда же со мной убежать. Я сказал ему „нет", но сразу после уроков он побежал к моему адвокату, мистеру Ринсо Турко. Я отвел моего мальчика назад к матери и уехал из города. Потом Перри говорил мне, что мать сказала ему, чтобы он искал себе другой дом. Пока мои дети были с ней, они бегали без присмотра где им вздумается, и я понимал, что Перри живется несладко. Я хотел, чтобы жена подала на развод, что она и сделала через год или около того. Она пила и изменяла мне, живя с молодым мужчиной. Я оспорил условия развода и выиграл полную опеку над детьми. Перри я забрал к себе, а остальных детей отдал в семьи, потому что я не мог всех взять к себе, и поскольку они наполовину индейцы, о них хорошо заботилась служба социального обеспечения.

Это было во время Депрессии. Я работал на Управление общественных работ. Платили мне очень мало. В то время у меня был кой-какой участок и маленький домик. Мы с Перри жили в согласии. Но мое сердце было разбито, потому что я любил и других своих детей. Поэтому я отправился в странствия, чтобы обо всем забыть. Я зарабатывал нам двоим на жизнь. Я продал свою собственность, и мы стали жить в „доме на колесах". Перри посещал школу, когда это было возможно. Он не очень любил ходить в школу. Обучался он быстро и никогда не обижал других детей. Только когда к нему приставал Хулиган. Перри был маленького роста, и поскольку он был новенький, его пытались дразнить. Но он показал, что готов за себя постоять. Я воспитывал это в своих детях. Я всегда говорил им: никогда первыми не лезьте в драку, узнаю – поколочу. Но если другие дети начинают драку, покажи все, на что ты способен. Один раз мальчик в два раза старше Перри подбежал к нему и стукнул, и к его удивлению Перри повалил его и задал ему хорошую трепку. Я дал своему парню несколько советов, как драться. Потому что я когда-то занимался боксом и борьбой. Начальница школы и все дети наблюдали за их дракой. Начальнице нравился большой мальчик. Она не могла видеть, что мой маленький Перри его лупит. После этого Перри для всех в школе стал Королем. Если какой-нибудь большой мальчик пытался обидеть малыша, Перри сразу приходил на выручку. Даже Большой Хулиган боялся Перри и вел себя тихо. Но начальницу школы это огорчало, и она пришла ко мне жаловаться, что Перри дерется в школе. Я сказал ей, что я все знаю и что я не собираюсь позволять моему сыну получать взбучку от старших мальчиков. Я также спросил ее, почему она позволяет этому Хулигану бить других детей. Я сказал ей, что Перри имел право защищать себя, Перри

никогда не начинал первый и что я сам в этом деле разберусь. Я сказал ей, что моего сына очень любят все соседи и их дети. Я также сказал ей, что собираюсь скоро забрать Перри из ее школы и уехать в другой штат. Что я и сделал. Перри далеко не ангел, он шkodил не меньше, чем другие дети. Но что правильно, то правильно, а что неправильно, то неправильно. Я не покрываю его дурных поступков. Он должен сполна искупить свою вину, когда он поступает дурно, закон превыше всего, и он это знает.

ЮНОСТЬ. Перри служил в торговом флоте во время Второй мировой. Я перебрался на Аляску, и когда он пришел из армии, то приехал ко мне туда. Я бил пушных зверей, а Перри первую зиму работал в Аляскинской дорожной комиссии, потом он ненадолго получил работу на железной дороге. Он не мог найти работу по вкусу. Да – он иногда давал мне деньги, когда они у него были. Он также посылал мне 30 долларов в месяц, пока воевал в Корее – он был там с начала до конца и демобилизовался в Сиэтле. С честью, насколько я знаю. У него есть техническая жилка. Ему всегда нравились бульдозеры, землечерпалки, экскаваторы, тяжелые грузовики. Он в них разбирается, потому что приобрел хороший опыт. Он немного рискованный и любит быстрые мотоциклы и автомобили. Но после того, как он почувствовал на себе, к чему приводит езда на большой скорости, сломал обе ноги и повредил бедро, я уверен, что он стал осмотрительней.

ОТДЫХ – ИНТЕРЕСЫ. Да, у него было несколько подруг, но если только ему казалось, что девушка его не уважает, он с ней расставался. Он никогда не был женат, насколько я знаю. Мои разногласия с его матерью научили его бояться брака. Я – трезвенник, и, насколько мне известно, Перри тоже никогда не был пьяницей. Он вообще многим похож на меня. Он любит хорошую компанию – простых людей, любит меня, любит быть один и любит работать на самого себя. Так же, как я. Я – мастер на все руки, если можно так выразиться, умелец каких мало, и Перри тоже. Я научил его, как заработать на жизнь ремеслом охотника, старателя, плотника, лесоруба, лошаdnика и т.д. Я умею готовить еду и его научил, пусть не профессионально, а просто стряпать для себя. Печь хлеб и т.д. Охотиться, ловить рыбу, ставить силки и многому другому. Как я уже сказал, Перри любит быть сам себе хозяином, и если ему дать работу, которая ему по нраву, и сказать, что нужно сделать, его можно оставить одного, и он будет гордиться тем, что ему доверили дело. Если он видит, что босс его работой доволен, он ради него из кожи вылезет. Но с ним нельзя обращаться жестко. Ему надо ласково объяснить, чего вам от него нужно. Он очень чувствительный, его легко задеть, и меня тоже. Я переменил несколько работ, и Перри тоже, и все по вине начальства. Перри

мало довелось учиться, и мне тоже, я окончил всего два класса. Но вы не должны думать, что мы какие-то темные. Я самоучка, Перри тоже. Бумажная работа не для нас. Но рабочие профессии мы знаем все, а если чего не знаем, так покажите мне или ему, как что делать, и мы за пару дней станем в этом деле доками. Книги нам ни к чему. Мы перенимаем опыт на месте, если нам надо чему научиться. Прежде всего работа должна нравиться. Но теперь он калека и уже не молод. Перри знает, что его не возьмет на работу ни один подрядчик, калек не берут работать на станках, разве что попадетсЯ знакомый подрядчик. Он начинает это понимать, он начинает искать более легкий путь в жизни, чем у меня. Я в этом просто уверен. Я также думаю, что скорость его больше не привлекает. Я это вижу по его письмам. Он пишет: «Будь осторожней, папа. Не надо ехать, если тебе хочется спать, лучше остановись на обочине и отдохни». Это те же самые слова, которые я ему всегда говорил. Теперь он говорит их мне. Он усвоил урок.

Как мне кажется, Перри получил еще один урок, которого никогда не забудет. Свобода для него все, и он никогда больше не позволит себе угодить за решетку. Я совершенно в этом уверен. Я заметил, что он стал говорить совсем по-другому. Он глубоко сожалеет о своей ошибке, о чем сам мне сказал. Также я знаю, что ему стыдно встречаться с теми, кто его знал раньше, и что он им не расскажет, что побывал в тюрьме. Он просил, чтобы я не говорил об этом его друзьям. Когда он написал мне, что оказался за решеткой, я сказал ему: это тебе урок. Я рад, что все сложилось именно так, а то ведь могло быть и хуже. Его могли пристрелить. Я также велел ему переносить заключение с улыбкой. Сам виноват. Сам должен был думать. Я тебе не велел воровать, так что не жалуйся, что тебе в тюрьме тяжело. Будь хорошим мальчиком в тюрьме – и он обещал, что будет. Я надеюсь, он примерный заключенный. Я уверен, что больше его никто не подговорит украсть. Закон главнее всего, он это знает. Он свою свободу любит.

Мне хорошо известно, каким Перри бывает добрым, если с ним правильно обращаться. А если обращаться с ним дурно, он превращается в настоящую бензопилу. Если вы его друг, можете доверить ему сколько угодно \$. Он сделает, как вы ему скажете, и не украдет у своего друга ни цента и ничего другого. Раньше такое случалось. Я искренне надеюсь, что остальную часть своей жизни он проживет честным человеком. Когда он был маленьким, он воровал в компании с другими мальчишками. Спросите Перри, хорошим ли я был ему отцом, спросите его, хорошо ли с ним обращалась его мать во Фриско. Перри знает, что для него лучше. Вы его

отлупили на всю жизнь. Он это чувствует. Он не остолоп. Он знает, что жизнь слишком скупа на радости, чтобы провести ее за решеткой.

РОДСТВЕННИКИ. У Перри есть одна сестра, Бобо. Она замужем. Бобо и я, его отец, – вот и вся его родня. Бобо и ее муж живут самостоятельно. У них собственный дом, и я тоже способен сам о себе позаботиться, пока здоров. Я продал свой домик на Аляске два года назад. В следующем году я собираюсь купить себе другой участок. Я нашел несколько месторождений и надеюсь получить с них кое-какую прибыль. Кроме того, я продолжаю искать новые. Также меня просят написать книгу о художественной резьбе по дереву и про знаменитую Хижину Зверолова, которую я построил на Аляске, потому что мою ферму знают все туристы, которые едут в Анкоридж на машинах, и, наверное, я напишу. Всем, что у меня есть, я поделюсь с Перри. У меня будет пища, значит, и у него будет пища. Пока я жив. А когда я умру, ему отдадут мою страховку, чтобы он мог начать ЖИЗНЬ заново, когда выйдет на волю. Если я до того времени не доживу».

Эта биография всегда вызывала в Перри шквал эмоций – прежде всего жалость к себе, любовь и ненависть, которые возникали вначале в равных долях, но в конечном счете последняя стала преобладать. И большинство воспоминаний были неприятными, хотя не все. На самом деле первая часть его жизни была в его глазах бесценна – вся состояла из аплодисментов и славы. Ему было года три, и он сидел со своими сестрами и старшим братом на трибуне открытого родео; на арене стройная индейская девушка скакала на дикой лошади, «норовистом мустанге», и ее распущенные волосы взметались, словно у танцовщиц фламенко. Ее звали Фло Бакскин, и была она профессиональной объездчицей на родео, «чемпионкой по усмирению мустангов». Тем же самым занимался ее муж, Текс Джон Смит; во время турне по западным штатам красивая индианка и симпатичный ирландский ковбой встретились, поженились, а потом и завели тех самых четверых детей, которые сидели на трибуне. (И Перри помнил много других родео – снова видел, как его отец скачет в круге раскручивающегося лассо или как мать, звеня серебряными браслетами с бирюзой, выполняет разные трюки на бешеной скорости, пугая своего младшего сына и заставляя толпы зрителей в городах от Техаса до Орегона вскакивать с места и аплодировать.)

До того как Перри исполнилось пять лет, команда «Текс и Фло» продолжала выступать на арене. И такая жизнь вовсе не была «галлоном мороженого», как однажды сказал Перри:

– Мы вшестером ездили в старом грузовике, в нем же и спали, а жили иногда на одних кашах, шоколадных батончиках и сгущенке. Сгущенка «Хокс Бренд», так это называлось, и из-за нее я посадил почки – сахара там было много, – поэтому вечно писался в постель.

И все же такая жизнь не казалась горькой, особенно маленькому мальчику, гордившемуся родителями, восхищавшемуся их талантом и храбростью, – уж во всяком случае, она была счастливее той жизни, что пришла на смену. Ибо Текс и Фло оба были вынуждены из-за болезни бросить свое ремесло и поселиться в окрестностях Рено, штат Невада. Они стали скандалить, Фло «взялась за виски», а потом, когда Перри было уже шесть, она уехала в Сан-Франциско, забрав с собой детей. Это произошло точно так, как писал старик: «Я ее отпустил, сказал ей „пока“, когда она взяла машину и оставила меня (это было во времена Депрессии). Мои дети ревели во весь голос. Она только ругалась на них и говорила, что они все равно потом сбегут от нее ко мне». И, действительно, Перри в течение следующих трех лет несколько раз убегал, чтобы разыскать своего потерянного отца, ибо мать он тоже потерял и теперь учился ее «презирать»; спиртное стерло ее черты, раздуло фигуру некогда стройной, подвижной индейской девушки, «сквасило ее душу», заточило язык до настоящего жала и настолько разъело ее чувство собственного достоинства, что она больше не трудилась спрашивать имена у тех грузчиков и водителей троллейбусов, которые принимали то, что она предлагала, не тратясь на ухаживания (единственное, чего она требовала, – выпить с нею, а потом потанцевать под аккомпанемент потрепанной «Виктролы»).

Поэтому, как вспоминал Перри, «я всегда думал о папе, надеялся, что он приедет и заберет меня, и я помню так, словно все это было секунду назад, тот миг, когда снова его увидел. Он стоял на школьном дворе. Это было как сильный удар битой по мячу. Ди Маджио. Только папа мне не помог. Сказал, чтобы я вел себя хорошо, обнял и ушел. Вскоре после этого мать отдала меня в католический приют. Там меня постоянно мучили Черные Вдовы. Били меня за мокрую постель. Вот за что я теперь ненавижу монахинь. И Бога. И Церковь. Но позже я обнаружил, что есть люди и похуже. Спустя пару месяцев меня из приюта выперли, и она (мать) отдала меня туда, где было еще ужаснее. Детский интернат Армии спасения. Там меня тоже ненавидели. За то, что мочился в кровать. И за то, что я наполовину индеец. Там была одна нянька, которая вечно меня обзывала ниггером и говорила, что нет никакой разницы между черномазыми и индейцами. Черт побери, это была настоящая мегера! Она делала так: нальет ванну ледяной воды, сунет меня туда и держит, пока я не

посинею и не начну тонуть. Но потом этой суке досталось. Потому что я схватил воспаление легких. Чуть копыта не откинул. Два месяца в больнице пролежал. И как раз когда я болел, вернулся папа. Когда я поправился, он меня забрал».

Почти год отец с сыном жили вместе в домике около Рено, и Перри ходил в школу.

– Я окончил три класса, – вспоминал Перри. – И тут действительно пришел конец учебе. Больше я в школу не ходил, потому что тем летом папа построил что-то вроде трейлера, который он называл «домом на колесах». В нем было две койки и маленькая кухонька. Плита там была хорошая. Готовить можно было все что угодно, хлеб свой печь. Я заготавливал разные соленья и варенья, мочил яблоки, варил мармелад из дичков. Короче говоря, следующие шесть лет мы колесили по всей стране. Никогда нигде надолго не останавливались. Если мы где-нибудь задерживались подольше, на папу начинали смотреть как на чудака, а я это ненавидел, меня это ранило. Потому что тогда я еще любил папу. Даже при том, что он бывал со мной груб. Только и знал, что командовать. Но я любил тогда папу. Так что я всегда был только рад, когда мы снимались с места и снова переезжали.

Переезжали в Вайоминг, Айдахо, Орегон, иногда на Аляску. На Аляске Текс прививал сыну мечты о золоте, навыки охоты в песчаных руслах ручьев талой воды, и там же Перри научился стрелять из ружья, свежевать медведя, выслеживать волков и оленей.

– Господи, как же нам бывало холодно, – вспоминал Перри. – Мы с отцом спали в обнимку, завернувшись в одеяла и медвежьи шкуры. По утрам я еще до зари вставал, сметал свой завтрак: печенье с патокой и жареное мясо, – а потом мы отправлялись на промысел. Все бы ничего, да только я вырос: чем старше, тем меньше я слушался папу. С одной стороны, он знал все, с другой – не знал ничего. О многих чертах моего характера папа даже не подозревал. Не понимал меня ни на йоту. Например, я умел играть на гармонике с той секунды, как взял ее в руки. И на гитаре тоже. У меня были большие способности к музыке. Папа их не замечал и не хотел замечать. И то, что я люблю читать, тоже. Я целенаправленно пополнял свой словарный запас, писал песни, рисовал. Но мне никогда не помогали – ни он, ни еще кто-нибудь. Ночами я часто лежал без сна – отчасти потому, что пытался справиться со своим пузырем, а отчасти потому, что не мог перестать думать. Всегда, когда было так холодно, что трудно было дышать, я думал о Гавайях. О кино, которое я видел. С Дороти Ламур. Я хотел туда, где солнце. И где на людях из одежды

только трава и цветы.

Одетый значительно теплее, Перри в один душистый вечер военной поры в 1945 году оказался в Гонолулу, в комнате, где ему сделали татуировку змеи и кинжала на левой руке. Он попал туда следующим маршрутом: с отцом в лодке до Анкориджа, автостопом из Анкориджа до Сиэтла, в контору, где вербовали в торговый флот. «Но я бы никогда туда не пошел, если бы знал, с чем мне придется столкнуться», – сказал однажды Перри.

– Работа меня не раздражала, и моряком мне быть нравилось – порты, то, се. Но «сестрички» не давали мне прохода. Шестнадцатилетний мальчик, к тому же еще маленького роста. Я мог за себя постоять, но многие «сестрички» совсем не похожи на женщин. Черт, я знал таких, которые могли выбросить в окно бильярдный стол. А за ним и пианино. Это такие девочки, от которых можно здорово натерпеться, особенно если они соберутся вдвоем и разом на тебя набросятся, а ты еще совсем ребенок. Будет отчего думать о самоубийстве. Через несколько лет, когда я попал в армию – это когда меня послали в Корею, – там у меня возникла та же проблема. Я был в армии на хорошем счету, уж не хуже прочих; меня наградили «Бронзовой Звездой». Но я так и не заслужил повышения. За четыре года, да еще при том, что я принимал участие в этой гребаной войне, я должен был по крайней мере получить капрала. Но так и не получил. А знаете почему? Потому что наш сержант был очень жестокий. Потому что я бы под него не подлег. Господи, до чего ж я ненавижу все эти дела. Просто не переношу. Впрочем – не знаю. Некоторые гомики мне даже нравились. Пока не начинали ко мне лезть. Самый лучший из моих друзей, и чуткий, и действительно умный, тоже, как выяснилось, был гомик.

В промежутке между увольнением из флота и уходом в армию Перри помирился с отцом, который, когда сын его покинул, перебрался в Неваду, а потом вернулся на Аляску. В 1952 году, когда Перри демобилизовался, старика захватила идея закрепиться на одном месте навсегда.

– Папа был как в лихорадке, – вспоминал Перри. – Написал мне, что купил участок земли на шоссе недалеко от Анкориджа. Говорил, что собирается построить охотничий домик для привлечения туристов. «Хижина Зверолова» – так он хотел его назвать. И попросил меня поторопиться и приехать к нему, чтобы помочь с постройкой. Он был уверен, что мы на этом разбогатеем. Ну и вот, а пока я был еще в армии, в Форт-Льюисе, штат Вашингтон, я купил мотоцикл (их надо было назвать мертвециклами) и, как только демобилизовался, поехал на Аляску. Доехал до Беллингема. Как раз до границы. Шел дождь. И мотоцикл занесло.

Мотоцикл занесло, и это на год отсрочило воссоединение Перри с отцом. После операции он пролежал полгода в больнице, а остальные полгода прожил, набираясь сил, в лесу около Беллингема, в доме молодого индейского лесоруба и рыбака.

– Джо Джеймс. Он и его жена меня поддержали. Разница в возрасте между нами была не больше трех лет, но они забрали меня к себе в дом и обращались со мной, как будто я им родной сын. В смысле, это мне нравилось. Потому что они своих детей любили и о них заботились. В то время у них было четверо ребятишек; теперь их уже семь. Они были очень добры ко мне, Джо и его семья. Я ходил на костылях и был практически беспомощен. Мне приходилось целыми днями сидеть. И чтобы чем-то себя занять, чтобы не сидеть без дела, я придумал своего рода школу, где учениками были дети Джо и их друзья, и мы проводили свои занятия в комнате. Я давал уроки игры на губной гармошке и гитаре, рисования и чистописания. Все говорят, что у меня красивый почерк. Это правда, а все потому, что однажды я купил учебник по каллиграфии и занимался, пока не научился писать точно как там. Еще мы на этих занятиях читали – дети, каждый по очереди, а я поправлял, если они ошибались. Нам было весело. Я люблю детей. Маленьких. И это было хорошее время, но потом пришла весна. Ходить мне было больно, но идти я мог. И меня по-прежнему ждал папа.

Ждал, но не сложа руки. К тому времени, когда Перри добрался до участка, где предполагалось поставить охотничий домик, его отец в одиночку завершил самую трудную работу – расчистил землю, обтесал бревна, отбил и свез в кучу полный грузовик природного камня.

– Но без меня он не начинал строить. Мы с ним от начала до конца эту чертову хижину построили. Сами. Только иногда нам помогал один индеец. Папа был похож на маньяка. Что бы ни происходило вокруг – бураны, ливни, ветра такие, что деревья раскалывались пополам, – мы все равно делали дело. В тот день, когда была готова крыша, папа сплясал на ней джигу, кричал и смеялся. Что ж, в конце концов получилось у нас нечто исключительное. В доме могло спать двадцать человек. В столовой был большой камин. Был зал для коктейлей. Зал для коктейлей «Тотемный Столб». В нем я должен был развлекать клиентов. Петь и тому подобное. В конце 1953 года мы открыли свое заведение.

Но долгожданные охотники не объявлялись, и хотя обычные туристы, которые тонкой струйкой текли по шоссе, время от времени останавливались, чтобы сфотографировать невероятно простую Хижину Зверолова, они редко оставались на ночлег.

– Некоторое время мы себя обманывали. Продолжали надеяться, что поймаем что-нибудь. Папа попытался как-то украсить место. Сделал Сад Воспоминаний. С Колодцем Желаний. Расставил красочные указатели на шоссе. Но все это ни на грош не увеличило нашу прибыль. Когда папа понял это – увидел, что все впустую, что все наши труды были пустой тратой денег и сил, – он начал вымещать зло на мне. Гонять меня в хвост и в гриву. Орать на меня. Говорил, что я не выполняю свою часть работы. Он был виноват не больше, чем я. В таком положении, без денег, при плохой жрачке, мы поневоле друг на друга окрысились. Предел настал, когда мы стали по-настоящему голодать. И ссора у нас вышла именно из-за еды. Якобы. Из-за печенья. Папа выхватил у меня из рук печенье и сказал, что я слишком много ем, жадина, эгоистичный ублюдок: уходи, дескать, чтоб я тебя здесь больше не видел. Он продолжал в таком духе, и наконец я не выдержал. Мои руки вдруг оказались у него на горле. Руки – сам я не управлял ими. Они хотели задушить его до смерти. Папаша, однако же, у меня сильный и драться умеет. Он вырвался и побежал за ружьем. Вернулся и наставил на меня дуло. Сказал мне: «Смотри на меня, Перри. Я последняя живая тварь, которую ты видишь». А я стоял как истукан. Но потом он понял, что ружье даже не заряжено, и заплакал. Сел и захныкал как ребенок. Тут я понял, что больше не злюсь на него. Мне было его жалко. Нас обоих. Но что толку – я ничего не мог сказать. Я пошел прогуляться. Был апрель, но в лесу еще лежал глубокий снег. Я ходил почти до ночи. Когда я вернулся, свет не горел и все двери были заперты. И все мои вещи валялись на снегу. Папа их вышвырнул. Книги. Одежда. Все. Я их так и оставил. Кроме гитары. Я поднял гитару и вышел на шоссе. В кармане у меня не было ни доллара. Около полуночи остановился грузовик. Водитель спросил, куда я направляюсь. Я ответил: «Я направляюсь туда, куда ты едешь».

Через несколько недель, покинув гостеприимный кров все тех же Джеймсов, Перри выбрал себе пункт назначения – город Вустер в Массачусетсе, где жил его «армейский приятель», который, как он рассчитывал, мог бы его приютить и помочь ему найти хорошо оплачиваемую работу. Различные отклонения от курса продлили его путешествие на восток; он мыл посуду в ресторане в Омахе, закачивал горючее в гараже в Оклахоме, проработал месяц на ранчо в Техасе. К июлю 1955 года по пути в Вустер он приехал в маленький канзасский городок Филипсбург, и там судьба, в образе «дурной компании», наконец себя проявила.

– Фамилия его была Смит, – говорил Перри. – Как и у меня. А имя я

даже не могу вспомнить. Он был просто одним из тех, кто повстречался мне на пути. У него была машина, и он сказал, что подбросит меня аж до Чикаго. Как бы там ни было, пересекая Канзас, мы приехали в этот Филипсбург и остановились посмотреть карту. Кажется, было воскресенье. Магазины не работали. На улицах тишина. Мой дружок, чтоб он был здоров, осмотрелся, и у него родилось предложение.

Предложение заключалось в том, чтобы обокрасть ближайшее здание, компанию по продаже свечей. Перри согласился, и они ворвались в пустое помещение и похитили разные конторские принадлежности (пишущие машинки, арифмометры). И все бы ничего, если бы только несколько дней спустя воры не проигнорировали дорожный знак в городе Сент-Джозеф, штат Миссури.

– Барахло так и лежало в машине. Полицейский, который нас остановил, стал допытываться, откуда мы все это взяли. После небольшой проверки нас, как говорится, «вернули» в Филипсбург. Тамошняя тюрьма оказалась очень даже славной. Если кто любит тюрьмы.

За сорок восемь часов Перри и его компаньон успели обнаружить открытое окно, вылезти из него, угнать машину и отправиться на северозапад в Маккук, штат Небраска.

– Довольно скоро мы с мистером Смитом разделились. Я не знаю, что с ним было дальше. Мы оба попали в список разыскиваемых ФБР. Но насколько я знаю, его они так и не догнали.

Однажды дождливым днем ноября следующего года автобус доставил Перри в Вустер, индустриальный городок в Массачусетсе, где улицы такие крутые и горбатые, что даже в самый погожий денек кажутся унылыми и враждебными.

– Я нашел дом, где жил мой друг. Мой армейский приятель из Кореи. Но там мне сказали, что он выехал шесть месяцев назад и они понятия не имеют, куда он девался. Беспросветный мрак, горькое разочарование, конец света и так далее. В связи с этим я отправился в винный магазин и купил полгаллона красненького и, вернувшись на автобусную остановку, сел там и стал пить вино, чтобы хоть немного согреться. Мне было хорошо, пока не пришел какой-то мужик и не арестовал меня за бродяжничество.

В полиции Перри записали как «Боба Тернера» – так он себя назвал, потому что его искало ФБР. Он провел в тюрьме четырнадцать дней, был оштрафован на десять долларов и в точно такой же дождливый ноябрьский день покинул Вустер.

– Я отправился в Нью-Йорк и снял номер в гостинице на Восьмой авеню, – сказал Перри. – Недалеко от Сорок второй улицы. В конце концов

я нашел ночную работу в пассаже дешевых лавчонок. Тут же, на Сорок второй улице, рядом с «Автоматом» – так называлось место, где я питался, когда было на что. За три месяца я так ни разу и не выходил за пределы Бродвея. Прежде всего потому, что у меня не было нормальной одежды. Только западный прикид – джинсы и сапоги. Но на Сорок второй улице никому до этого не было дела, там все стерпят. В жизни своей больше не видел столько наркоманов.

Он прожил зиму в этом уродливом, освещенном неонам районе, где воздух пропах воздушной кукурузой, хот-догами и «фантой». Но потом, в одно яркое мартовское утро на грани весны, как вспоминал сам Перри, «меня разбудили двое фэбээровских ублюдков. Арестовали меня в гостинице. Хлоп! – и меня выдали канзасской полиции. Привезли в Филипсбург. Там все та же славная тюрьма. Они меня просто пригвоздили к кресту – воровство, побег из тюрьмы, угон автомобиля. Впаяли мне „от пяти до десяти“ – и в Лансинг. Оттуда я написал папе. Сообщил ему свои новости. И еще написал Барбаре, моей сестре. Больше у меня никого не осталось. Джимми покончил с собой. Ферн выпала из окна. Мать умерла. К тому времени она была мертва уже восемь лет. Все ушли, кроме папы и Барбары».

Письмо от Барбары лежало в стопке тех бумаг, которые Перри не захотел оставлять в гостиничном номере в Мехико. Письмо, написанное приятным разборчивым почерком, было датировано 28 апреля 1958 года. В то время адресат сидел в тюрьме уже третий год:

Дорогой брат Перри,

мы получили сегодня твое 2-е письмо, прости что не ответила на первое. У нас здесь, как и у вас, становится все теплее, и наверное, у меня начнется сенная лихорадка, но ничего, еще посмотрим, кто кого. Твое первое письмо меня, как и следовало ожидать, очень встревожило, но не писала я тебе не поэтому – я постоянно занята детьми и никак не могу выкроить время для того, чтобы сесть и сосредоточиться на письме. Донни научился открывать двери и встает на стулья и другую мебель, а я без конца волнуюсь, что он свалится.

Иногда получается вывести детей в сад поиграть, но всегда мне приходится за ними присматривать, потому что я боюсь, что без меня они поранятся. Но ничто не вечно, и я знаю, что сама же буду жалеть об этом времени, когда они станут самостоятельно бегать по улицам и я не буду знать, где они. Вот тебе, если интересно, кое-какая статистика:

Рост (дюймы) Вес (фунты) Размер обуви

Фредди 36-1/2 26-1/2 7-1/2 уз.

Малыш 37-1/2 26-1/2 8 уз.

Донни 3426 6-1/2 шир.

Как видишь, Донни довольно крупный мальчик для своих 15 месяцев. У него уже 16 зубов, и он такой жизнерадостный и солнечный, что его невозможно не любить. Он ходит в одежде того же размера, что и Малыш с Фредди, но штаны ему пока длинноваты.

Я собиралась написать тебе большое письмо, так что, вероятно, мне придется делать это с перерывами, и сейчас как раз один из них настанет, потому что подошло время купать Донни – Малыша и Фредди я вымыла утром, потому что сегодня довольно холодно и на улицу они не выходили. Я скоро вернусь.

Для начала о том, как я печатаю на машинке. Не стану врать, я не настоящая машинистка, печатаю одним пальцем, если постараюсь, то пятью, и хотя я помогаю Папе Фреду печатать документы, у меня уходит час на то, что у профессионалов занимает 15 минут. Если серьезно, то я не имею ни времени, ни желания достигать в этом деле мастерства. Но, по-моему, здорово, что ты увлекся машинописью и научился печатать лучше любой машинистки. Мы всегда обладали способностью быстро схватывать новое (Джимми, Ферн и мы с тобой), и во всех нас была доля природного артистизма – помимо прочих талантов. Даже в маме с папой.

Я действительно считаю, что нам некого винить в том, что мы делаем со своими жизнями. Ученые доказали, что примерно в семь лет ребенок достигает «возраста разума» – это значит, что в этом возрасте мы понимаем и знаем разницу между «хорошо» и «плохо». Конечно – среда играет ужасно важную роль в нашей жизни, как в моей, например, сыграл важную роль женский монастырь, и я этому рада. Что касается Джимми – он был самый сильный из всех нас. Я помню, как он работал и ходил в школу, хотя никто ему не говорил, что нужно делать, он по своей воле что-то из себя делал. Мы никогда не узнаем причины того, что с ним произошло, почему он сделал то, что сделал, но мне до сих пор мучительно о нем думать. Для меня это была такая утрата. Но мы не умеем контролировать свои слабости, и это также касается Ферн и сотен тысяч других людей, включая нас с тобой, – поскольку у всех у нас есть свои слабые стороны. В твоем случае – я не знаю, в чем конкретно твоя слабость, только я считаю, что **НЕ СТЫДНО, КОГДА У ТЕБЯ ГРЯЗНОЕ ЛИЦО, СТЫДНО, КОГДА ТЫ ЕГО НЕ МОЕШЬ.**

Со всей откровенностью и любовью к тебе, Перри, – ты ведь теперь у меня единственный брат, дядя моих детей, – я не могу признать твое

отношение к нашему отцу или к твоему заключению СПРАВЕДЛИВЫМ или естественным. Ты можешь, конечно, обижаться на меня, негодовать – я понимаю, что всякому человеку неприятно, когда его критикуют, и вполне естественно сердиться на того, от кого эта критика исходит, поэтому я готова к тому, что произойдет одно из двух: а) ты больше мне не напишешь вообще, либо б) напишешь письмо, где выскажешь все, что ты обо мне думаешь.

Надеюсь, я ошибаюсь, искренне надеюсь, что ты хорошенько поразмыслишь над моими словами и попытаешься понять чувства другого человека. Пожалуйста, пойми, что я прекрасно знаю, что я для тебя не авторитет, я не могу похвастать особым интеллектом или образованностью, но я считаю себя нормальным человеком, обладающим способностью логически мыслить и желанием жить согласно заповедям Бога и людей. Также верно, что я несколько раз «оступалась», и это нормально – потому что, как я уже сказала, я человек и поэтому не лишена человеческих слабостей, но, повторяю: не стыдно, когда лицо грязное, стыдно, когда его не моешь. Никто лучше меня самой не знает моих недостатков и ошибок, так что обо мне говорить не будем.

Теперь первое и самое важное из того, что я хочу сказать, – папа не может отвечать за твои дурные поступки или добрые дела. То, что ты делаешь, как хорошее, так и плохое, это твое личное деяние. Насколько я знаю, ты жил так, как тебе нравилось, не обращая внимания на внешние обстоятельства, на людей, которые тебя любили, – и причинял им боль. Не знаю, сознаешь ты это или нет, но меня, так же как и папу, в тебе смущает не то, что ты что-то натворил, НО ТО, что ты не выказал ни малейших признаков ИСКРЕННЕГО сожаления и проявил полное неуважение к каким бы то ни было законам, людьми вообще к миру. В твоём письме отчетливо звучит, что во всех твоих проблемах виноват кто-то другой, но только не ты. Я признаю, что ты умный, у тебя большой запас слов, и я чувствую, что ты способен сделать все, за что возьмешься, и сделать хорошо, но что конкретно ты хотел бы делать и желаешь ли ты работать и честно трудиться для достижения своей цели? Успех никогда не дается легко, я уверена, что ты неоднократно это слышал, но вреда не будет, если услышишь еще разок.

Если хочешь знать правду, по поводу папы я тебе могу сказать вот что: ты разбил ему сердце. Он сделал бы все на свете, лишь бы тебя выпустили и к нему вернулся его сын, но боюсь, что ты только причинишь ему новые огорчения. Он не становится с годами моложе и здоровее и, как говорится, уже не может так «приподняться», как в былые дни. Порой он

бывал не прав, и он сам это понимает, но независимо от того, что он имел и куда он ехал, он делил свою жизнь и свое имущество с тобой, а ведь ни для кого другого он бы этого не сделал. Я не хочу сказать, что ты ему за это обязан по гроб жизни, но ты обязан УВАЖАТЬ его и быть с ним ВЕЖЛИВЫМ. Я лично горжусь папой. Я люблю его и уважаю как отца, и мне жаль только, что он предпочел быть Одиноким Волком, хотя мог бы поселиться у нас и получать нашу любовь, вместо того чтобы сидеть одному в своем маленьком трейлере и тосковать в ожидании твоего возвращения. Я волнуюсь за него, и когда я говорю «я», я имею в виду еще и мужа, потому что мой муж уважает нашего папу. За то, что он Мужчина. Верно, папа не получил образования, но в школе нас учат только узнавать и писать разные слова, а тому, что эти слова значат в реальной жизни, может научить только ЖИЗНЬ и опыт. Папа пожил на свете, и ты только показываешь свое невежество, когда говоришь, что он необразован и неспособен понять «научное значение и т. д.» проблем бытия. Для ребенка мать – единственный человек, который поцелует болячку и ему сразу полегчает, – а попробуй-ка объяснить это с научной точки зрения.

Извини, что я с тобой так строго, но я чувствую, что должна высказать все начистоту. Мне жаль, что это письмо будет подвергнуто цензуре [тюремными властями], искренне надеюсь, что оно не помешает твоему освобождению, но я считаю, что ты обязан знать и понимать, как ужасно ты нас огорчил. Папа для меня много значит, потому что я предана своим близким, но ты единственный, кого папа любит, – короче говоря, его «семья». Он, конечно, знает, что я люблю его, но, как ты сам понимаешь, между нами нет теплых отношений.

Гордиться тем, что ты сидел в тюрьме, глупо, но тебе нужно постараться пережить свое заключение, и это возможно, но только если ты не будешь думать, что все вокруг тупые, необразованные и черствые. Ты – человек, ты обладаешь свободой воли, которая ставит тебя выше животного уровня. Но если у тебя нет сочувствия и сострадания к ближнему – ты становишься тем же животным: «око за око, зуб за зуб», и тогда ты не обретешь ни счастья, ни душевного покоя.

Что касается ответственности – ее никто не любит, но все мы несем ответственность перед обществом, в котором живем, и должны соблюдать его законы. Когда ты начинаешь брать на себя ответственность за дом и детей или свое дело, тогда ты и превращаешься из мальчика в Мужчину – ведь ты, конечно, понимаешь, какой бы начался хаос, если бы каждый человек сказал: «Я хочу жить сам

по себе, без ответственности, говорить все, что мне вздумается, и поступать так, как мне одному нужно». Мы все вольны говорить и поступать так, как захотим, – при условии, что эта «свобода» не ущемляет прав нашего собрата.

Подумай над этим, Перри. У тебя недюжинный ум, но иногда твои рассуждения уводят тебя от истины. Возможно, это издержки твоего заключения. Но как бы там ни было, помни – ты, и только ты отвечаешь за свои поступки, и только от тебя зависит, сможешь ли ты изменить свою жизнь. Надеюсь вскоре получить ответ.

*С любовью и молитвами,
твоя сестра и зять Барбара и Фредерик и вся семья*

Помещая это письмо в разряд особо ценных предметов, Перри руководствовался отнюдь не чувством привязанности. Ничего подобного. Он «не переваривал» Барбару и только позавчера говорил Дику: «Единственное, о чем я жалею, так это о том, что в том доме не было моей сестры». (Дик рассмеялся и признался в аналогичной печали: «Я все думаю, как было бы весело, если бы там была моя вторая жена. И вся ее проклятая семейка».) Нет, письмо было ему дорого просто потому, что его тюремный друг, «суперинтеллектуальный» Вилли-Сорока, написал очень проникновенный его анализ, занявший две машинописных страницы и озаглавленный «Впечатления, которые я получил от этого письма»:

ВПЕЧАТЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ Я ПОЛУЧИЛ ОТ ЭТОГО ПИСЬМА

1. Когда она начала письмо, она собиралась продемонстрировать свое христианское сострадание. То есть в ответ на твое письмо, которое ее явно задело, она собиралась подставить другую щеку, надеясь таким образом вызвать в тебе неловкость за предыдущие письма и заставить оправдываться в последующих.

Однако немногие люди успешно могут демонстрировать принципы общей этики, когда их переполняют эмоции. Твоя сестра является как раз примером такого провала, поскольку чем дальше, тем больше в ее суждения вмешивается гнев, – мысли ее хороши, ясны, они свидетельствуют об ее уме, но этот ум не свободен от предубеждения, не объективен. Это разум, приведенный в действие эмоциональным откликом на воспоминания и огорчением; следовательно, какими бы мудрыми ни были ее предостережения, они не принесут плодов, разве что в следующем письме ты постараться побольнее ее ранить. Таким образом, образуется

порочный круг, и в результате вы оба только еще больше разозлитесь и расстроитесь.

2. Это письмо дурацкое, но людям свойственно ошибаться.

Твое письмо и этот ответ на него оба не достигли цели. Ты в своем письме попытался объяснить свои взгляды на жизнь, потому что жизнь тебя чувствительно потрянула. Ему суждено было быть неправильно понятым или понятым слишком буквально, потому что твои идеи спорят с общепринятыми. Но кто может быть более предан общепринятым ценностям, чем домохозяйка с тремя детьми, которая «предана своим близким»? Что может быть более естественно, чем ее обида на человека, не признающего этих ценностей? В традиционализме есть большая доля лицемерия. Любой мыслящий человек отдает себе в этом отчет; но когда дело касается обывателя, полезнее обращаться с ним так, как будто он не лицемерит. Это не вопрос твоей верности собственным взглядам; это вопрос компромисса, необходимого для того, чтобы, оставаясь индивидуумом, ты не подвергался постоянной угрозе давления со стороны обывателей. Ее же письмо не достигло цели, потому что она не смогла осознать глубины твоих проблем – она не смогла понять тягот, выпавших на твою долю по вине окружающих, твоей внутренней усталости и усиливающегося стремления к обособленности.

3. Она считает, что:

а) Ты чересчур склонен жалеть себя.

б) Ты слишком расчетливый.

в) На самом деле ты не заслуживаешь письма на восемь страниц, написанного в промежутках между выполнением материнских обязанностей.

4. На странице 3 она пишет: «Я действительно считаю, что нам некого винить... и т.д.». То есть у нее нет претензий к тем, кто оказал на нее влияние. Но правда ли это? Она – жена и мать. Респектабельная и относительно защищенная от превратностей судьбы. Легко не замечать дождь, когда на тебе плащ. Но что бы она сказала, если бы ей приходилось зарабатывать себе на жизнь грязной работой? Неужели она бы простила тех, кто повлиял на нее в прошлом? Нет, и еще раз нет. Нет ничего более естественного, чем считать, что в твоих неудачах есть вина других, так же как совершенно естественно забывать тех, кто причастен к твоим успехам.

5. Твоя сестра уважает вашего отца. И ее обижает то, что тебя он любит больше. Ее ревность еле заметно просматривается в этом письме. Между строк я читаю ее недоумение: «Я люблю папу и стараюсь жить так, чтобы он мог мною гордиться. Но мне приходится удовлетворяться

крохами его привязанности. Потому что он любит тебя, но отчего такая несправедливость?»

Очевидно, ваш папа в течение долгих лет эксплуатировал эмоциональную душу твоей сестры посредством почты. Вот какова, по ее мнению, картина его жизни – обездоленный человек, проклятый неблагодарным сыном, на которого он изливал любовь и заботу, получая в ответ лишь презрение.

На странице 7 она говорит: жаль, что письмо будет подвергнуто цензуре. Но на самом деле ей вовсе не жаль. Она рада, что оно будет прочитано цензором. Подсознательно она написала его так, чтобы цензор почувствовал, что семья Смитов на самом деле хорошо организованная ячейка общества: «Пожалуйста, не судите нас всех по Перри».

Насчет матери, которая целует болячку. Это такой женский сарказм.

6. Ты ей пишешь потому, что:

а) По-своему ты ее любишь.

б) Тебе необходим контакт с внешним миром.

с) Ты можешь ее использовать.

Прогноз. Переписка между вами может выполнять только социальную функцию. Не затрагивай темы, выходящие за пределы ее понимания. Не навязывай на нее свои личные выводы. Не заставляй ее оправдываться и не позволяй ей заставлять тебя оправдываться. Уважай ограниченность ее возможностей тебя понять и помни, что она чувствительна к твоим высказываниям об отце. Будь последователен в своем отношении к ней и не добавляй ничего к тому впечатлению, которое у нее о тебе сложилось: ты слаб. Не потому, что тебе необходима ее доброжелательность, а потому, что тебя ждет большое количество подобных писем, и они могут привести только к усилению твоих и без того опасных антиобщественных инстинктов.

КОНЕЦ

По мере того как Перри продолжал сортировать и выбирать, стопка вещей, которые были ему слишком дорога, чтобы с ними расстаться хотя бы даже на время, достигла некоей шаткой высоты. Но что было делать? Он не мог рисковать «Бронзовой Звездой», полученной в Корее, или дипломом об окончании средней школы (выданным ему Управлением по образованию округа Левенворт как результат того, что он, находясь в заключении, возобновил свое надолго прервавшееся обучение). Также ему не хотелось потерять пухлый коричневый конверт с фотографиями – прежде всего собственными, сделанными в период между его службой в торговом флоте

(на обороте портрета милого мальчика было написано: «16 лет. Юный, бесшабашный и невинный») до недавнего посещения Акапулько. Было еще с полсотни других предметов, которые он решил взять с собой, в том числе карты сокровищ, альбом Отто и два толстых блокнота, в более толстом из которых был его собственный словарь, список собранных не в алфавитном порядке слов, которые ему казались «красивыми», или «полезными», или по крайней мере «достойными запоминания». (Вот типичная страница: «мертвенный – подобный смерти; полиглот – знающий много языков; санкция – наказание; не сведущий – не знающий; brutальный – очень жестокий; расхищать – когда грабят, воруют и тащат; каннибализм – пожирание себе подобных, людоедство, принятое у некоторых диких племен».)

На обложке второго блокнота почерком, которым Перри так гордился, буквами, которые соединялись между собой причудливыми женскими завитушками, было написано «Личный дневник Перри Эдварда Смита» – название не вполне точное, поскольку это был не дневник, а, скорее, антология невнятных фактов («Каждые пятнадцать лет Марс становится ближе. Ближайший год – 1958»), стихи и цитаты из литературных произведений («Нет человека, который был бы как остров, сам по себе»), и отрывки из газет и книг в виде парафраза или цитаты. Например:

«Знакомых у меня полно, друзей же – немного, а тех, кто действительно меня знает, и того меньше».

«Слышал, что в продаже появился новый крысиный яд. Чрезвычайно мощный, без запаха, без вкуса, и он настолько усваивается, если его проглотить, что в мертвом теле невозможно обнаружить след».

«Если придется говорить речь: „Я не могу вспомнить, что я собирался сказать, – потому что никогда в жизни не думал, что когда-нибудь встречу сразу столько человек, которые непосредственно причастны к тому, что у меня так хорошо на душе. И этим замечательнейшим моментом своей жизни я несомненно обязан вам. Спасибо!“».

«Интересная статья в февральском выпуске „Как мужчина с мужчиной“: „Я ножом прорубился к алмазным копиям“».

«Человек, который наслаждается свободой со всеми ее прерогативами, неспособен понять, что значит быть лишенным этой свободы». – Эрл Стэнли Гарднер.

«Что есть жизнь? Огонек светлячка в ночи. Пар от дыхания бизона зимой. Маленькая тень, что бежит по траве и пропадает на закате». – Вождь Воронья Лапа из индейского племени «черноногих».

Эта последняя запись была сделана красными чернилами и украшена

рамкой из зеленых звездочек; составитель антологии хотел подчеркнуть ее значимость. «Дыхание бизона зимой», – это в точности отвечало его представлениям о жизни. Из-за чего волноваться? Чего ради «потеть»? Человек – ничто, туман, тень, затерявшаяся среди теней.

Но, черт побери, приходится нервничать, крутиться, волноваться из-за собственных ногтей и предупреждения администрации: «Su dia termina las 2 p. m».

– Дик? Ты меня слышишь? – сказал Перри. –
Уже почти час.

Дик не спал. И более того, они с Инес занимались любовью. Дик, словно перебирая четки, монотонно шептал: «Тебе хорошо, малышка? Тебе хорошо?» Но Инес курила сигарету и не отвечала. Накануне ночью, когда Дик привел ее в номер и сказал Перри, что она останется ночевать, Перри, хоть и не одобрил этого, согласился, но если они вообразили, что их поведение его возбуждает или вызывает в нем какие-то приятные эмоции, они заблуждаются. Однако Перри жалел Инес. Она была «неразумное дитя» – она и вправду думала, что Дик хочет на ней жениться, и понятия не имела, что он собирается покинуть Мексику уже через несколько часов.

– Тебе хорошо, малышка? Тебе хорошо?

Перри сказал:

– Ради бога, Дик, давай быстрее. Наш день заканчивается в два пополудни.

Была суббота, близилось Рождество, и на Мэйн-стрит образовалась пробка. Дьюи, застрявший в пробке, посмотрел на гирлянды из листьев падуба, висящие над мостовой, – розетки из праздничной зелени, украшенные алыми бумажными колокольчиками, – и вспомнил, что еще не купил подарков ни жене, ни сыновьям. Его мозг автоматически отметал все вопросы, не связанные с убийством Клаттеров. Мэри и многих его друзей такая заикленность начала беспокоить.

Один его близкий друг, молодой адвокат Клиффорд Р. Хоуп-младший, прямо сказал:

– Ты знаешь, что с тобой творится, Эл? Ты понимаешь, что вообще больше не говоришь ни о чем другом?

– Пойми, – ответил Дьюи, – я больше ни о чем не могу думать. И существует вероятность, что, только проговаривая вслух свои мысли, я вдруг найду то, что мне раньше не приходило в голову. Некий новый угол зрения. Или не я, а ты. Черт побери, Клифф, ты представляешь, во что превратится моя жизнь, если это дело остается нераскрытым? Я так и буду

годами собирать сплетни, и каждый раз, когда где-нибудь в стране произойдет убийство, хотя бы отдаленно напоминающее это, я должен буду его изучить, чтобы проверить, нет ли какой-нибудь связи. Но дело не только в этом. На самом деле вся штука в том, что я теперь знаю Герба и его семью лучше, чем они себя знали. Они мне снятся. И, наверное, теперь всегда будут сниться. Пока я не узнаю, что с ними случилось.

Увлеченность этой загадкой привела к тому, что Дьюи проявил несвойственную ему рассеянность. Только утром Мэри просила его: пожалуйста, ну пожалуйста, о, пожалуйста, не забудь... но он не мог вспомнить, что именно, пока, вырвавшись из предпраздничной пробки и устремившись по шоссе № 50 к Холкомбу, не проехал мимо ветеринарной лечебницы доктора И. Э. Дэйла. Ну конечно! Жена просила, чтобы он обязательно забрал их кота Судебного Пита. Пит, тигровый котиче весом пятнадцать фунтов, был знаменит во всем Гарден-Сити своей драчливостью, которая и довела его до госпитализации: он проиграл бой псу из породы боксеров, и ему пришлось зашивать раны и колоть антибиотики. Когда доктор Дэйл отпустил Пита, тот устроился на переднем сиденье хозяйского авто и мурлыкал всю дорогу до Холкомба.

Детектив направлялся в «Речную Долину», но желание выпить чего-нибудь согревающего – кружку горячего кофе – заставило его затормозить у «Кафе Хартман».

– Привет, красавчик, – сказала миссис Хартман. – Чем могу служить?

– Просто кофе, мэм.

Она налила ему чашку кофе.

– Мне кажется, или ты правда похудел?

– Немножко. – На самом же деле за прошедшие три недели Дьюи потерял двадцать фунтов. Костюмы на нем болтались, словно он одолжил их у какого-то тучного приятеля, а его лицо, прежде вполне соответствовавшее его профессии, теперь вовсе утратило это свойство; такое лицо могло быть у отшельника, погруженного в оккультные занятия.

– Как ты себя чувствуешь?

– Отлично.

– Выглядишь ты ужасно.

Святая правда. Но не хуже, чем другие члены Канзасского бюро расследований – агенты Дунц и Черч. И уж конечно Дьюи был в лучшей форме, чем Гарольд Най, который болел гриппом и с температурой продолжал исполнять свои обязанности. Например, вместе с остальными тремя своими измотанными коллегами проверил приблизительно семьсот частных сообщений и слухов. А Дьюи потратил два ужасных бесплодных

дня, пытаюсь выследить призрачных мексиканцев, которые, как под присягой показал Пол Хелм, приходили к мистеру Клаттеру накануне убийств.

– Еще чашечку, Элвин?

– Пожалуй, не надо. Спасибо, мэм.

Но она уже принесла кофейник.

– За счет заведения, шериф. Судя по твоему виду, тебе это не помешает.

За угловым столиком два усатых скотника играли в шашки. Один из них встал и подошел к стойке, где сидел Дьюи. Он спросил:

– Это правда?

– Смотря что.

– Мы слышали, что ты поймал одного типа? Который шатался по дому Клаттеров? Это все его рук дело. Так мы слышали.

– Я думаю, ты слышал неправильно, старик. Да, сэр, я его поймал.

Хотя в прошлом у Джонатана Дэниела Адриана, которого посадили в окружную тюрьму по обвинению в незаконном ношении оружия, был период, когда он лечился в психиатрическом отделении в Топике, данные, собранные следователями, указали, что в деле Клаттера Адриан виновен лишь в своем злосчастном любопытстве.

– Ладно, если это не тот, тогда какого черта ты не можешь найти того? У меня полон дом женщин, которые даже в туалет в одиночку ходить боятся.

Дьюи уже привык к нападкам такого рода, это стало обычной частью его существования. Он одним глотком осушил вторую кружку, вздохнул и улыбнулся.

– Черт, я с тобой не шучу. Ты ответь, почему никто до сих пор не арестован? Тебе ведь за это деньги платят.

– Полегче, – сказала миссис Хартман. – Мы все в одной лодке. Элвин делает все, что в его силах.

Дьюи подмигнул ей:

– Расскажите ему, мэм. И большое вам спасибо за кофе.

Скотник подождал, пока его жертва достигнет двери, и выпустил прощальный залп:

– Если ты когда-нибудь еще побежишь в шерифы, про мой голос можешь забыть. Не видать тебе его как своих ушей.

– Полегче, – повторила миссис Хартман.

Между «Кафе Хартман» и «Речной Долиной» всего миля пути. Дьюи решил пройтись пешком. Он любил ходить через пшеничные поля. Обычно

раз или два в неделю он отправлялся гулять по своему участку, любимому им кусочку прерии, где он надеялся построить дом, посадить деревья и, наконец, пестовать правнуков. Такая у него была мечта, но его жена недавно предупредила его, что больше ее не разделяет; она сказала, что отныне никогда не захочет жить отдельно «где-то в деревенской глуши». Дьюи знал, что даже если он завтра поймает убийц в ловушку, Мэри не изменит своего мнения – поскольку однажды судьба уже поразила их общих друзей, которые жили в уединенном загородном доме.

Конечно, Клаттеры не были первыми, кого убили в округе Финней или даже в Холкомбе. Старейшие представители этого маленького сообщества еще помнят «дикий случай», произошедший больше сорока лет назад, – убийство Хефнера. Миссис Сэди Труит, семидесятилетняя почтальонша, мать почтмейстерши Клэр, стала настоящим специалистом по этому легендарному делу: «В августе это было. В 1920 году. Жарко было как в пекле. Некто Туниф работал на ранчо „Финнап“. Уолтер Туниф. Была у него машина, как потом оказалось, краденая. Оказалось, что он был дезертир из Форт-Блисса, это в Техасе. Он был настоящим мошенником, и многие это подозревали. Однажды вечером шериф – в ту пору им был Орли Хефнер, так пел замечательно, уж конечно он теперь поет в Небесном Хоре, – так вот, однажды вечером он отправился на ранчо „Финнап“, чтобы задать Тунифу несколько прямых вопросов. Третье августа. Жарко как в пекле. Короче говоря, Уолтер Туниф выстрелил шерифу прямо в сердце. Бедный Орли побежал и упал замертво. А тот черт, который его убил, вскочил на лошадь и поскакал вдоль берега реки на восток. Тут же все узнали, и мужчины со всей округи собрались в отряд. Примерно на следующее утро они догнали старину Уолтера Тунифа. Ему не дали даже поздороваться, уж больно эти мальчишки были сердитые. Жажнули картечью, и все дела».

Первое столкновение самого Дьюи с грязной игрой в округе Финней произошло в 1947 году. Этот инцидент в его досье отмечен следующим образом: «Джон Карлайл Полк, индеец из Маскаги, Окл., возраст 32 года, убил Мэри Кей Финли, белую женщину 40 лет, официантку, проживающую в Гарден-Сити. Полк нанес ей удар зазубренным горлышком бутылки из-под пива в номере отеля „Коупланд“ в Гарден-Сити, штат Канзас, 9.5.47». Открытое и закрытое дело. Из трех других убийств, которые Дьюи довелось расследовать позже, два были одинаково просты (двое железнодорожных рабочих ограбили и убили пожилого фермера 1.11.52; пьяный муж забил и запинал жену до смерти 17.6.56), но третий случай, как поведал однажды Дьюи, был не без интересных штришков: «Все это

началось в парке Стивене. У них там такая эстрада, а под эстрадой мужская комната. Стало быть, этот человек по имени Муни гулял по парку. Он был откуда-то из Северной Каролины, просто проездом, никого в городе не знал. Как бы там ни было, он зашел в туалет, и за ним вошел еще кое-кто – местный паренек, Уилмер Ли Стеббинс, двадцати лет. Уилмер Ли потом заявлял, что мистер Муни сделал ему непристойное предложение. И поэтому он ограбил мистера Муни, повалил его, ударил головой о цементный пол, и поэтому же, когда жертву это не dokonало, он макнул мистера Муни головой в унитаз и держал, пока тот не захлебнулся. Это возможно. Но дальнейшее поведение Уилмера Ли просто не поддается объяснению. Сначала он похоронил тело в двух милях к северо-востоку от Гарден-Сити. На следующий день он его вырыл и перевез на четырнадцать миль в другом направлении. Н-да, закапывая и перезакапывая убитого, Уилмер Ли вел себя как собака, которая прячет косточку, – он совершенно не давал мистеру Муни покоиться с миром. Наконец он дозакапывался до того, что его кто-то заметил». До загадки Клаттеров эти четыре приведенных здесь случая составляли весь опыт Дьюи по раскрытию убийств и по сравнению с ней казались шквалами, предшествующими урагану.

Дьюи подобрал ключ к парадной двери дома Клаттеров. Внутри было тепло, потому что отопление никто не отключал, и комнаты с начищенными до блеска полами, благоухающие лимоном, выглядели только временно нежилыми; казалось, что сегодня воскресенье и семья в любой момент может вернуться из церкви. Наследницы, миссис Инглиш и миссис Джарчоу, увезли полные грузовики одежды и мебели, но все же дом от этого не стал казаться менее обитаемым. На пианино, на подставке для нот, был раскрыт листок с песенкой «Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь». В прихожей висел на вешалке для шляп старый засаленный серый «стетсон» – шляпа Герба. Наверху в комнате Кеньона на полочке над кроватью поблескивали линзы очков убитого мальчика.

Детектив переходил из комнаты в комнату. Он много раз приезжал в дом; по правде сказать, он сюда приезжал почти каждый день, и в каком-то смысле эти посещения доставляли ему радость, потому что здесь, в отличие от его дома или офиса шерифа, где вечно шум и крик, было спокойно. Телефоны с перерезанными проводами молчали. Дьюи окружала великая тишина прерий. Он мог сидеть в кресле-качалке в комнате Герба, качаться и думать. В некоторых выводах он только укрепился: он полагал, что смерть Герба Клаттера была главной целью преступников, что мотивом

послужила психопатическая ненависть или ненависть в сочетании с ограблением, и полагал, что убийства были совершены не сразу и с момента входа убийц в дом до момента выхода прошло часа два, а то и больше. (Коронер, доктор Роберт Фентон, заметил явные различия в температуре тел жертв и на этом основании предположил, что порядок был таков: сначала погибла миссис Клаттер, потом Нэнси, Кеньон и мистер Клаттер.) И главным среди всех этих предположений было убеждение, что Клаттеры очень хорошо знали тех, кто их убил.

В этот визит Дьюи остановился у окна на верхнем этаже, и что-то вдалеке привлекло его внимание – пугало среди щетинок колосьев пшеницы. На пугале была мужская охотничья кепка и платье из полинялого ситца в цветочек. (Конечно же, старое платье Бонни Клаттер!) Ветер играл юбкой и раскачивал пугало – оно казалось живым существом, танцующим печальный танец в холодном декабрьском поле. И Дьюи неожиданно для себя вспомнил сон Мэри. Как-то утром она подала ему на завтрак сладкую яичницу и соленый кофе и обвинила во всем «глупый сон» – но этот сон не рассеялся при дневном свете.

– Это было настолько реально, Элвин, – сказала она. – Так же реально, как эта кухня. Во сне я как раз была здесь, в кухне. Я готовила ужин, и вдруг входит Бонни. На ней был синий ангорский свитер, и она казалась такой милой и красивой. Я ей сказала: «О Бонни... Бонни, дорогая... я не видела тебя с тех пор, как случилась эта страшная вещь». Но она не отвечала, только смотрела на меня своим застенчивым взглядом, и я не знала, что еще сказать. При таких-то обстоятельствах. Поэтому я сказала: «Голубушка, посмотри-ка, что я готовлю Элвину на ужин. Суп в горшочке с креветками и свежими крабами. Он уже почти готов. Давай, голубушка, сними пробу». Но она так и осталась стоять у дверей, только смотрела на меня. А потом – я не знаю, как бы точнее выразиться, но она закрыла глаза и начала качать головой, очень медленно, и заламывать руки, тоже очень медленно, и всхлипывать или шептать. Я не могла понять, что она говорила. Но это пронзило мне сердце болью, я никогда ни к кому не испытывала такой сильной жалости, и я обняла ее. Я сказала: «Пожалуйста, Бонни! О, не надо, дорогая моя, не плачь! Если кто на этом свете и был подготовлен к встрече с Богом, то именно ты, Бонни». Но я не могла ее успокоить. Она качала головой, заламывала руки, и наконец я услышала, что она говорит. Она говорила: «Быть убитой. Быть убитой. Нет. Нет. Ничего не может быть хуже. Нет ничего хуже этого. Ничего».

Середина дня. Пустыня Мохаве. Перри сидел на плетеном чемодане и

играл на гармонике. Дик стоял на обочине черного шоссе № 66 и взглядом буравил безупречную пустоту, словно надеялся заставить автомобилистов появиться. Их было мало, и ни один не останавливался подобрать голосующих. Лишь водитель грузовика, направлявшийся в Нидлз, штат Калифорния, предложил их подвезти, но Дик отказался. Это был не тот вариант, которого ждали они с Перри. Они поджидали одинокого путешественника в приличном автомобиле и с деньгами в бумажнике – такого можно было ограбить, удавить и закопать в пустыне.

В пустыне звук часто опережает изображение. Дик услышал легкую вибрацию еще не видимого автомобиля. Перри тоже ее уловил; он сунул гармонику в карман, поднял с земли плетеный чемодан (весь их багаж: едва поместившиеся сувениры Перри плюс три рубашки, пять пар белых носков, коробка аспирина, бутылка текилы, ножницы, безопасная бритва и пилка для ногтей; все остальные пожитки были либо заложены, либо оставлены у мексиканского бармена, либо отправлены в Лас-Вегас) и подошел к Дику. Они смотрели на шоссе. Наконец машина показалась и стала расти, пока не превратилась в синий «додж-седан» с единственным пассажиром, лысым тощим мужчиной. Идеальный вариант. Дик поднял руку и замахал. «Додж» сбросил скорость, и Дик одарил водителя роскошной улыбкой. Автомобиль почти, но еще не совсем остановился, водитель высунулся в окно и оглядел их с ног до головы. Впечатление, которое он получил, очевидно, заставило его встревожиться. (После пятидесятичасового путешествия на автобусе из Мехико в Барстоу, штат Калифорния, и нескольких часов путешествия пешком через пустыню оба обросли бородами и пропылились насквозь.) Автомобиль скакнул вперед и прибавил скорость. Дик, сложив ладони рупором, крикнул вслед: «Везучий ты, ублюдок!» Потом он засмеялся и поднял чемодан на плечо. Ничто не могло испортить ему настроения, потому что, вспоминая он позже, он был «слишком рад, что вернулся в старые добрые Штаты». Рано или поздно появится другой автомобилист.

Перри достал свою гармонику (его она стала после того, как вчера он украл ее в магазине разных мелочей в Барстоу) и заиграл вступительные аккорды их «походного марша», одной из любимых своих песен. Он пропел Дику все пять строф. Шагая в ногу бок о бок, они шли по шоссе и пели: «Я видел, как в сиянии с небес сошел Господь; Он вытоптал те лозы, где зрела гнева гроздь». И в тишине пустыни звенели их твердые, молодые голоса: «Слава! Слава! Аллилуйя! Слава! Слава! Аллилуйя!»

Часть 3 ОТВЕТ

Молодого человека звали Флойд Уэллс; он был низкого роста, и подбородка у него почти не было: верный признак отсутствия воли. Он не раз пытался сделать карьеру – в качестве солдата, помощника на ранчо, механика и, наконец, вора; за последнюю попытку его приговорили к заключению в Канзасской исправительной колонии на срок от трех до пяти лет. Во вторник вечером, 17 ноября 1959 года, Флойд сидел в камере и через наушники слушал по радио новости, но от голоса диктора и скучности событий дня («Сегодня канцлер Конрад Аденауэр прибыл в Лондон для переговоров с премьер-министром Гарольдом Макмилланом... Президент Эйзенхауэр имел полтора часовую беседу с доктором Т. Китом Гленнаном по поводу проблем освоения космоса и финансирования космических исследований») его клонило в сон. Впрочем, сонливость Флойда как рукой сняло, едва он услышал: «Полицейские, расследующие убийство семьи Герберта У. Клаттера, обращаются к населению с просьбой сообщить любую информацию, которая могла бы помочь расследованию этого загадочного преступления. Клаттер, его жена и двое детей в прошлое воскресенье были найдены мертвыми в своем доме около Гарден-Сити. Рты у них были залеплены пластырем. Их связали и убили выстрелами в голову из ружья 12-го калибра. Должностные лица, занимающиеся этим делом, признают, что не могут найти никакого мотива преступления, которое Логан Сэнфорд, директор Канзасского бюро расследований, назвал самым ужасным в истории штата. Клаттер, известный в наших краях фермер, в прошлом – член Федеральной фермерской кредитной комиссии, назначенный самим Эйзенхауэром...»

Уэллс был ошеломлен. Как он сам потом говорил, он не поверил своим ушам. Впрочем, это и понятно, ведь он не только был в свое время знаком с убитыми, но и отлично знал, кто их убил.

Это началось давным-давно – одиннадцать лет назад, осенью 1948-го. Уэллсу тогда было девятнадцать лет. Он «мотался по всей стране и брался за любую работу, какую предлагали», как он говорил, вспоминая то время.

– В конце концов я оказался «там» – в западном Канзасе. Недалеко от границы с Колорадо. Я искал работу и спрашивал всех подряд; мне сказали, что на ферме «Речная Долина» вроде бы нужен помощник. «Речная Долина» – так мистер Клаттер называл свой дом. Короче говоря, он меня нанял. Я пробыл там, наверное, с год – во всяком случае, зиму точно – и

ушел только потому, что мне не сиделось на месте. Хотелось побродяжничать. Не потому, что мы с Клаттером чего-то не поделили. Он хорошо ко мне относился – как и к любому, кто у него работал; если ты не дотягивал до получки, он всегда был готов дать десятку или пятерку. А платил он неплохо и не тянул с премией, если ты ее заслужил. Ей-богу, Клаттер мне нравился больше всех, кого я встречал. И вообще вся его семья. Миссис Клаттер и четверо детишек. Когда я там был, младшие, те, которых убили, – Нэнси и ее братишка, очкарик, – были совсем малышами, лет пяти или шести. Другие две девочки – одна Беверли, вторую, не помню, как звать, – уже ходили в школу. Хорошая семья, ей-богу, хорошая. Я их никогда не забуду. В общем, в сорок девятом я оттуда ушел. Женился, потом развелся, потом меня взяли в армию – одним словом, много воды утекло, и в июне пятьдесят девятого, через десять лет, я угодил в Лансинг. За то, что вломился в магазин электроприборов. А мне всего-то нужна была пара газонокосилок. Не для того, чтоб толкнуть. Я хотел заняться стрижкой лужаек. Подумал, что пора мне уже обзавестись собственным маленьким, но постоянным бизнесом. Ничего из этого не вышло – кроме того, что мне впаляли «от трех до пяти». Не случись этого, я никогда бы не встретил Дика, и, быть может, мистер Клаттер сейчас был бы жив. Но это произошло. Это случилось. Мы с Диком встретились.

Он был первым, с кем я сошелся. Мы сидели вместе, наверное, месяц. Июнь и часть июля. У него срок уже заканчивался: в августе он должен был выйти. Он все придумывал, что будет делать на воле. Говорил, что хочет поехать в Неваду, в один из тех городков, где расположены ракетные базы, купить военную форму и выдавать себя за офицера военно-воздушных сил. А потом покупать всякое барахло по фальшивым чекам. Такая у него была идея. (Никогда не считал, что из этой затеи что-то выйдет. Дик не дурак, отрицать не стану, но лицом не вышел. Не тянул он на офицера военно-воздушных сил.) Несколько раз он упоминал этого своего приятеля, Перри. Этот парень наполовину индеец, они раньше были соседи по камере. Говорил о крупных делах, которые ждут их с Перри, когда они снова встретятся. Я не был знаком с этим Перри. Ни разу его не видел. Он к тому времени уже освободился. Но Дик всегда говорил, что если выпадет крупный фарт, он может положиться на Перри Смита.

Я точно не помню, когда в разговоре впервые упомянул Клаттеров; наверное, это было, когда мы рассказывали друг другу, чем каждый из нас занимался на воле. Дик был опытным механиком и главным образом работал по этой части. Только однажды устроился в больницу водить «скорую помощь». То и дело этим хвастался. Все вспоминал про медсестер

и про то, чем он с ними занимался в кузове. А я, в свою очередь, рассказал, как проработал год в западном Канзасе. У мистера Клаттера. Он спросил, богатый ли человек этот Клаттер. Я ответил – да. Да, богатый. Как-то раз, сказал я, мистер Клаттер сказал, что за неделю он избавился от десяти тысяч долларов. То есть, говорю, иногда его сделки требовали десяти тысяч долларов в неделю. После того разговора Дик не переставал расспрашивать меня о Клаттерах. Сколько людей на ферме? Сколько лет сейчас детям? Как лучше подъехать к дому? Где он точно находится? Есть ли у Клаттера сейф? Не буду отрицать – я ответил, что есть. Потому что я помнил что-то похожее на сейф у стола в комнате, где мистер Клаттер устроил себе кабинет. Потом Дик заговорил о том, что убьет Клаттера. Сказал, что они с Перри ограбят дом и убьют всех свидетелей – и Клаттеров, и любого, кто окажется рядом. Он десятки раз расписывал мне, как они с Перри их свяжут, а потом пристрелят. Я ему говорил: «Дик, ты никогда этого не сделаешь». Но положила руку на сердце, я не могу сказать, что пытался отговорить его от этой затеи. Потому что даже на минуту не мог предположить, что он говорит всерьез. Я думал, это обычная болтовня. Такого в Лансинге можно услышать сколько угодно. Все только и делают, что распинаются о том, чем займутся на воле, – грабежи, убийства и все такое прочее. В основном одна похвальба. Никто ее всерьез не воспринимает. Именно поэтому когда я услышал по радио это известие, то сначала не поверил. И все-таки это случилось. И притом именно так, как расписывал Дик.

Такова была история Флойда Уэллса, хотя пока еще он был далек от мысли кому-то ее рассказать. Он боялся, что как только другие заключенные прознают, что он о чем-то доносит начальнику, его жизнь, как он выразился, «не будет стоить дохлого койота». Прошла неделя. Он слушал радио, следил за статьями в газетах – и в одной из них прочел, что канзасская газета «Хатчинсон ньюс» предлагает награду в тысячу долларов за любую информацию, способствующую поимке человека – или людей, виновных в убийстве Клаттера. Это было уже интересно; сообщение о награде почти подвигло Уэллса открыться. Но он все еще слишком боялся, и не только заключенных. Существовала опасность, что его обвинят в соучастии. В конце концов, ведь это он навел Дика на Клаттеров; разумеется, сразу же объявят, что он знал о намерениях Дика. Как ни крути, положение его было весьма щекотливым, а оправдания весьма сомнительны. Так что он вновь промолчал, и так прошло еще десять дней. На смену ноябрю пришел декабрь, а следствие оставалось, согласно все более и более кратким газетным сообщениям (по радио об этом вообще

больше не говорили), в таком же недоумении от очевидного отсутствия мотива и улик, в каком было в день трагического открытия.

Но Флойд знал. И, терзаясь потребностью кому-то сказать, он доверился своему товарищу по заключению. «Он мне больше чем друг. Католик. Очень набожный. Он спросил меня: „Ну, так что же ты думаешь делать, Флойд?“ Я сказал: „Понятия не имею, а что бы ты посоветовал?“ Ну, он был всеми руками за то, чтобы я обратился к кому следует. Сказал, что неправильно жить с таким камнем на душе. И сказал, что я могу обойтись без явки с повинной. Что он устроит так, что на следующий день помощник директора узнает о том, что я хочу „быть вызванным“. Он попросит, чтобы помощник вызвал меня к себе в кабинет под каким-нибудь предлогом, и, возможно, я смогу ему сообщить, кто убил Клаттеров. Понятное дело, помощник послал за мной. Я перепугался; но потом вспомнил мистера Клаттера – он не сделал мне ничего плохого, а на Рождество подарил маленький кошелек с пятьюдесятью долларами. Я поговорил с помощником. Потом я все рассказал самому директору. И не успел я выйти из его кабинета, как он снял телефонную трубку...»

Человек, которому позвонил начальник тюрьмы Хэнд, был Логан Сэнфорд. Сэнфорд выслушал его, повесил трубку, отдал несколько распоряжений, затем сам позвонил – Элвину Дьюи. Вечером, уходя из своего кабинета в здании суда Гарден-Сити, Эл взял с собой коричневый конверт.

Мэри была на кухне, готовила ужин. Едва Дьюи вошел, она обрушила на него перечень домашних бедствий. Кот подрался с соседским коккер-спаниелем и, кажется, выцарапал тому глаз. Пол, их младший сын девяти лет, сверзился с дерева. Просто удивительно, как он еще жив остался. А потом его старший брат, тезка Дьюи, поджег помойку, и соседи всполошились, что огонь перекинется на их дома. Кто-то, кто именно – неизвестно, даже вызвал пожарных.

Пока жена описывала эти несчастья, Дьюи налил две чашки кофе. Вдруг Мэри умолкла на середине фразы и уставилась на мужа. Лицо его пылало, и она чувствовала, что душа у него поет. Мэри воскликнула:

– Элвин! О милый! Неужели хорошие новости?

Он молча протянул ей конверт. У Мэри были мокрые руки; она вытерла их, уселась за кухонный столик, отодвинула свою чашку с кофе, открыла конверт и вынула оттуда фотографии белобрысого молодого человека и другого – темноволосого и смуглого; полицейские снимки. К фотографиям прилагались полузашифрованные выписки из досье. Про

блондина было написано:

Хикок, Ричард Юджин (б.м.) 28, КБР 97 093; ФБР 859 273 А. Адрес: Эджертон, штат Канзас. Дата рождения: 6.6.31. Место рождения: К-С, Канз. Рост: 5,10. Вес: 175. Волосы: блондин. Глаза: голубые. Телосложение: атлетическое. Цвет лица: румяный. Занятие: покраска автомобилей. Преступление: воровство, мошенничество, недействительные чеки. Досрочно освобожден: 13.8.59.

Второе описание звучало так:

Смит, Перри Эдвард (б. м.) 27-59. Место рождения: штат Невада. Рост: 5,4. Вес: 156. Волосы: т-кор., Преступление: кража, угон, побег. Арестован: (не заполнено). Кем: (не заполнено). Размещение: отправлен в КИК 13.3.56. Комп. «Филипс», 5-10 лет., прибыл 14.3.56. Досрочно освобожден: 6.7.59.

Мэри внимательно рассмотрела фотографии Смита, сделанные в фас и в профиль: лицо высокомерное и жесткое, но не только, ибо была в нем какая-то специфическая утонченность; губы и нос казались красиво очерченными, и Мэри подумала, что глаза с влажным блеском и мечтательным выражением довольно красивы – довольно (на актерский лад) темпераментные. Темпераментные и, более того, «порочные». Хотя и не такие порочные и не такие непростительно «преступные», как глаза Хикока Ричарда Юджина. Мэри, замороженная глазами Хикока, вспомнила один эпизод из детства – как она обнаружила рысь, попавшую в ловушку, и как, несмотря на то, что она хотела ее выпустить, глаза рыси, горящие болью и ненавистью, иссушили поток ее жалости и наполнили сердце ужасом. «Кто они?» – спросила Мэри.

Дьюи рассказал ей историю Флойда Уэллса и под конец добавил:

– Забавно. Последние три недели мы как раз занимались тем, что проверяли всех, кто в свое время работал у Клаттера. Теперь все обернулось так, будто нам просто повезло. Но через несколько дней мы бы все равно вышли на этого Уэллса. Установили бы, что он в тюрьме. И тогда все равно выяснили бы всю правду. Как пить дать.

– Но может быть, это еще не правда, – возразила Мэри.

Дьюи и восемнадцать человек, которые были выделены ему в помощь, проверили сотни ниточек, которые никуда их пока не привели, и она хотела предостеречь мужа, чтобы потом его не постигло очередное разочарование, потому что ее тревожило состояние его здоровья. Он был изнурен, у него постоянно было плохое настроение, и он выкуривал по шестьдесят сигарет в день.

– Может быть, и нет, – ответил Дьюи. – Но у меня теперь есть версия.

Тон, каким он это произнес, произвел на Мэри впечатление; она снова

посмотрела на лежащие на столе фотографии.

– Подумай о нем, – сказала она, постучав ногтем по портрету белокурого молодого человека анфас. – Подумай об этих глазах. Они как будто следят за тобой. – Она убрала фотографии обратно в конверт. – Лучше бы ты мне их не показывал.

Тем же вечером, только позже, другая женщина в другой кухне отложила носок, который штопала, сняла очки в пластмассовой оправе и, наставив их дужки на посетителя, сказала:

– Я надеюсь, вы его отыщете, мистер Най. Для его же блага. У нас два сына, но он наш первенец. Мы любим его. Но... О, я все понимала. Я понимала, что ему не пришлось бы собирать вещи, не пришлось бы удирать, не сказав никому ни слова – ни отцу, ни брату. Не пришлось бы, если бы он опять во что-нибудь не влип. Что его заставляет так делать? Что? – Она посмотрела на худощавого мужчину, ссутулившегося в кресле-качалке на другом конце маленькой жарко натопленной комнаты. Это был Уолтер Хикок, ее муж и отец Ричарда Юджина. У него были тусклые, погасшие глаза и грубые руки; когда он говорил, его голос звучал так, как будто им редко пользовались.

– С моим мальчиком все было в порядке, мистер Най, – проскрипел мистер Хикок. – Отличный спортсмен – в школе всегда в первой команде. Баскетбол! Бейсбол! Дик всегда первоклассно играл. И учился неплохо, по нескольким предметам вообще был отличником. По истории. По черчению. Когда он закончил среднюю школу – в июне сорок девятого, – ему захотелось продолжить учебу в колледже. Он мечтал выучиться на инженера. Но мы не могли себе этого позволить. Попросту не было денег. Никогда у нас не было денег. Наша ферма – каких-то жалких сорок четыре акра, мы едва сводим концы с концами. Наверное, Дик обиделся, что его не пустили в колледж. Первая работа, которую он получил, была на железнодорожной магистрали Санта-Фе в Канзас-Сити. Семьдесят пять долларов в неделю. Он считал, что этого хватит на обустройство семьей, и они с Кэрол сыграли свадьбу. Ей только-только исполнилось шестнадцать, ему было девятнадцать. Я всегда говорил, что ничего хорошего из этого не выйдет. Так и получилось.

Миссис Хикок, пухленькая женщина с мягким круглым лицом, на которое не наложила отпечатка тяжелая жизнь и работа от темна до темна, упрекнула мужа:

– А наши внуки? Три замечательных малыша – вот что из этого вышло. А Кэрол – чудесная девушка. Она не виновата.

Мистер Хикок продолжал:

– Они с Кэрол сняли приличных размеров дом, купили шикарный автомобиль – неудивительно, что они не вылезали из долгов, даже при том, что вскорости Дик стал зарабатывать больше. Когда устроился водителем «скорой помощи». Потом его взяли в компанию «Маркл Бьюик», у них в Канзас-Сити большая контора. Он стал механиком и красил машины. Но они с Кэрол жили на широкую ногу, продолжали покупать вещи, которые были им не по карману, и в конце концов Дик дошел до того, что стал выписывать недействительные чеки. Я все еще думаю, что этот заскок у него связан с аварией. Он разбил голову в автокатастрофе. После этого он уже никогда не был прежним. Азартные игры, чеки. Раньше за ним, насколько я знаю, такого не водилось. И тогда же он снюхался с другой девицей. С той, ради которой он развелся с Кэрол и которая стала его второй женой.

Миссис Хикок сказала:

– Дику просто некуда было деваться. Вспомни, как эта Маргарет Эдна в него вцепилась.

Если ты нравишься женщине, это еще не значит, что надо давать себя заарканить, – сказал мистер Хикок. – Ну что ж, мистер Най, я надеюсь, теперь вы знаете обо всем столько же, сколько мы. Почему наш мальчик попал в тюрьму. Отсидел семнадцать месяцев – и только за то, что позаимствовал охотничье ружье. У своих же соседей. У него и в мыслях не было красть, что бы они там ни говорили. И после этого он сломался. Когда он вышел из Лансинга, я его просто не узнал. С ним невозможно было разговаривать. В его представлении весь мир был против Дика Хикока. Даже вторая жена его бросила – подала на развод, пока он был в тюрьме. Но все равно в последнее время он, казалось, стал поспокойнее. Работал у Боба Сэндза в Олате. Жил здесь, вместе с нами, рано ложился спать, никак не нарушал условий освобождения. Я вам вот что скажу, мистер Най, мне недолго осталось, у меня рак, и Дик об этом знает – во всяком случае, знает, что я болен, – и меньше месяца назад, перед самым своим отъездом, он мне сказал: «Папа, ты всегда для меня был славным папой. Я больше никогда не буду тебя огорчать». Он говорил искренне. В этом мальчике много хорошего. Если бы вы посмотрели на него на футбольном поле, если бы увидели, как он играет со своими детьми, вы бы не сомневались в моих словах. О господи, кто бы мне объяснил, что с ним опять произошло! Его жена сказала:

– Я тебе скажу. – Она снова принялась было штопать, но слезы ей помешали. – Этот его приятель. Вот что произошло.

Их гость, агент Канзасского бюро расследований Гарольд Най, все это время строчил в блокноте – блокноте, который уже весь был исписан итогами долгого дня, потраченного на проверку обвинений, выдвинутых Флоридом Уэллсом. К этому времени были установлены факты, убедительно подтверждающие рассказанную им историю. 20 ноября подозреваемый Ричард Юджин Хикок отправился в Канзас-Сити делать покупки, за которые расплатился по крайней мере семью «палеными» чеками. Най поговорил со всеми жертвами его мошенничества, показал фотографии Хикока и Перри Эдварда Смита и выяснил, что автором фальшивых чеков был Дик, а Перри являлся его «молчаливым» сообщником. (Один обманутый продавец рассказывал: «Он [Хикок] был у них за главного. Говорил так гладко и убедительно. А другой – я подумал, что он иностранец, мексиканец, наверное, – ни разу даже рта не раскрыл».)

Потом Най съездил в пригород Олата, где взял интервью у Боба Сэндза, владельца «Товаров для тела».

– Да, он у меня работал, – сказал мистер Сэндз. – С августа по... Ну, короче, с девятнадцатого ноября я его не видел – а может, это было двадцатое. Он исчез и даже не предупредил. Просто уехал – куда, никто не знает, даже его отец. Удивился ли я? Ну да. Конечно, я удивился. У нас были довольно дружеские отношения. Дик, знаете ли, вообще легко с людьми сходился. Он умел быть очень милым. Иногда он приходил ко мне в гости. Кстати, за неделю до его исчезновения у нас была небольшая вечеринка, и Дик привел этого своего приятеля, который приехал к нему, парня из Невады – Перри Смит его звали. Здорово играл на гитаре. Он спел несколько песен, а потом они с Диком всех развлекали аттракционом поднятия тяжестей. Перри Смит сам маленького роста, не выше пяти футов, но может поднять лошадь. Нет, они не казались взволнованными, ни тот, ни другой. Я бы сказал, что им было весело. Точную дату? Конечно, помню. Это было тринадцатое. Пятница, тринадцатое ноября.

Из Олата Най повел свой автомобиль к северу по размокшим проселочным дорогам. По пути к ферме Хикока он несколько раз остановился у соседних ферм, якобы для того, чтобы уточнить направление, а на самом деле – чтобы побольше узнать о подозреваемом. Жена одного фермера сказала:

– Дик Хикок? Не говорите мне о нем! Вот уж кто истинный дьявол во плоти! Крал? Да он украл бы и монеты с глаз покойника! Правда, мать у него, Юнис, – прекрасная женщина. У нее сердце больше нашего амбара. И папаша его тоже. Оба простые, честные люди. Дика могли посадить столько раз, что вы и представить себе не можете, да только никто не хочет

на него жаловаться. Из уважения к его старикам.

Когда Най постучал в дверь маленького, посеревшего от непогоды домика Уолтера Хиккока, уже сгустились сумерки. Казалось, его здесь ждали. Мистер Хикок пригласил детектива в кухню, миссис Хикок предложила ему кофе. Возможно, если бы они знали об истинной цели его посещения, его встретили бы не столь радушно, более настороженно. Но они не знали и часа три сидели, разговаривая, и фамилия Клаттер ни разу не прозвучала, как не прозвучало и слово «убийство». Родители приняли объяснение, которое дал Най: нарушение условий освобождения и финансовые махинации – это все, что послужило основанием для розысков их сына.

– Дик привел его [Перри] домой однажды вечером и сказал нам, что это его друг, только что с автобуса из Лас-Вегаса, нельзя ли, мол, ему у нас переночевать и вообще пожить некоторое время, – сказала миссис Хикок. – Нет, сэр, я бы его в дом не пустила. Я с первого взгляда все про него поняла. Одеколон этот. Намазанные волосы. Мне было ясно как день, где Дик с ним познакомился. По условиям его освобождения он не должен был встречаться с теми, с кем познакомился там [в Лансинге]. Я предупредила Дика, но он не послушался. Он нашел своему дружку комнату в гостинице «Олат» в Олате и после этого проводил с ним все свободное время. Один раз они уезжали на уикэнд. Мистер Най, не сойти мне с этого места, если это не Перри Смит его подбил выписать чеки.

Най закрыл блокнот, сунул авторучку в карман и обе руки тоже засунул в карманы, потому что они у него тряслись от волнения.

– Теперь расскажите об этой поездке на уикэнд. Куда они ездили?

– В Форт-Скотт, – ответил мистер Хикок, называя канзасский городок с военным прошлым. – Насколько я понял, у Перри Смита там живет сестра. У нее вроде бы лежали его деньги. Упоминалась сумма в полторы тысячи долларов. Это была главная причина, по которой он приехал в Канзас: забрать деньги у сестры. Дик повез его туда их забирать. Они ездили только на одну ночь. Около полудня в воскресенье он вернулся домой. Как раз к обеду.

– Понятно, – сказал Най. – На одну ночь. То есть они уехали отсюда в субботу. Это была суббота, четырнадцатое ноября?

Старик кивнул.

– И вернулись они в воскресенье, пятнадцатого ноября?

– В воскресенье в полдень.

Най произвел мысленный подсчет и приободрился, придя к заключению, что за отрезок времени от двадцати до двадцати четырех

часов подозреваемые вполне могли успеть проделать путь туда и обратно общей протяженностью свыше восьмисот миль и по дороге убить четырех человек.

– Так, мистер Хикок, – сказал Най. – Теперь скажите, в воскресенье, когда ваш сын пришел домой, он был один? Или Перри Смит был с ним?

– Нет, он был один. Он сказал, что оставил Перри в гостинице «Олат».

Най, который довольно заметно гнусавил и оттого его голос звучал зловеще, старался говорить как можно мягче и непринужденнее:

– А не помните – вам ничего не показалось необычным в его поведении или манерах? Станным?

– В чьих?

– Вашего сына.

– Когда?

– Когда он вернулся из Форт-Скотта.

Мистер Хикок на минуту задумался, потом сказал:

– Да нет, он был такой же, как всегда. После его приезда мы почти сразу сели обедать. Он был голодный как волк. Начал накладывать себе в тарелку, не дожидаясь, пока я закончу молитву. Я это заметил и сказал: «Дик, ты метешь так быстро, что только ложка мелькает. Ты что же, остальным решил вообще ничего не оставлять?» Конечно, он всегда ел за двоих. Соленые огурчики. Он может в один присест съесть банку огурцов.

– А что он делал после обеда?

– Заснул мертвым сном, – сказал мистер Хикок, и казалось, собственный ответ его несколько ошеломил. – Сразу же заснул. И это, пожалуй, можно назвать странным. Мы собрались посмотреть баскетбольный матч. По телевизору. Я, Дик и второй наш мальчик, Дэвид. Почти тотчас же Дик захрапел как бензопила, и я еще сказал его брату: никогда не думал, что доживу до того дня, когда Дик заснет на баскетболе. И, однако ж, он заснул, прямо посреди трансляции. Только проснулся ненадолго, чтобы съесть холодный ужин, и сразу после того отправился в кровать.

Миссис Хикок вдела в штопальную иглу новую нитку; ее муж раскачивался в кресле и посасывал незажженную трубку. Наметанный глаз детектива бегло оглядел чистенькую скромную комнатку. В углу, прислоненное к стене, стояло ружье; Най и раньше его заметил. Поднявшись с места и взяв его в руки, он спросил:

– Вы много охотитесь, мистер Хикок?

– Это его ружье. Дика. Они с Дэвидом иногда ходят на охоту. На кроликов главным образом.

Это было ружье 12-го калибра, «Сэведж» 300-й модели; ложу украшали изящно выгравированные взлетающие фазаны.

– Как давно оно у Дика?

Вопрос детектива вывел миссис Хикок из задумчивости.

– Это ружье стоит больше сотни долларов. Дик купил его в кредит, и теперь магазин не берет его обратно, хотя оно всего месяц назад куплено и пользовались им только раз – в начале ноября, когда Дик с Дэвидом ездили в Гриннел поохотиться на фазанов. Он, когда его покупал, воспользовался нашими именами – ему папа разрешил, – так что теперь мы несем ответственность за выплаты, а ведь Уолтер так серьезно болен, да еще как подумаешь, сколько всего нам нужно было бы купить, а мы во всем себе отказываем... – Она задержала дыхание, словно пыталась остановить приступ икоты. – Вы уверены, что не хотите еще чашечку кофе, мистер Най? Не стесняйтесь.

Детектив прислонил ружье к стене, хотя не сомневался, что это то самое оружие, из которого были убиты Клаттеры.

– Спасибо, но уже поздно, а мне надо возвращаться в Топику, – сказал он и затем, сверившись с записями в блокноте, произнес: – Теперь я быстренько перечислю факты, а вы мне скажете, правильно ли я понял. Перри Смит прибыл в Канзас в четверг, двенадцатого ноября. По словам вашего сына, этот человек приехал сюда, чтобы забрать некую сумму денег у своей сестры, проживающей в Форт-Скотте. В ту субботу они вдвоем отправились в Форт-Скотт и остались там на ночь – я полагаю, в доме сестры?

Мистер Хикок сказал:

– Нет. Они ее так и не нашли. Похоже, она сменила адрес.

Най улыбнулся.

– Однако они остались там на ночь. И в течение следующей недели, то есть с пятнадцатого по двадцать первое, Дик продолжал встречаться со своим другом Перри Смитом, но в остальном, по крайней мере насколько вам это известно, вел обычный образ жизни: жил дома и говорил, что каждый день ходит на работу. Двадцать первого он исчез, и Перри Смит тоже. И с тех пор вы не получали от него никаких известий? Он не написал вам?

– Он боится, – сказала миссис Хикок. – Стыдится и боится.

– Стыдится?

– Да, того, что он совершил. Того, что снова причинил нам горе. И боится, потому что думает, что мы его не простим. Как всегда прощали. И будем. У вас есть дети, мистер Най?

Он кивнул.

– Тогда вы знаете, как это бывает.

– И последний вопрос. Может быть, у вас есть идея, любая, куда ваш сын мог уехать?

– Откройте карту, – сказал мистер Хикок. – Ткните пальцем – может быть, и попадете.

День клонился к вечеру, и водитель автомобиля, коммивояжер средних лет, которого мы здесь назовем мистером Беллом, устал. Ему не терпелось остановиться где-нибудь и поспать. Однако он был всего в ста милях от цели своего путешествия – Омахи, штат Небраска, где располагалась штаб-квартира большой мясоупаковочной компании, на которую он работал. Правила компании запрещали продавцам подбирать голосующих на дороге, но мистер Белл часто их нарушал, особенно если ему было скучно и клонило в сон, поэтому, когда он увидел на обочине двоих молодых людей, он немедленно затормозил.

Они показались ему «о'кей». Тот, что повыше, жилистый, с грязными коротко остриженными светлыми волосами, был учтив, и улыбка у него была приятная, и его товарищ, «коротышка», державший в правой руке губную гармонику, а в левой – раздутый плетеный чемодан, показался «очень даже милым», застенчивым, но дружелюбным. В любом случае, мистер Белл, совершенно не догадывавшийся о намерении своих гостей удавить его ремнем и, забрав деньги и машину, закопать труп в прерии, был рад компании, людям, с которыми можно поговорить, чтобы не заснуть по дороге.

Он представился, затем спросил, как их зовут, и приветливый молодой человек, севший рядом с ним на переднее сиденье, сказал, что его имя Дик. «А это – Перри», – сказал он, подмигнув Перри, сидящему за спиной водителя.

– Я могу довезти вас до Омахи, парни.

Дик сказал:

– Спасибо, сэр, мы как раз туда и направляемся. Надеемся подыскать какую-нибудь работу.

А какую они ищут работу? Коммивояжер подумал, что смог бы им помочь. Дик сказал:

– Я первоклассно крашу машины. И еще я хороший механик. Я привык честно отрабатывать свои деньги. Мы с приятелем только что из Старой Мексики. Думали обосноваться там. Но черт бы их побрал, эти мексиканцы ни шиша не платят за работу. На такие деньги белый человек

жить не может.

Ах, Мексика. Мистер Белл объяснил, что он провел медовый месяц в Куэрнвоке. «Мы всегда хотели еще раз туда съездить, но трудно разъезжать, когда у тебя пятеро детей».

Перри, как он позже вспоминал, подумал: пятеро детей – что ж, очень плохо. И слушая тщеславный треп Дика, слушая, как он расписывает свои «любовные победы» в Мексике, он думал: как это «нездорово», как «нарциссично». Подумать только, так выкладываться, чтобы произвести впечатление на человека, которого собираешься убить, человека, которого через десять минут уже не будет в живых, если их с Диком план не провалится. А с чего бы ему проваливаться? Все складывалось просто идеально – как раз такой случай они искали в течение трех дней, что им потребовались для переезда автостопом из Калифорнии в Неваду и через Неваду и Вайоминг в Небраску. До сих пор, однако, подходящей жертвы им не встретилось. Мистер Белл был первым преуспевающим на вид одиноким путешественником, который предложил их подвезти. До этого их подбирали или водители грузовика, или солдаты, а однажды – пара чернокожих чемпионов-борцов в «кадиллаке» нежно-сиреневого цвета. Но лучше мистера Белла жертвы просто не сыскать. Перри ребрами чувствовал содержимое кармана кожаной куртки. Карман сильно оттопыривался из-за флакона с «байеровским» аспирином и угловатого бульжника размером с кулак, завернутого в желтый ковбойский хлопчатобумажный платок. Перри расстегнул свой индейский пояс с серебряной пряжкой и бирюзовыми бусинками; он вытянул его, сложил вдвое и положил на колени. Он ждал. Пока же он смотрел, как мимо пролетают прерии Небраски, и баловался своей гармоникой – сочинял и наигрывал разные мелодии, поджидая, пока Дик подаст условный сигнал: «Эй, Перри, дай-ка мне спичку». После чего Дик, по плану, перехватывает рулевое колесо, а Перри в это время своим завернутым в платок бульжником обрабатывает голову коммивояжера – «раскраивает череп». Позже, на какой-нибудь тихой проселочной дороге настанет время воспользоваться поясом с голубыми бусинками.

Тем временем Дик и приговоренный обменивались анекдотами. Их хохот раздражал Перри; особенно его бесили раскаты смеха мистера Белла – самозабвенное твяканье, показавшееся ему очень похожим на смех отца, Текса Джона Смита. Воспоминание об отце усилило напряжение; у Перри заболела голова, занули колени. Он разжевал три таблетки аспирина и проглотил не запивая. Проклятье! Ему казалось, его сейчас вырвет или он потеряет сознание; это наверняка случится, если Дик будет откладывать

«потеху» слишком долго. Смеркалось, дорога шла по прямой, в поле зрения не было ни жилья, ни человека – только обнаженная зимняя земля, неприветливая, как лист железа. Теперь было самое время, именно теперь. Он посмотрел на Дика, словно передавая ему этот вывод, и по нескольким маленьким признакам – подергиванию века, бисеринкам пота над губой – понял, что Дик пришел к такому же заключению.

И все же, когда Дик снова заговорил, с его губ слетел очередной анекдот.

– Вот еще загадка. Загадка такая: что общего между туалетом и кладбищем? – Он усмехнулся. – Сдаются?

– Сдаюсь.

– Если уж тебе пора, то никуда не денешься!

Мистер Белл затыкал.

– Эй, Перри, дай-ка мне спичку.

Но в тот миг, когда Перри поднял руку и занес камень, произошло нечто экстраординарное – как Перри позже это назвал, «гребаное чудо». Чудо заключалось в неожиданном появлении третьего голосующего, солдата-негра, ради которого отзывчивый коммивояжер остановил машину. «Да, мило, очень мило, – проговорил он, пока его спаситель бежал к автомобилю. – Если уж тебе пора, то никуда не денешься!»

Декабрь, шестнадцатое, 1959, Лас-Вегас, штат Невада. Время и непогода смыли первую и последнюю буквы – К и Ы – таким образом получилось несколько зловещее слово: ОМНАТ. Это слово, едва различимое на выцветшей от солнца вывеске, вполне подходило к заведению, о котором оно извещало. Как написал в своем официальном рапорте Гарольд Най, «убогая и обшарпанная гостиница самого низкого класса». Далее говорилось следующее: «До недавнего времени (согласно информации, предоставленной полицией Лас-Вегаса) это была одна из самых больших ночлежек на Западе. Несколько лет назад произошел пожар и главное здание сгорело, а оставшуюся часть преобразовали в дешевые меблированные комнаты». «Вестибюль» был лишен всякой мебели, если не считать таковую кактус шести футов высотой и импровизированную конторку регистратора; к тому же он был необитаем. Детектив хлопнул в ладоши. Наконец голос женщины, но не очень женский, прокричал «иду-иду», однако его обладательница появилась только минут через пять. На ней был грязноватый халат и золотистые босоножки на высоких каблуках. Редкие желтоватые волосы завиты в локоны. Широкое мясистое лицо женщины наругано и напудрено. С собой она прихватила банку крепкого

пива «Миллер»; от нее пахло пивом, табаком и не успевшим подсохнуть лаком для ногтей. Ей было семьдесят четыре года, но, по мнению Ная, «выглядела она моложе – минут примерно на десять». Она окинула взглядом Ная, его хорошо сшитый коричневый костюм и коричневую шляпу с загнутыми спереди вниз полями. Когда он показал значок, она удивилась; губы ее разомкнулись, и Наю открылись два ряда вставных зубов.

– М-м-м. Так я и подумала, – сказала она. – Ну что ж, я вас слушаю.

Он протянул ей фотографию Ричарда Хикока.

– Вам знаком этот человек?

Отрицательное мычание.

– А этот?

– М-м-м. Он здесь останавливался пару раз. Но сейчас его нет. Выехал больше месяца назад. Хотите, посмотрим по книге?

Най облокотился на конторку и следил за тем, как длинные накрашенные ногти домовладелицы ищут на исписанной карандашом странице нужную запись. Лас-Вегас был первым в списке из трех пунктов, которые начальство велело ему объехать. Все эти пункты имели значение в жизни Перри Смита. Двумя другими были Рено, где предположительно жил отец Смита, и Сан-Франциско, место жительства сестры Смита, которую мы здесь будем называть миссис Фредерик Джонсон. Хотя Най собирался расспросить родственников и вообще всех, кто мог бы знать о местонахождении подозреваемого, его главной целью было получить помощь местных правоохранительных органов. Приехав в Лас-Вегас, например, он обсудил дело Клаттера с лейтенантом Б. Дж. Хэндлоном, главой следовательского подразделения Лас-Вегасского отдела полиции. Лейтенант немедленно написал меморандум, в котором всему отделу было приказано не пропустить Хикока и Смита: «Разыскиваются полицией штата Канзас за нарушение условий освобождения, по показаниям свидетелей, уехали в „шевроле" 1949 года с номером JO-58269, зарегистрированным в штате Канзас. Эти люди могут быть вооружены и, возможно, опасны». Еще Хэндлон выделил в помощь Наю детектива – «потрясти ростовщиков», как он выразился: «В любом городе, где играют на деньги, они есть». Вместе Най и лас-вегасский детектив проверили каждую закладную квитанцию, выписанную в течение прошлого месяца. Най, в частности, надеялся найти «Зенит», портативный радиоприемник, который предположительно был украден из дома Клаттеров в ночь убийства, но потерпел неудачу. Один делец, однако, вспомнил Смита («Он сюда приходил добрых десять лет») и смог найти квитанцию на коврик из

медвежьей шкуры, заложенный в первую неделю ноября. Именно из этой квитанции Най узнал адрес меблированных комнат.

– Зарегистрировался тринадцатого октября, – сказала домовладелица. – Выбыл одиннадцатого ноября. – Най поглядел на подпись Смита. Витиеватость ее, некоторая вычурность и заковыристость его удивила, но, очевидно, домовладелица предвидела такую реакцию, потому что сказала: – М-м-м... А вы бы послушали, как он говорит. Большие, длинные слова, а голос какой-то шипящий, как будто он шепчет. Яркая индивидуальность. Что у вас на него есть, на этого маленького прохвоста?

– Нарушение условий освобождения.

– М-м-м... Значит вы сюда приехали из Канзаса из-за такой ерунды. Ну хорошо, я – всего лишь сногшибательная блондинка. Я вам поверю. Но на вашем месте брюнеткам я бы такую чушь не рассказывала. – Она поднесла ко рту банку, допила пиво и задумчиво повертела пустую тару в веснушчатых руках с вздувшимися венами. – Но что бы он там ни натворил, это наверняка мелочь. Уж если я человека знаю, то знаю о нем все вплоть до размера обуви. Этот – просто прохвост. Маленький прохвост, он пытался меня уболтать, чтобы я простила ему арендную плату за последнюю неделю. – Она захихикала, видимо над нелепостью такой потуги.

Детектив спросил, сколько стоила комната Смита.

– Как обычно. Девять долларов в неделю. Плюс пятьдесят центов залог за ключ. Только наличные. Только вперед.

– Пока он жил здесь, как он проводил время? У него были друзья?

– Вы думаете, я слежу за каждой букашкой, которая сюда залетает? – ответила домовладелица. – Лодыри. Прохвосты. Они меня не интересуют. У меня и дочка уже взрослая, сама замужем. – Потом она сказала: – Нет, не было у него никаких друзей. Во всяком случае, я никогда не видела, чтоб он с кем-то общался. В последний раз, что он тут был, он все больше со своей машиной цацкался. Поставил ее вон там, напротив. Старый «форд», на вид старше его самого. И красил ее, верх в черный цвет, а все остальное в серебро. Потом написал на ветровом стекле «Продается». Один раз я слышала, как остановился какой-то сосунок и предлагал ему сорок долларов – ровно на сорок больше, чем она стоит. Но он решил, что меньше девяноста его не устроит. Сказал, что ему нужны деньги на билет на автобус. Прямо перед его отъездом мне сказали, что какой-то цветной все-таки купил эту машину.

– Он сказал, что деньги ему нужны, чтобы купить билет на автобус. Но вы не знаете, куда он собирался ехать?

Она поджала губы, воткнула между ними сигаретку, но продолжала смотреть детективу в глаза.

– Сыграем честно. Может, предложите мне денег? Вознаграждение? – Она ждала, но ответа не последовало, и, прикинув свои выгоды, хозяйка решила продолжать: – В общем, у меня создалось впечатление, что куда бы он ни собирался, надолго там задерживаться он не рассчитывал. Он явно собирался вернуться. Так что его можно ждать в любой день. – Она кивнула на коридор: – Пойдемте, я вам покажу, почему мне так показалось.

Лестница. Серые стены. Най машинально отделял один запах от другого: запах дезинфекции из уборной, алкоголя, окурков сигар. Возле одной двери стоял пьяный жилец и орал песни, не то с горя, не то с радости.

– Эй ты, Голландец, а ну-ка выключи звук! Сейчас же заткнись, а не то я тебя вышвырну! – прикрикнула женщина. – Здесь, – сказала она Наю, пропуская его в темную кладовку. Зажегся свет. – Вон она стоит, его коробка. Он меня попросил подержать ее у себя до его возвращения.

Это была картонная коробка, не заклеенная, а только перевязанная веревкой. На коробке была нацарапана предупреждающая надпись в духе египетского проклятия: «Осторожно! Собственность Перри Э. Смита! Осторожно!»

Най развязал веревку; к его большому сожалению, узел был не тот, какой убийцы использовали, связывая Клаттеров. Детектив открыл коробку, и из нее выполз таракан. Домовладелица наступила на него каблуком своей золотой босоножки. «Эй! – сказала она, увидев вещи, которые Най аккуратно извлек из коробки и принялся рассматривать. – Вот ворюга! Это мое полотенце». – Помимо полотенца дотошный Най занес в перечень следующие предметы: «Одна грязная подушка, „Сувенир из Гонолулу“; одно розовое детское одеяло; одна пара армейских штанов, одна алюминиевая сковородка с лопаточкой для блинов». Все остальное имущество заключалось в альбоме для вырезок, набитом фотографиями из журналов о спорте и физической культуре (потные тела тяжелоатлетов), и лекарствах, сложенных в коробку из-под обуви: зубные порошки и эликсиры от пародонтоза, а также невероятное количество аспирина – по меньшей мере дюжина флаконов, из них несколько пустых.

– Барахло, – подытожила домовладелица. – Просто хлам.

Действительно, это барахло было бесполезно даже для алчущего улик детектива. И все же Най был рад находке; каждый предмет – успокаивающий эликсир для воспаленных десен, засаленная подушка из Гонолулу – давал ему более четкое представление об их владельце и его

одиноким, безрадостным житье.

На следующий день в Рено, готовясь к официальному рапорту, Най написал: «В 9.00 утра уполномоченный агент вошел в контакт с мистером Биллом Дрисколлом, главным криминалистом офиса шерифа в округе Уошоу, Рено, штат Невада. После краткого обсуждения обстоятельств дела мистеру Дрисколлу были переданы фотографии, отпечатки пальцев и ордера на Хикока и Смита. Отдано распоряжение распространить между сотрудниками описание этих лиц, а также автомобиля. В 10.30 утра уполномоченный агент вошел в контакт с сержантом Эйбом Фера из детективного отдела полицейского управления Рено, штат Невада. Сержант Фера и уполномоченный агент проверили полицейские досье. В папке регистрации уголовных преступников ни один из интересующих людей не упоминался. Проверка квитанций из ломбарда не дала никакой информации о пропавшем радиоприемнике. На случай, если приемник все же был заложен в Рено, распространено его описание. Детектив, отрабатывающий линию ломбарда, показал фотографии Смита и Хикока в каждом из ломбардов города, а также лично проверил все магазины радиоаппаратуры. В ломбардах Смита опознали как частого клиента, но не смогли предоставить никакой дополнительной информации».

Так прошло утро. А в полдень Най отправился дальше, на поиски Текса Джона Смита. Но в первом же месте, в почтовом отделении, клерк из окна «до востребования» сказал ему, что он может больше не искать этого человека в Неваде, поскольку «человек» уехал в прошлом августе и теперь живет в окрестностях Серкл-Сити, штат Аляска. Во всяком случае, на этот адрес пересылают его почту.

– Черт побери! Не так это просто, – сказал клерк в ответ на просьбу Найа описать старшего Смита. – Парень из книжки. Называет себя Одиноким Волком. И часть почты даже адресована Одинокому Волку. Да нет, писем он получает немного, в основном каталоги разных товаров и рекламные брошюры. Просто удивительно, сколько людей заказывают эту макулатуру – наверное, чтобы получать хоть какую-нибудь почту. Сколько лет? Я бы ему дал шестьдесят. Одевается в стиле Дикого Запада – ковбойские сапоги, большая десятигаллонная шляпа. Он мне говорил, что когда-то занимался родео. Я с ним довольно много общался. Он здесь в последние годы бывал почти каждый день. Один раз за все это время он исчезал куда-то на месяц – будто бы ездил искать золото. Как-то раз в прошлом августе сюда подходил молодой человек, сказал, что он ищет отца, Текса Джона Смита, мол, не знаю ли я, где его найти. Он не слишком-то был похож на своего старика; Волк такой тонкогубый ирландец, а этот

парень казался почти чистокровным индейцем – волосы черные как вакса и глаза под стать. Но на следующее утро Волк сюда заходил и подтвердил его слова; он сказал мне, что его сын только что вернулся из армии и что они отправляются на Аляску. Он бывалый покоритель Аляски. Я так думаю, что когда-то он держал там гостиницу или что-то вроде охотничьего домика. Он сказал, что уезжает примерно на два года. Не-а, с тех пор я больше не видел ни его самого, ни его парня.

Джонсоны были новоселами в пригороде Сан-Франциско – микрорайоне для людей среднего достатка на холмах к северу от города. В полдень 18 декабря 1959 года молодая миссис Джонсон ожидала гостей: трех соседок, которые должны были пожаловать на чашечку кофе с пирогом, а если будет настроение, то и на партию в карты. Хозяйка немного нервничала; это был первый прием, который она устраивала в новом доме. В ожидании звонка в дверь она произвела заключительный обход, останавливаясь, чтобы подобрать с пола перышко или поправить рождественские украшения. Дом, так же как и все остальные дома на склоне холма, был обычным пригородным ранчо, милым и банальным. Миссис Джонсон он нравился; она просто влюбилась в панели красного дерева, ковровые покрытия, витражи по всей длине дома, вид из дальних окон – холмы, долина, а за ними небо и океан. И она гордилась маленьким садиком за домом. Ее муж – страховой агент по профессии и плотник по призванию – обнес его белым частоколом, внутри поставил собачью конуру, а также построил для детей песочницу и качели. В этот безоблачный день все четверо – собака, два маленьких мальчика и девочка – играли в садике; хозяйка надеялась, что они прорезвятся там до ухода гостей. Когда позвонили в дверь и миссис Джонсон пошла открывать, на ней было самое, по ее мнению, подходящее к случаю платье, желтое вязаное, которое облегалo ее фигуру и усиливало чайный оттенок ее индейского лица и черноту подстриженных перышками волос. Она открыла дверь, думая, что увидит трех соседок; но вместо них на пороге оказались двое незнакомцев. Мужчины дружно приподняли шляпы и показали свои значки. «Миссис Джонсон? – спросил один из них. – Моя фамилия Най. Это – инспектор Гатри. Мы из полиции Сан-Франциско, и только что к нам поступил запрос из Канзаса относительно вашего брата, Перри Эдварда Смита. Кажется, он не пришел отметить к судебному приставу, и мы хотели узнать, не могли бы вы нам что-нибудь сообщить о его местонахождении». Миссис Джонсон не встревожилась – и явно не удивилась, – узнав, что ее брат вновь привлек внимание полиции. Что ее

расстроило, так это перспектива быть застигнутой гостями во время беседы с детективами. Она сказала:

– Нет. Ничего. Я не видела Перри уже четыре года.

– Это серьезный вопрос, миссис Джонсон, – нахмурился Най. – Мы хотели бы его обсудить.

Миссис Джонсон не оставалось ничего другого, как только пригласить их в дом и предложить чашечку кофе, что было принято благосклонно. После этого она сказала:

– Я не видела Перри уже четыре года. И с тех пор, как он освободился, ничего о нем не слышала. Прошлым летом, когда он вышел из тюрьмы, он приехал к нашему отцу в Рено. Отец написал мне, что возвращается на Аляску и забирает Перри с собой. Потом он снова написал, наверное в сентябре, и был очень сердит. Они с Перри поссорились и разошлись, не успев доехать до границы штата. Перри повернул обратно; отец отправился дальше один.

– И с тех пор он вам не писал?

– Нет.

– Тогда, возможно, ваш брат присоединился к нему недавно. Примерно месяц назад.

– Я не знаю. Меня это не интересует.

– Вы в плохих отношениях?

– С Перри? Да. Я его боюсь.

– Но пока он был в Лансинге, вы писали ему довольно часто. Так нам сообщили из Канзаса, – сказал Най. Второй мужчина, инспектор Гатри, довольствовался ролью молчаливого напарника.

– Я хотела ему помочь. Я надеялась, что смогу повлиять на его представления о жизни. Теперь я стала умнее. Права других людей для Перри – ничто. У него нет ни капли уважения к человеку.

– А друзья? Вы не знаете, у кого он мог бы остановиться?

– Джо Джеймс, – сказала она и объяснила, что это молодой индеец, лесоруб и рыбак, который живет в лесу возле Беллингема, штат Вашингтон. Нет, она лично с ним не знакома, но из слов Перри она поняла, что его родные – добрые люди и часто выручали Перри в прошлом. Единственный друг Перри, которого она когда-либо видела, была юная леди, которая в июне 1955 года возникла на пороге Джонсонов, у нее было письмо от Перри, в котором он представил ее своей женой.

– Он писал, что у него неприятности, и спрашивал, не мог ли я позаботиться о его жене, пока он за ней не пришлет. Девушке на вид было лет двадцать; потом оказалось, что ей четырнадцать. И, конечно, ничьей

женой она не была. Но в тот момент я попала на эту удочку. Я ее пожалела и пригласила остаться у нас. Она осталась, хоть и не надолго. Меньше чем на неделю. И, уезжая, она прихватила с собой наши чемоданы и все, что в них поместилось – большую часть моей одежды и одежды моего мужа, серебро и даже часы с кухни.

– Где вы жили, когда все это произошло?

– В Денвере.

– Вы жили когда-нибудь в Форт-Скотте, штат Канзас?

– Никогда. Я сроду не бывала в Канзасе.

– Есть ли у вас сестра, которая живет в Форт-Скотте?

– Моя сестра умерла. Моя единственная сестра.

Най улыбнулся.

– Вы понимаете, миссис Джонсон, что нас задействовали на тот случай, если ваш брат войдет с вами в контакт. Напишет или позвонит. Или придет повидаться.

– Я надеюсь, этого не случится. На самом деле он не знает, что мы переехали. Он думает, что я все еще в Денвере. Пожалуйста, если вы его разыщете, не давайте ему мой адрес. Я боюсь.

– Вы имеете в виду, что боитесь, как бы он не причинил вам физического вреда?

Она поразмыслила, но не смогла ответить на этот вопрос.

– Не знаю, но я его боюсь. И всегда боялась. Он может притвориться таким отзывчивым и добросердечным. Нежным. Он так легко может заплакать. Иногда его трогает за душу музыка, а когда он был маленьким, он иногда плакал оттого, что закат уж больно красив. Или луна. О, он умеет заморочить голову. Умеет заставить людей себя пожалеть...

Раздался звонок. Нежелание миссис Джонсон открывать выдало ее тайные опасения, и Най (который позже описал ее так: «На протяжении всего разговора она оставалась спокойной и любезной. Исключительно сильная личность») потянулся за своей коричневой шляпой.

– Извините, что побеспокоили вас, миссис Джонсон. Но если вы узнаете что-нибудь о Перри, мы надеемся, что вам хватит здравого смысла нам позвонить. Спросите инспектора Гатри.

После отъезда детективов самообладание, столь восхитившее Ная, пошатнулось; приблизилось знакомое отчаяние. Она боролась с ним и сдерживала до конца вечера, до ухода гостей. Не давала ему себя захватить, пока кормила, купала и укладывала детей. Но после того, как она выслушала их вечерние молитвы, дурное настроение, подобно вечернему океанскому туману, окутавшему уличные фонари, сомкнулось вокруг нее.

Она сказала, что боится Перри, и это правда, но самого ли Перри она боялась или на самом деле боялась того мироустройства, частью которого он был, – ужасных судеб, уготованных жизнью четверым отпрыскам Флоренс Бакскин и Текса Джона Смита? Старший брат, которого она очень любила, застрелился; Ферн не то упала, не то выпрыгнула из окна; Перри избрал путь насилия, стал преступником. Итак, можно считать, что она единственная уцелела; и ее мучила мысль, что в свой срок она тоже будет повержена: сойдет с ума, заболеет неизлечимой болезнью или пожар лишит ее всего, что она ценит в жизни, – дома, мужа, детей.

Ее муж был в командировке. Обычно, когда она оставалась одна, ей никогда не хотелось выпить. Но в этот вечер она налила себе неразбавленного виски и устроилась на диванчике в гостиной с семейным альбомом на коленях.

Первую страницу венчала фотография ее отца – студийный портрет, сделанный в 1922 году, в год его женитьбы на молодой индейской наезднице мисс Флоренс Бакскин. Эта фотография неизменно приковывала к себе взгляд миссис Джонсон. Когда она на нее смотрела, ей становилось понятно, почему, хотя по существу они были такие разные, ее мать вышла замуж за ее отца. Молодой человек на снимке источал очарование зрелости. Все в нем: дерзкий наклон рыжей головы, слегка косящий левый глаз (как будто он прицеливается), крошечный ковбойский шейный платок – было чрезвычайно привлекательно. В целом отношение миссис Джонсон к отцу было двойственным, но одно она всегда в нем уважала – его силу духа. Она хорошо знала, насколько эксцентричным он казался окружающим и ей самой тоже. И однако, он был «настоящим мужчиной». Он многое умел делать, и делал играючи. Он мог свалить дерево точно в то место, которое наметил. Он мог освежевать медведя, починить часы, построить дом, испечь пирог, заштопать носок или поймать форель на согнутую булавку и обрывок бечевки. Однажды он в полном одиночестве зимовал на Аляске в самом глухом краю.

Один – по мнению миссис Джонсон, именно так и должны жить такие, как он. Жены, дети, робкая жизнь не для них.

Она перевернула несколько страниц с детскими фотографиями – снимками, сделанными в Юте и Неваде, Айдахо и Орегоне. Карьера родео «Текс и Фло» была на излете, и семья, жившая в старом грузовике, колесила по стране в поисках работы – а найти ее в 1933 году было непросто. «Семья Текса Джона Смита собирает ягоды в Орегоне, 1933 год» было написано под снимком четверых босоногих детишек в комбинезонах, глядящих в камеру с недовольным, одинаково усталым выражением лица.

Ягоды или черствый хлеб, политый сгущенкой, зачастую были их единственной пищей. Барбара Джонсон помнила, что однажды вся семья несколько дней питалась одними гнилыми бананами и что в результате Перри заработал колики; он кричал всю ночь, а Бобо, как в то время называли Барбару, плакала от страха, что он умрет.

Бобо была на три года старше Перри и обожала его; он был ее единственной игрушкой, куклой, которую она скребла и мыла, причесывала и целовала, а иногда шлепала. Было фото, где они двое голышом плещутся в сверкающих водах притока Колорадо. Пузатый брат, почерневший на солнце купидон, держал сестру за руку и хихикал, словно в бурлящем потоке скрывались щекочущие его призрачные пальцы. На другом снимке (миссис Джонсон думала, что скорее всего он был сделан на отдаленном ранчо в Неваде, где семья жила до того момента, когда заключительное сражение между родителями, жуткий поединок, в котором в ход были пущены хлысты, кипятик и керосиновые лампы, привел к распаду брака) они с Перри верхом на пони, головы наклонены друг к другу, щека касается щеки; позади них осенним заревом полыхают склоны гор.

Позже, когда дети вместе с матерью уехали в Сан-Франциско, любовь Бобо к маленькому братцу ослабла, а после и вовсе прошла. Он больше не был пупсиком, а превратился в дикаря, вора, грабителя. В первый раз его официально арестовали 27 октября 1936 года – в день, когда ему исполнилось восемь лет. В конечном счете, после заключения в разных детских учреждениях, его вернули отцу, и Бобо долго его не видела, разве что на фотографиях, которые Текс Джон иногда присылал своим детям, – эти снимки, надписанные белыми чернилами, тоже были вклеены в альбом. Там были «Перри, папа и пес Хаски», «Перри и папа моют золото», «Перри на Аляске охотится на медведя». На этом снимке был изображен пятнадцатилетний мальчик в меховой шапке, стоящий на снегоступах посреди заснеженной чащи с винтовкой за плечом; лицо у него унылое, глаза грустные и очень усталые. Глядя на эту фотокарточку, миссис Джонсон вспомнила «сцену», которую Перри ей однажды закатил в Денвере. Да, это был последний раз, когда она его видела, – весна 1955 года. Они говорили о его детстве, прошедшем рядом с Тексом Джоном, и внезапно Перри, который к тому моменту был уже изрядно пьян, толкнул ее и прижал к стенке.

– Я для него был негром, – сказал Перри. – Вот и все. Негром, который будет на него пахать задарма. Нет, Бобо, дай мне сказать. Заткнись, а то я тебя брошу в реку. Один раз я шел в Японии по мосту, и там стоял парень, которого я видел впервые, а я его схватил и бросил в реку.

Пожалуйста, Бобо. Пожалуйста, дослушай меня до конца. Ты думаешь, я себе нравлюсь? О, каким человеком я мог стать! Но этот убудок не дал мне возможности. Он не пускал меня в школу. Ладно. Ладно. Я был плохим мальчиком. Но время шло, я начал проситься в школу. У меня оказался блестящий ум. Это я тебе говорю на случай, если ты не знаешь. Блестящий ум и плюс еще талант. Но образования я так и не получил, потому что он не хотел, чтобы я учился, он хотел, чтобы я умел только таскать за ним поноску. Был тупым. Невежественным. Вот чего он от меня хотел. Чтобы я никогда не мог от него сбежать. Но ты, Бобо, ты ходила в школу. И ты, и Джимми, и Ферн. Каждый из вас, черт бы вас всех побрал, получил образование. Все, кроме меня. И я вас ненавижу, всех вас – и папу, и остальных.

Как будто для его брата и сестер жизнь была медом! Может, и так, только тогда медом называется постоянное вытирание маминой пьяной блевотины, отсутствие приличной одежды и полуголодное существование. Однако что правда, то правда, все трое закончили среднюю школу. Джимми так вообще был лучшим в классе, и этим он был обязан исключительно своей силе воли. И именно от этого, казалось Барбаре Джонсон, его самоубийство было таким зловещим. Сила воли, отвага, трудолюбие – ни одно из этих качеств не могло изменить участи детей Текса Джона. Их преследовал рок, против которого добродетель не была защитой. Не то чтобы Перри был добродетелен или Ферн. Когда Ферн было четырнадцать, она изменила имя, и всю оставшуюся часть своей короткой жизни она старалась оправдать новое имя: Джой³. Она была беспечной девочкой, «всеми любимой» – пожалуй, этих «всех» было многовато, так как она была равнодушна к мужчинам, хотя ей по разным причинам не очень с ними везло. Во всяком случае, мужчины того типа, который ей нравился, всегда ее бросали. Ее мать умерла в алкогольной коме, и она боялась пить – однако пила. Еще не достигнув двадцати лет, Джой-Ферн начинала день с бутылки пива. Позже одним летним вечером она упала из окна гостиничного номера. При падении она ударилась о шатер театра, отскочила от него и скатилась под колеса такси. Наверху в пустом номере полиция нашла ее туфли, кошелек без денег и бутылку из-под виски.

Можно было понять Ферн и простить ее, но у Джимми была совсем другая история. Миссис Джонсон посмотрела на его фотографию, на которой он был в морской форме; во время войны он служил во флоте. Стройный, бледный молодой моряк с удлиненным лицом, овеванным строгостью и праведностью, он стоит, обняв за талию девушку, на которой позже женился, и, по мнению миссис Джонсон, как раз этого ему делать не

следовало, потому что у них не было ничего общего – серьезный Джимми и эта флотская девчонка, на чьих стеклянных бусинках играло теперь уже давно померкшее солнце. Но то чувство, которое Джимми к ней питал, никак нельзя было назвать нормальной любовью; это была страсть – страсть, доходящая до патологии. Что касается девушки, то она, должно быть, любила его, и любила по-настоящему, иначе не сделала бы того, что сделала. Если бы только Джимми в это поверил! Если бы он был способен поверить. Но ревность совершенно им овладела. Он терзался мыслями о мужчинах, с которыми она спала до женитьбы; более того, он был уверен, что она продолжает вести распутный образ жизни – что каждый раз, когда он уходит в море или даже просто покидает дом на несколько часов, она изменяет ему с многочисленными любовниками, и без конца требовал от нее признать их существование. Потом она нацелила себе между глаз дуло ружья и нажала спусковой крючок пальцем ноги. Когда Джимми нашел ее, он не вызывал полицию. Он поднял ее на руки, положил на кровать и лег рядом. Приблизительно на рассвете следующего дня он перезарядил ружье и покончил с собой.

Против портрета Джимми и его жены была фотография Перри в военной форме. Это была вырезка из газеты, и сопровождалась она таким текстом: «Штаб Армии Соединенных Штатов, штат Аляска. Капитан Мэйсон, служащий отдела информации, приветствует прибывшего на базу военно-воздушных сил в Эльмендорфе рядового Перри Э. Смита 23 лет – первого ветерана корейской войны, который вернулся в Анкоридж, штат Аляска. Смит 15 месяцев прослужил военным инженером в 24-й дивизии. Перелет из Сиэтла в Анкоридж стал подарком Смицу от Северных тихоокеанских авиалиний. Бортпроводница мисс Линн Маркиз приветливо улыбается пассажиру. (Официальная фотография Армии США.)». Капитан Мэйсон смотрит на рядового Смита, протягивая ему руку, но рядовой Смит смотрит в объектив. В выражении его лица миссис Джонсон виделась, или мерещилась, не благодарность, но высокомерие, а вместо гордости – непомерное тщеславие. Вполне могло быть, что он встретил на мосту человека и сбросил его в воду. Конечно же, так все и было. Она никогда в этом не сомневалась.

Барбара закрыла альбом и включила телевизор, но это ее не утешило. Что если он вдруг заявится? Детективы ее нашли, почему бы и Перри не найти? Может не рассчитывать на ее помощь, она даже в дом его не впустит. Передняя дверь была заперта, но дверь в сад открыта. Сад был весь белый от морского тумана; может быть, это собрались духи: мама, Джимми, Ферн. Запирая дверь на засов, миссис Джонсон принимала меры

предосторожности не только против живых людей.

Ливень. Дождь. Льет как из ведра. Дик побежал. Перри припустил за ним, но он не мог бежать так быстро: ноги его были короче, и он тащил чемодан. Дик забежал в укрытие – сарай около шоссе – намного раньше него. После отъезда из Омахи, проведя ночь в ночлежке Армии спасения, они пересекли границу между Небраской и Айовой на попутном грузовике. Последние несколько часов они шли пешком. Дождь начался, когда они были в шестнадцати милях севернее айовского поселка под названием Тенвилл-Джанкшн.

В сарае было темно.

– Дик? – окликнул Перри.

– Сюда, – отозвался Дик. Он развалился на ложе из сена.

Перри, промокший и дрожащий от холода, опустился рядом с ним.

– Я так задубел, – сказал он, зарываясь в сено, – я так задубел, что не расстроюсь, если сарай загорится и я сгорю заживо.

К тому же он был голоден. Умирал с голоду. Прошлым вечером они пообедали миской супа в Армии спасения, а сегодня их единственной пищей были шоколадки и жевательная резинка, которую Дик украл в аптеке.

– «Хершес» кончились? – спросил Перри.

Да, зато осталась еще пачка жевательной резинки. Они поделили ее поровну, и каждый принялся чавкать своими двумя с половиной пластинками «Даблминта», любимой жвачки Дика (Перри предпочитал «Джуси фрут»). С деньгами было туго. Катастрофическая нехватка их привела к тому, что Дик решил совершить, как считал Перри, «сумасшедшую выходку» – вернуться в Канзас-Сити. Когда Дик впервые заговорил о возвращении, Перри сказал: «Тебе надо показаться доктору». Теперь, прижавшись друг к другу в холодной темноте, слушая темный, холодный дождь, они снова заспорили. Перри еще раз перечислил все опасности возвращения, ведь совершенно ясно, что к этому времени Дика уже разыскивают за нарушение условий освобождения – «это как минимум». Но Дик был непоколебим. В Канзас-Сити, настаивал он, можно будет успешно «впарить несколько паленых чеков».

– Черт, я знаю, что придется быть осторожными. Я знаю, что нас уже объявили в розыск из-за тех чеков. Но мы быстро смотаемся. Хватит и одного дня. Если хапнем по-крупному, можно будет поехать во Флориду. Встретим Рождество в Майами – а понравится, так останемся на зиму.

Но Перри жевал резинку и угрюмо дрожал. Дик спросил:

– Ты чего это, дружок? Думаешь о том, другом деле? Какого черта ты не можешь о нем забыть? Они никогда не найдут никакой связи. Никогда.

Перри сказал:

– Вдруг ты ошибаешься. А если ты ошибаешься, то это Перекладина. – Никто из них прежде не упоминал о высшей мере наказания, принятой в штате Канзас, – виселице, или смерти на Перекладине, как обитатели Канзасской исправительной колонии именовали приспособление, необходимое для того, чтобы повесить человека.

– Комик, – фыркнул Дик. – Ты меня уморил.

Он чиркнул спичкой, намереваясь закурить сигарету, но то, что он увидел при свете вспыхнувшей спички, заставило его вскочить на ноги и подбежать к стойлу для коров. В стойле стоял автомобиль, черно-белый двухдверный «шевроле» 1956 года. Ключ зажигания торчал внутри.

Дьюи был твердо намерен скрыть от «гражданских лиц» все, что касалось решающего прорыва в деле Клаттера, – настолько твердо, что даже пошел на сговор с двумя профессиональными глашатаями Гарден-Сити – Биллом Брауном, редактором «Телеграм», и Робертом Уэллсом, менеджером местной радиостанции. Обрисовывая им ситуацию, Дьюи подчеркнул причину, вынуждающую его придавать соблюдению секретности такое значение: «Помните – всегда остается вероятность, что эти люди невиновны».

Эта вероятность была слишком реальна, чтобы ею пренебрегать. Флэйд Уэллс мог просто-напросто все выдумать: заключенные частенько сочиняли подобные истории в надежде на привилегии или на благосклонность официальных лиц. Но даже если каждое слово Уэллса было истинно, как Священное Писание, Дьюи и его коллеги еще не раскопали ни единой надежной улики – «улики, которую можно предъявить суду». Все, что к этому моменту было известно, можно было расценить как редкое, но все же вполне вероятное совпадение. Только из того, что Смит ездил в Канзас к своему приятелю Хикоку, только из того, что у Хикока было ружье такого же калибра, как то, из которого были убиты Клаттеры, и только из того, что подозреваемые запаслись ложным алиби на ночь 14 ноября, еще не следовало, что они непременно и есть убийцы.

– Но мы не сомневаемся, что это они. Никто из нас не сомневается. Не будь мы в этом уверены, мы не объявили бы розыск по семнадцати штатам, от Арканзаса до Орегона. Но имейте в виду: может пройти несколько лет, прежде чем мы их поймем. Быть может, они разделились. Или уехали из страны. Есть предположение, что они отправились на Аляску, – а на Аляске

затеряться нетрудно. Чем дольше они остаются на свободе, тем меньше у нас остается шансов. Честно говоря, если учесть все обстоятельства, у нас вообще мизерные шансы. Мы можем повязать этих ублюдков завтра, но вряд ли сумеем что-нибудь доказать.

Дьюи не преувеличивал. За исключением двух отпечатков сапог – один с ромбическим рисунком, другой с рисунком в виде кошачьей лапки – убийцы не оставили после себя никаких улик. И поскольку они проявили такую заботливость, логично было предположить, что и от обуви, оставившей эти следы, они давным-давно избавились. И от радиоприемника – если принять как факт, что именно они его украли, а с этим Дьюи пока не спешил соглашаться, потому что это казалось ему «нелепо несоразмерным» с масштабом преступления и хитростью преступников; он не мог себе представить, чтобы люди, которые вломилась в дом, где надеялись найти набитый деньгами сейф, не найдя его, сочли целесообразным убить всю семью ради нескольких долларов да маленького приемника. «Без признания мы никогда не добьемся их осуждения, – говорил он. – Таково мое мнение. И именно поэтому никакая осторожность не будет излишней. Они думают, что они вне подозрений. Отлично, нам ни к чему, чтобы они узнали обратное. Чем больше они будут уверены в своей безопасности, тем скорее мы их схватим».

Но тайны не заживаются в городке размером с Гарден-Сити. Любой, кто пришел бы в офис шерифа – три практически лишенных мебели, зато переполненных людьми комнаты на третьем этаже здания окружного суда, – сразу почувствовал бы странную, почти зловещую атмосферу. Суета и сердитый гул последних недель сменились вибрирующей тишиной. Миссис Ричардсон, секретарша, личность весьма приземленная, в одночасье начала говорить шепотом и ходить на цыпочках, а те, кого она обслуживала – шериф и его люди, Дьюи и призванная на подмогу команда Канзасского бюро расследований, – стали говорить вполголоса. Складывалось впечатление, что они, словно охотники в засаде, боятся резким звуком или движением спугнуть приближающуюся дичь.

А по городу поползли слухи. «Комната свиты» в гостинице «Уоррен» – кофейня, которая служит для бизнесменов Гарден-Сити подобием частного клуба, – превратилась в пещеру, полную эха предположений и слухов. Например, кто-то слышал, будто некий занимающий высокое положение гражданин вот-вот будет арестован. Или теперь наверняка было известно, что преступление совершено убийцами, которых наняли недоброжелатели Канзасской ассоциации производителей пшеницы – прогрессивной организации, в которой мистер Клаттер занимал важное место. Из

множества циркулирующих по городу слухов самый близкий к истине пустил известный автомобильный дилер (он отказался раскрывать свой источник): «Кажется, был парень, который работал у Герба году в 47-м или 48-м. Обычный помощник на ранчо. Говорят, потом он угодил в тюрьму, и там у него появилась уйма времени поразмышлять о том, какой богатый человек Герб. И вот, когда около месяца назад его выпустили на волю, первое, что он сделал, – приехал сюда, чтобы убить и ограбить этих людей».

Но в семи милях к западу, в Холкомбе, и не подозревали о надвигающейся сенсации – в основном потому, что трагедия Клаттеров была запрещенной темой в обоих центрах бесплатных сплетен: на почте и в «Кафе Хартман». «Что до меня, то я не желаю больше об этом слышать, – заявила миссис Хартман. – Я всем сказала – так больше жить нельзя. Никому не доверять, пугать друг друга до смерти. И я повторяю – если хотите об этом болтать, идите в другое место».

Мирт Клэр выразилась еще сильнее: – Люди приходят сюда купить конверт за пять центов и при этом воображают, будто могут просидеть у меня еще три часа и тридцать три минуты, перебивая косточки Клаттерам. Поливать грязью своих соседей. Гремучие змеи, вот кто они такие. У меня нет времени их слушать. Я занимаюсь делом, я – представитель правительства Соединенных Штатов. Как ни крути, история мерзкая. Эл Дьюи и эти резвые копы из Топики и Канзас-Сити видят на три метра в землю, но я не знаю никого, кто продолжал бы надеяться, будто у них есть хоть один чертов шанс поймать преступника. Вот поэтому я и говорю, что разумнее всего заткнуться. Человек живет, пока не умрет, и не имеет значения, как именно он умрет; мертвый есть мертвый. Так чего толку орать, как мешок мартовских котов, только потому, что Гербу Клаттеру перерезали горло? Как ни крути, все это мерзко. Полли Стрингер, которая в школе работает, знаете? Полли Стрингер приходила сегодня утром. Сказала, что только сейчас, когда прошло уже больше месяца, только сейчас дети начинают успокаиваться. И я подумала: что будет, если арестуют *кого-то*? Это ведь наверняка окажется человек, которого все здесь знают. И вспыхнет такой пожар, что котел опять забурлит, едва начав остывать. А с нас уже хватит волнений, таково мое мнение.

В этот ранний час – еще не было девяти – Перри был первым клиентом в прачечной самообслуживания «Уошатерия». Он открыл свой пухлый плетеный чемодан, извлек оттуда ком рубашек, носков и шорт (одни его, другие Дика), бросил их в барабан и скормил машине жетон – их было

куплено в Мексике огромное количество.

Перри был хорошо знаком с работой подобных центров и часто с успехом пользовался их услугами, поскольку обычно спокойное ожидание окончания стирки казалось ему «располагающим к отдыху». Ты сидишь, а одежда сама становится чистой. Но не сегодня. Он был слишком напуган. Несмотря на все его предостережения, Дик настоял на своем. Они вернулись назад в Канзас-Сити – без гроша, налегке и в чужой машине! Всю ночь они гнали краденый «шевроле» сквозь пелену дождя и остановились лишь дважды – чтобы слить бензин из автомобилей, припаркованных на пустынных улицах маленьких спящих городков. (В этом деле Перри, как он сам говорил, не знал себе равных. «Кусок шланга – вот моя кредитная карточка в путешествиях».) Достигнув на рассвете Канзас-Сити, путешественники сначала отправились в аэропорт, где в мужской уборной умылись, побрились и почистили зубы; вздремнув пару часов в зале ожидания, они возвратились в город. После этого Дик оставил своего напарника в прачечной, пообещав вернуться в течение часа.

Когда вещи были выстираны и высушены, Перри вновь упаковал их в чемодан. Было уже больше десяти. Дик, предположительно занятый сейчас «втихоживанием чека», запаздывал. Перри уселся ждать, выбрав скамейку, на которой, всего на расстоянии вытянутой руки, какая-то женщина оставила сумочку; Перри испытал большой соблазн скользнуть рукой внутрь, и только появление владелицы прачечной, дамы, дородностью затмевавшей всех своих сестер по бизнесу, его удержало. Однажды, когда Перри был еще полубеспорядочным мальчишкой и жил в Сан-Франциско, они с «китайчком» (Томми Чанг? Томми Ли?) объединились в команду по «отъему сумочек». Перри с удовольствием – это неизменно поднимало ему настроение – вспоминал их совместные эскапады. «Как-то раз мы крались за одной старой дамой – настоящей *старухой*, – и Томми схватил ее сумочку. Но она ее не выпустила, а, наоборот, вцепилась, как тиф. Чем сильнее Томми тянул в одну сторону, тем сильнее она тянула в другую. Потом она заметила меня и крикнула: „Помоги же мне!“ А я сказал: „Черт, леди, я помогаю *ему!* и стукнул ее хорошенько. Сбил с ног. Вся наша добыча была девяносто центов, это я точно помню. Мы пошли в китайский ресторан и наелись до отвала».

С тех пор жизнь его мало изменилась. Перри стал на двадцать дурацких лет старше, на сотню фунтов тяжелее, но его материальное положение не улучшилось ни на йоту. Он по-прежнему оставался (человек с его интеллектом, с его талантами – просто невероятно!), так сказать, уличным мальчишкой, зависящим от краденых грошей.

Часы на стене продолжали приковывать его взгляд. В половине одиннадцатого Перри начал волноваться; в одиннадцать его ноги пронзила боль: вечный спутник Перри, признак приближающейся паники – «гон волны». Он проглотил таблетку аспирина и попытался выбросить из головы – или по крайней мере смазать – яркую кавалькаду образов. Процессию страшных видений: Дика арестовывают во время заполнения фальшивого чека или останавливают за незначительное нарушение правил движения (и обнаруживают, что он за рулем «горячей» машины). Весьма вероятно, в это самое время Дик сидит под арестом в окружении красногалстучных детективов. И они говорят не о мелочах: фальшивых чеках или краденой машине. Убийство – вот тема допроса, ибо каким-то образом связь, которую, по мнению Дика, никто не мог найти, была все же найдена. И как раз в эту минуту полицейские машины Канзас-Сити мчатся к «Уошатерии».

Но нет, у него просто разыгралось воображение. Дик никогда бы не раскололся. Сколько раз он похвалялся: «Они могут избить меня до полусмерти, все равно я им ничего не скажу». Конечно, Дик хвастун; его твердость, как Перри успел понять, существовала исключительно в ситуациях, в которых он имел бесспорное преимущество. Внезапно Перри с облегчением подумал, что длительное отсутствие Дика объясняется менее ужасными причинами: он пошел навестить родителей. Конечно, это тоже рискованное дело, но Дик был к ним «привязан», во всяком случае, сам так заявлял, и ночью в машине он сказал Перри: «Очень хочется своих повидать. Они никому не скажут ничего такого, из-за чего нас могли бы взять за жабры. Только мне стыдно. Боюсь услышать, что скажет мать. Насчет чеков. И того, как мы уехали. Жаль, что нельзя позвонить, узнать, как они там». И правда, жаль, что у Хикоков нет телефона; а то Перри позвонил бы туда – убедиться, что Дик у них.

Прошло еще несколько минут, и им опять овладел страх, что Дик арестован. Ноги горели, и боль отдавалась во всем теле; запах прачечной внезапно вызвал у него отвращение, Перри поднялся и вышел. Его едва не стошнило, он дышал мелко и часто, «как с похмельюги». Канзас-Сити! Разве он не знал, что Канзас-Сити – это верный завал, и умолял Дика держаться отсюда подальше? Сейчас-то, наверное, Дик жалеет, что не послушал его. «А как же я? – подумал Перри. – С двадцатью центами и кучей жетонов в кармане?» Куда идти? Кто поможет? Бобо? Ни малейшей надежды! Зато ее муж мог бы помочь. Если бы Фред Джонсон имел возможность поступать по своему усмотрению, он бы гарантировал Перри трудоустройство после выхода из тюрьмы, и это ускорило бы его освобождение. Но Бобо не

разрешила; она сказала, что это чревато неприятностями и даже опасно. И она написала Перри письмо, в котором так прямо все и сказала. В один прекрасный день он с ней посчитается, отведет душу. Поговорит с ней, расскажет, на что он способен, подробно распишет, что сделал с такими же людьми, как она: респектабельными, благополучными и самодовольными. Интересно будет увидеть ее глаза, когда она поймет, как он бывает опасен. Уж наверное ради этого стоит съездить в Денвер. Так он и сделает – поедет в Денвер и навестит Джонсонов. Фред даст ему подъемные – ему придется раскошелиться, если он хочет избавиться от брата своей жены.

Тут к нему подошел Дик.

– Эй, Перри, – сказал он. – Тебе плохо?

Звук его голоса подействовал на Перри как инъекция мощного наркотика, который, разливаясь по венам, вызывает бурю противоречивых чувств: напряжения и облегчения, ярости и приязни. Перри сжал кулаки и шагнул к Дику.

– Ты сукин сын! – крикнул он.

Дик усмехнулся:

– Ладно. Пошли поедим.

Но объяснения – и извинения тоже – все-таки были произнесены за миской мексиканского супа в «Закусочной Орла», любимой забегаловке Дика в Канзас-Сити:

– Извини, друг, представляю, как тебе пришлось подергаться. Ты, конечно, подумал, что меня взяли. Но удача сама шла в руки, грех было ее упустить. – Дик объяснил, что, расставшись с Перри, он направился в компанию «Маркл Бьюик», где когда-то работал. Дик рассчитывал найти комплект номеров, чтобы заменить номера на угнанном «шевроле». – Никто не видел, как я вошел. «Маркл» вовсю торгует разбитыми машинами. Ну и конечно, там нашелся разбитый «Де Сото» с канзасскими номерами.

– И где они сейчас?

– На нашей детской коляске, приятель.

Старые номера Дик утопил в городском пруду.

Потом он остановился на заправке, где работал его бывший одноклассник по имени Стив, и убедил Стива обменять на деньги чек на пятьдесят долларов. До сих пор Дик еще не грабил друзей; это был первый случай. Что ж, больше они со Стивом не встретятся. Дик рванет из Канзас-Сити сегодня вечером, и на сей раз действительно навсегда. Так отчего бы не постричь парочку старых друзей? Придя к такой мысли, он обратился к другому из своих бывших одноклассников, аптекарю. Таким образом

выручка возросла до семидесяти пяти долларов. «Днем догоним до пары сотен. Я составил список мест, которые надо проведать. Шесть или семь, начиная с этого, – сказал он, имея в виду „Закусочную Орла“, где все как один – бармен и официанты – знали и любили его и даже придумали ему кличку Огурчик (в честь его любимого кушанья). – А потом – здравствуй, Флорида. Как тебе такой план, братишка? Разве я тебе не обещал, что Рождество мы будем встречать в Майами? Как все порядочные миллионеры».

Дьюи и его коллега по Канзасскому бюро расследований, агент Кларенс Дунц, стояли, ожидая пока освободится столик в «Комнате свиты». Оглядывая привычную галерею обедающих – гладкие бизнесмены и заскорузлые от солнца владельцы ранчо, – Дьюи кивал хорошим знакомым: окружному коронеру, доктору Фентону; управляющему отеля Тому Махару; Харрисону Смигу, который в прошлом году баллотировался на должность прокурора округа и проиграл выборы Дуэйну Уэсту; а также Герберту У. Клаттеру, хозяину фермы «Речная Долина» и однокласснику Дьюи по воскресной школе. *Одну минуточку!* Разве Герб Клаттер не умер? И разве Дьюи не присутствовал лично на его похоронах? И однако он сидел в угловой кабинке «Комнаты свиты». Смерть не изменила его живых карих глаз и приветливого лица с квадратным подбородком. Но Герб был не один. За тем же столиком находились два молодых человека, и Дьюи, узнав их, толкнул Дунца в бок.

– Гляди.

– Куда?

– Вон, в углу.

– Будь я проклят!

Хикок и Смит! Но момент узнавания оказался обоюдным. Эти ребята почувяли опасность. Вскочив на ноги, они выломались сквозь наборные окна «Комнаты свиты», а за ними выскочили Дунц и Дьюи. Они помчались по Мэйн-стрит мимо ювелирного магазина Палмера, аптеки Норриса, кафе «Гарден», потом повернули за угол, понеслись к складу, забежали внутрь, выбежали и затеяли игру в прятки между белых башен зернохранилища. Дьюи и Дунц выхватили пистолеты, но стоило им прицелиться, произошло нечто сверхъестественное. Внезапно, совершенно непостижимым образом (словно во сне!), все поплыли – и преследуемые, и преследователи – по глади страшной ширины воды, которую Торговая палата Гарден-Сити величала «Самым большим в мире БЕСПЛАТНЫМ плавательным бассейном». Только детективы начали настигать свою дичь, как вновь

непонятно почему (как это могло случиться? Спит он, что ли?) картинка растаяла и возник уже другой ландшафт: кладбище Вэлли-Вью, серо-зеленый остров могил, деревьев и усыпанных цветами дорожек, умиротворяюще-тенистый, шелестящий листвой оазис, лежащий подобно прохладной тени облака на сверкающих пшеничных равнинах к северу от города. Но теперь Дунц исчез, и Дьюи продолжал преследование в одиночку. Хотя он никого не видел, ему было совершенно ясно, что преступники скрываются среди могил, присев за чьим-нибудь надгробным камнем, может быть даже за надгробием его собственного отца: «*Элвин Адаме Дьюи, 6 сентября 1879 г. – 26 января 1948 г.*». Держа пистолет наготове, он полз между торжественными рядами памятников, пока не услышал смех, и, проследив, откуда он доносится, увидел, что Хикок и Смит вовсе не скрываются, а стоят на пока еще не обозначенной памятником общей могиле Герба, Бонни, Нэнси и Кеньона. Стоят, широко расставив ноги, уперев руки в бока, откинув назад головы, и смеются. Дьюи выстрелил... потом еще раз... и еще... Но ни один из преступников не упал, хотя он обоим ровно три раза попал в самое сердце; они просто начали довольно медленно растворяться в воздухе, постепенно становясь невидимыми, бесплотными, а громкий смех обступил Дьюи со всех сторон, пока он, склоняясь под ним, как под ветром, не побежал прочь, полный таким страшным отчаянием, что оно его разбудило.

Когда он проснулся, взмокший и всклокоченный, словно перепуганный десятилетний мальчишка, в комнате – это был кабинет в офисе шерифа, где он заперся перед тем, как отключился за столом, – стало уже почти совсем темно. Прислушавшись, он различил звонок телефона миссис Ричардсон в смежном кабинете. Но она не снимет трубку: офис уже закрыт. Направляясь к выходу, он прошел мимо надрывающегося телефона с решительным безразличием, но вдруг передумал. Это могла звонить Мэри, которая хочет выяснить, когда он пойдет домой и когда ей подавать обед.

- Будьте добры мистера Э. А. Дьюи, это звонят из Канзас-Сити.
- Дьюи слушает.
- Говорите, Канзас-Сити. Абонент на проводе.
- Эл? Братец Най.
- Да, Братишка.
- Готовься услышать очень большие новости.
- Я готов.
- Наши друзья здесь. Непосредственно в Канзас-Сити.
- Как ты узнал?

– Ну, они не делают из этого большой тайны. Хикок выписывает чеки половине города, причем использует свое настоящее имя.

– Настоящее имя. Значит, задерживаться он не собирается – или же чувствует себя чертовски уверенно. Так Смит все еще с ним?

– О, они оба в полном порядке. Но уже сменили машину. «Шевроле» тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, черно-белый, двухдверный.

– Номера канзасские?

– Номера канзасские. И знаешь, Эл, нам повезло! Они купили телевизор, понимаешь? Хикок дал продавцу чек. А когда они отъезжали, парень догадался записать на чеке номер их лицензии. Лицензия № 16212 округа Джонсон.

– Регистрацию проверили?

– И знаешь что?

– Машина краденая.

– Несомненно. Но номера определенно поменяли. Наши друзья сняли их с разбитого «Де Сото» в местном гараже.

– Известно когда?

– Вчера утром. Шеф [Логан Сэнфорд] объявил тревогу и разослал по всем постам описание автомобиля и номер лицензии.

– А ферма Хикока? Если они до сих пор в этих краях, мне кажется, рано или поздно они туда заглянут.

– Не беспокойся. За фермой мы наблюдаем. Эл...

– Я здесь.

– Вот чего бы я хотел на Рождество. Все, чего я хочу. Покончить с этим делом. Покончить и проспять до Нового года, разве это не классный подарок?

– Что ж, я надеюсь, ты его получишь.

– Я надеюсь, мы оба его получим.

Позже, пересекая темную площадь перед зданием суда, задумчиво шурша ботинками по стихийно образовавшимся курганам сухих листьев, Дьюи спрашивал себя, почему он не ликует, почему теперь, когда он узнал, что подозреваемые не затерялись где-нибудь на Аляске, или в Мексике, или в Тимбукту, когда их с минуты на минуту могут арестовать, – почему он не испытывает ни малейшего душевного подъема? Во всем виноват этот сон, оставивший после себя ощущение монотонной работы; из-за него Дьюи с сомнением воспринял сообщение Ная – в некотором смысле просто ему не поверил. Вряд ли Хикока и Смита поймают в Канзас-Сити. Они неуязвимы.

На Оушн-драйв, 335 в Майами-Бич находился отель «Сомерсет»,

маленькое квадратное здание, окрашенное в более или менее белый цвет с сиреневой отделкой, в том числе и с сиреневой вывеской, на которой было написано:

СВОБОДНЫЕ КОМНАТЫ –
САМЫЕ НИЗКИЕ РАСЦЕНКИ –
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ПЛЯЖ –
ГАРАНТИРОВАННЫЙ БРИЗ.

Небольшой отель стоял в ряду таких же отелей, идущем вдоль белой унылой улицы. В декабре 1959 года «благоустроенность» пляжа, которую предоставлял «Сомерсет», заключалась в двух пляжных зонтиках, воткнутых в полоску песка на задах отеля. На одном из зонтиков – розовом – была надпись: «Мы подаем мороженое „Валентайн"». В полдень на Рождество вокруг этого зонтика и под ним расположились четыре женщины и развлекавший их транзистор. Второй зонтик, голубой, на котором был написан призыв «Загорай с „Коппертоном"», укрывал от солнца Дика и Перри, которые уже пять дней жили в «Сомерсете» в номере на двоих за восемнадцать долларов в неделю. Перри сказал:

- Ты мне еще не пожелал веселого Рождества.
- Веселого Рождества, дружок. И счастливого Нового года.

Дик был в плавках, а Перри, как и в Акапулько, отказался выставлять на обозрение свои покалеченные ноги – боялся, что их вид может оскорбить чувства остальных посетителей пляжа, – и поэтому сидел совершенно одетый, даже в носках и ботинках. Однако он не испытывал большого неудобства, и когда Дик стал выполнять физические упражнения – стойку на голове, которой надеялся произвести впечатление на дам под розовым зонтиком, – Перри погрузился в чтение «Майами геральд». На развороте была напечатана статья, которая приковала его внимание. В ней рассказывалось об убийстве одной семьи во Флориде: мистера и миссис Клиффорд Уокер, их четырехлетнего сына и двухлетней дочери. Всем жертвам прострелили голову из ружья 22-го калибра, правда, их никто не связал и не залепил им рты. Это лишенное очевидного мотива и улик преступление произошло ночью, в субботу 19 декабря, в доме Уокеров на ранчо недалеко от Таллахасси.

Перри прервал гимнастические упражнения Дика, чтобы прочитать ему вслух эту историю, и спросил:

- Где мы были в прошлую субботу ночью?
- В Таллахасси?
- Это я тебя спрашиваю.

Дик сосредоточился. В четверг ночью, по очереди садясь за руль, они

выехали из Канзаса, потом через Миссури попали в Арканзас, а оттуда по плато Озарк поднялись к Луизиане, где им пришлось остановиться в пятницу утром, поскольку сгорел генератор. (На замену они купили в Шривпорте подержанный за двадцать два пятьдесят.) В ту ночь они спали в машине на обочине дороги где-то возле границы между Алабамой и Флоридой. На следующий день, когда можно было больше не спешить, они позволили себе некоторые туристические развлечения – посетили ферму, где разводят аллигаторов, и ранчо, на котором выращивают гремучих змей, прокатились на лодке с прозрачным дном по серебристо-прозрачному озерцу и, наконец, в придорожном ресторанчике долго наслаждались дорогим обедом в виде жареного омара. Восхитительный день! Но оба они вымотались и, когда добрались до Таллахасси, решили заночевать там.

– Да, Таллахасси, – сказал Дик.

– Поразительно! – Перри снова заглянул в газету. – Знаешь, я не удивлюсь, если окажется, что это дело рук сумасшедшего. Какого-нибудь шизика, который прочел о том, что произошло в Канзасе.

Дик не любил, когда Перри начинал заново обсуждать эту тему, поэтому пожал плечами и, усмехнувшись, побежал к океану, где некоторое время гулял по омытому прибоем песку, то и дело наклоняясь за ракушками. Когда он был маленьким, он однажды так позавидовал соседскому мальчишке, который побывал на каникулах на побережье и привез оттуда коробку ракушек, так его возненавидел, что украл эти ракушки и разбил одну за другой молотком. Зависть была его постоянным спутником; любого, ставшего тем, кем он хотел стать, или имеющего то, что хотел иметь он, Дик считал своим врагом.

Например, того человека у бассейна в «Фонтенбло». В нескольких милях отсюда, окутанные летней дымкой зноя и брызг, виднелись башни тусклых дорогих отелей – «Фонтенбло», «Идеи Рок», «Рони Плаза». Во второй день пребывания в Майами Дик предложил Перри проникнуть в эти особняки. «Глядишь, подцепим себе богатых баб», – сказал он. Перри совсем этого не хотелось: он чувствовал, что все будут пялиться на их футболки и штаны цвета хаки. На самом же деле их турне по территории кричаще роскошного отеля «Фонтенбло» прошло незамеченным для мужчин в полосатых как леденец бермудах из необработанного шелка и женщин в купальниках и норковых палантинах одновременно. Нарушители послонялись по вестибюлю, прогулялись по саду, покрутились возле бассейна. Там-то Дик и увидел этого человека. Мужчине было столько же лет, сколько Дику, двадцать восемь – тридцать. Он мог быть «игроком, или адвокатом, или гангстером из Чикаго». Но кем бы он ни был, выглядел он

человеком, который познал прелесть денег и власти. Блондинка, похожая на Мэрилин Монро, натирала его маслом для загара, а он периодически протягивал унизанную кольцами ленивую руку к запотевшему бокалу с апельсиновым соком. Все это должно было принадлежать ему, Дику, но никогда не будет ему принадлежать. Почему этому сукину сыну все, а у него, Дика, за душой ничего? За что этому «важному ублюдку» одному столько счастья? С ножом в руке он, Дик, тоже кое-чего значит. Важным ублюдкам вроде этого лучше быть осторожнее, а то он «распорет им брюхо снизу доверху и прольет немного счастья на пол». Но день был испорчен. Красивая блондинка и масло для загара его загубили. Дик сказал Перри: «Пошли отсюда на хрен».

На песке двенадцатилетняя девочка рисовала прибитой к берегу щепкой большие, грубые лица. Дик сделал вид, что восхищен ее искусством, и предложил ей свои ракушки. «Из них получатся хорошие глаза», – сказал он. Девочка приняла подарок, и тогда Дик улыбнулся ей и подмигнул. Чувства, которые он к ней испытывал, смущали его, потому что своей слабости – сексуального интереса к малолетним девочкам – он «искренне стыдился». В этой тайне он никому еще не признавался и надеялся, что о ней никто не заподозрит (хотя знал, что у Перри были для этого основания), потому что люди сочли бы его «ненормальным». А он, само собой, был твердо уверен, что «нормален». Раз восемь или девять за последние годы ему доводилось совратить девочек подросткового возраста, но это не поколебало его веры в свою нормальность, поскольку известно, что такие же желания возникают у самых что ни на есть полноценных мужчин. Он взял девочку за руку и сказал: «Ты моя девочка. Моя любимая малышка». Но ей это не понравилось. Ее рука в его ладони забилась, словно рыбка на крючке, и он узнал в ее глазах испуг, который уже встречал раньше. Он отпустил девочку, легко рассмеялся и сказал: «Это просто игра. Любишь играть?»

Перри, по-прежнему сидевший под голубым зонтиком, наблюдал всю эту сцену. Он сразу же раскусил Дика и почувствовал к нему презрение: он не испытывал никакого уважения к людям, которые не могут контролировать свои сексуальные желания, особенно когда отсутствие контроля влекло за собой то, что он называл «извращенностью», – «приставания к детям», «всякие странности», изнасилование. И ему казалось, что он доходчиво объяснил Дику свои взгляды; в самом деле, ведь они едва не подрались, когда еще совсем недавно Перри не позволил Дику изнасиловать испуганную молоденькую девушку. Однако он не собирался еще раз выяснять, кто из них сильнее. Когда девочка отошла от Дика,

Перри стало легче на душе.

В воздухе носились рождественские гимны; они вылетали из радиоприемника четырех женщин и никак не вязались с цветущим Майами и криками ворчливых, никогда не смолкающих чаек. «О, давайте же любить Его. О, давайте же Его любить», – пел церковный хор; от такой возвышенной музыки Перри в детстве всегда хотелось плакать – и слезы продолжали течь даже после того, как стихала музыка. И, как это уже не раз бывало с ним в минуты подобных переживаний, он стал размышлять о том, что имело для него «огромную притягательность»: о самоубийстве. Еще ребенком он часто подумывал себя убить, но то были сентиментальные мечты, порожденные желанием наказать отца с матерью и других врагов. Однако, став молодым человеком, Перри почувствовал, что перспектива расставания с жизнью все больше теряет свое фантастическое очарование. Этот путь, помнил Перри, уже испробовали Джимми и Ферн. А в последнее время самоубийства стало казаться ему не просто вероятной, но специально уготованной ему смертью.

Как бы там ни было, он не мог сказать, что ему есть «ради чего жить». Знойные острова и зарытое золото, погружение в глубины огненно-синих морей ради затонувших сокровищ – все эти мечты растаяли. Как растаяла мечта о «Перри О'Парсоне» – псевдониме, придуманном для будущей звезды экрана и сцены, каковой он почти серьезно надеялся стать. Перри О'Парсон умер, так и не начав жить. Чего же ждать от будущего? Они с Диком «ввязались в гонку без финишной черты», озарило его. И теперь, не прожив еще и недели в Майами, они были вынуждены возобновить автопробег. Дик, который проработал один день в автосервисе «Эй-би-си» за шестьдесят пять центов в час, сказал ему: «Майами еще хуже Мексики. Шестьдесят пять центов! Это не для меня. Я им не негр». Итак, наутро, с двадцатью семью долларами, оставшимися от денег, добытых в Канзас-Сити, они снова отправятся на запад, в Техас или Неваду – «точно не решили».

Дик, поплескавшись в волнах прибоя, вернулся под зонтик. Мокрый, запыхавшийся, он упал вниз лицом на липнувший песок.

– Как водичка?

– Замечательно.

Близость Рождества и дня рождения Нэнси Клаттер, который был сразу после Нового года, всегда создавала сложности ее другу Бобби Раппу. Ему приходилось усиленно напрягать воображение, чтобы придумать два подходящих подарка сразу. Но каждый год на деньги, полученные за работу

на ферме отца, он выбирал в подарок самое лучшее, и утром на Рождество всегда спешил к дому Клаттеров со свертком, который ему помогали оформить сестры, в надежде удивить Нэнси и восхитить ее. В прошлом году он подарил ей маленькое золотое сердечко на цепочке. В этом году он еще задолго до праздников пытался сделать выбор между французскими духами, которые продавались в аптеке Норриса, и сапожками для верховой езды. Но потом Нэнси умерла. Утром в Рождество, вместо того чтобы мчаться на ферму «Речная Долина», он остался дома, а позже вместе со всей семьей сидел за столом и ел роскошный обед, который его мать готовила всю неделю. Родные – родители и все семь его братьев и сестер – с того дня, как произошла трагедия, относились к Бобби очень бережно. И все равно за обедом ему снова и снова говорили: пожалуйста, поешь. Никто не понимал, что на самом деле он болен, что это горе сделало его таким, что это оно очертило вокруг него круг, из которого он не мог вырваться, и другие не могли к нему войти – кроме, может быть, Сью. До смерти Нэнси он не находил со Сью общего языка, ему было неловко в ее обществе. Она была слишком не похожа на него – принимала всерьез вещи, к которым даже девчонки не должны относиться чересчур серьезно: картины, стихи, игру на фортепьяно. И, конечно, он ревновал. Ее роль в жизни Нэнси была хоть и другой, но по значимости сравнимой с его. Поэтому она была способна понять его утрату. Разве смог бы он без Сью, без ее почти постоянного присутствия выстоять под такой лавиной ударов – самого убийства, допросов у мистера Дьюи и того, что по трагической иронии судьбы он на некоторое время сделался главным подозреваемым?

Позже, по прошествии месяца, их дружба ослабела. Бобби реже стал приходить в крошечную уютную квартирку Кидвеллов, а когда приходил, Сью была с ним не так приветлива, как раньше. Беда в том, что они принуждали друг друга оплакивать и вспоминать то, что оба хотели забыть. Иногда Бобби это удавалось: когда он играл в баскетбол или вел машину по проселочным дорогам на скорости восемьдесят миль в час или когда, выполняя придуманную самим для себя спортивную программу (он собирался стать преподавателем гимнастики в средней школе), он устраивал забег на длинные дистанции по плоским желтым полям. И теперь, после того как он помог матери убрать с праздничного стола грязные тарелки, Бобби надел спортивную фуфайку и отправился на пробежку.

Погода стояла отменная. Даже для западного Канзаса, знаменитого тем, что бабье лето здесь длится очень долго, день казался неправдоподобно прекрасным – сухой воздух, яркое солнце, голубое небо.

Оптимисты из числа фермеров предрекали «мягкую зиму» – настолько теплую, что скот можно будет пасти на всем ее протяжении. Такие зимы редки, но на памяти Бобби одна такая была – в тот год, когда он начал ухаживать за Нэнси. Им было по двенадцать, и после школы Бобби обычно нес ее ранец с книжками от здания холкомбской школы до фермы ее отца – целую милю. Часто, если день был теплым и солнечным, они останавливались по дороге и сидели на берегу медленно змеящейся коричневой реки Арканзас.

Однажды Нэнси сказала ему: «Как-то летом, когда мы были в Колорадо, я видела, откуда Арканзас берет начало. Точное место. Хотя трудно было поверить, что это наша река. Она там совсем не такого цвета, а чистая, как питьевая вода. И быстрая, сплошные перекаты. Водовороты. Папа тогда поймал форель». Это осталось с Бобби, ее воспоминание об истоке реки, и с тех пор, как Нэнси не стало... Он не мог этого объяснить, но всякий раз, когда он смотрел на Арканзас, река на мгновение преображалась, и он видел не мутный поток, блуждающий по равнинам Канзаса, а то, что описала Нэнси, – ручей в Колорадо, сбегаящий с гор, холодную, прозрачную речку, где водится форель. Такой же была и сама Нэнси: как молодая вода – энергичная, радостная.

Однако обычно зимы в западном Канзасе сковывают реки льдом, а мороз на полях и острый как бритва ветер меняют погоду к Рождеству. Несколько лет назад в сочельник пошел снег и шел не прекращаясь, а когда Бобби на следующее утро пешком отправился к Клаттерам, все три мили пути ему пришлось пробираться сквозь глубокие сугробы. Но дело того стоило, поскольку, хоть он и добрался до них совершенно заколеченный и обветренный, прием, который был ему оказан, полностью его отогрел. Нэнси была поражена и горда, а ее мать, обычно такая робкая и отстраненная, обняла его, поцеловала и принялась настаивать, чтобы он завернулся в стеганое одеяло и сел поближе к камину. И пока женщины возились на кухне, они с Кеньоном и мистером Клаттером сидели у огня, кололи орехи, грецкие и пекан, и мистер Клаттер рассказывал о другом Рождестве, когда ему было столько, сколько Кеньону: «Нас было семеро. Мать, отец, две девчонки и нас трое мальчишек. Мы жили на ферме довольно-таки далеко от города. Поэтому у нас была традиция за покупками к Рождеству ездить всем вместе и один раз. И вот в тот год, утром, на которое мы назначили поездку, снегу навалило как сейчас, нет, выше, и он продолжал идти – хлопья что твои блюдца. По всему выходило, что сидеть нам в Рождество засыпанными снегом и без подарков. Мать и девочки были убиты горем. И тогда я придумал». Он предложил запрячь

самую выносливую ломовую лошадь и на ней поехать в город одному. Семья согласилась. Каждый дал ему свои накопления и список вещей, которые хотел купить: четыре ярда коленкора, футбольный мяч, игольницу, ружейные патроны – столько заказов, что он проездил до сумерек. А когда наконец поехал домой, сложив покупки в брезентовый мешок, он возблагодарил Бога за то, что отец заставил его взять фонарь, и радовался, что на сбруе лошади были колокольчики, ибо их бойкий перезвон и колеблющееся пламя керосинового фонаря придавали ему уверенности.

– Ехать в ту сторону было так же легко, как съесть кусок пирога. Но теперь дорога просто исчезла, ни единого ориентира не осталось. Земля и воздух – все превратилось в сплошной снег. Лошадь, по брюхо в снегу, шла боком. Я опустил фонарь. Мы заблудились в ночи. Когда мы заснем и замерзнем, было только вопросом времени. Да, мне было страшно. Но я молился. И я чувствовал, что со мною Бог... – Где-то завывали собаки. Он поехал на шум, пока не увидел окна соседской фермы. – Нужно было остановиться у них. Но я подумал о своих – представил себе, как мать плачет, а папа и братья отправляются на поиски, и поспешил дальше. Поэтому естественно, что я не слишком обрадовался, когда наконец добрался до дома и увидел, что окна не светятся. Двери заперты. Все спят, а обо мне просто забыли. Никто не мог взять в толк, чего я так расстроился. Папа сказал: «Мы были уверены, что ты останешься ночевать в городе. Господи, малыш! Кому могло прийти в голову, что ты не придумаешь ничего лучшего, чем в буран отправиться домой?»

Крепкий запах сидра от гниющих яблок. Яблони и груши, персики и вишни: сад мистера Клаттера, драгоценное собрание его плодовых деревьев. Бобби, бегавший без цели и мысли, не стремился сюда попасть, вообще не стремился на ферму «Речная Долина». Как он здесь очутился – не поддается объяснению, и Бобби уже повернулся, чтобы уйти прочь, но потом снова побрел к дому – такому белому, прочному и просторному. Дом всегда вызывал у него уважение, и ему было радостно думать, что здесь живет его подруга. Но теперь, лишившись заботливого внимания покойного хозяина, он стал покрываться первыми паутинками разрушения. Грабли для песка, ржавая, лежали на подъездной дорожке; лужайка была выжжена и казалась плешивой. В то роковое воскресенье, когда шериф вызвал санитарные машины, чтобы увезти убитых, они подъехали к главному входу прямо по траве, и следы шин все еще были заметны.

Домик работника тоже пустовал; Стоуклейн нашел себе новое жилище поближе к Холкомбу – что ни у кого не вызвало удивления, поскольку

сейчас, хотя слепило солнце, ферма Клаттера казалась сумрачной, затаившейся, застывшей. Но пройдя мимо амбара для зерна и загона, Бобби услышал свист рассекающего воздух лошадиного хвоста. Это была Нэнсина Крошка, послушная старая крапчатая кобыла с соломенной гривой и темно-фиолетовыми глазами, похожими на увеличенные цветки анютиных глазок. Бобби схватил ее за гриву и потерся щекой о ее шею – так когда-то делала Нэнси. И Крошка заржала. В прошлое воскресенье, когда он в последний раз навещал Кидвеллов, мать Сью вспоминала Крошку. Миссис Кидвелл, загадочная женщина, стояла у окна и смотрела, как вечер опускается на расстилающуюся впереди прерию. И стоя на фоне синевы, она произнесла:

– Сюзен? Знаешь, что у меня стоит перед глазами? Нэнси. На Крошке. Как она скачет к нам.

Перри первый их заметил – голосующих на дороге мальчика и старика. За спинами у обоих были домодельные ранцы, и несмотря на то, что день выдался ветреный и злобный тexasский ветер жег их песком, путешественники были в одних тонких рубашках и комбинезонах. «Давай подвезем их», – предложил Перри. Дик отказывался: он не прочь был помочь тем, кто мог заплатить за услугу – хотя бы «взять на себя пару галлонов горючего». Но Перри, маленький добрячок Перри, всегда приставал к нему, когда подвезти нужно было самых убогих, жалких людишек. Наконец Дик согласился и тормознул.

Мальчик – быстроглазый говорливый кудлатый крепыш лет двенадцати – принялся горячо благодарить, но старик, желтое лицо которого было изрезано глубокими морщинами, кое-как заполз и молча плюхнулся на заднее сиденье. Мальчик сказал:

– Для нас ваша помощь очень кстати. Джонни просто с ног валится. Мы от Галвестона пешком топаем.

Перри и Дик покинули этот портовый город час назад, после того как все утро провели в конторах по найму матросов и портовых рабочих. Одна компания предложила им немедленно поступить на танкер, направляющийся в Бразилию, и они бы, конечно, уже были в открытом море, если бы их наниматель не обнаружил, что у них обоих нет ни паспорта, ни каких-либо других документов. Странно, но Дик был разочарован больше Перри: «Бразилия! Там строят полностью новую столицу. Прямо на пустом месте. Представь, каково оказаться на первом этаже такого здания! Любой дурак сумеет разбогатеть».

– Куда направляетесь? – спросил Перри мальчика.

– В Свитуотер.

– А где это?

– Ну, примерно в этом направлении. Где-то в Техасе. Джонни – вот он – мой дед. У него в Свитуотере сестра живет. Во всяком случае, Святой Боже, я надеюсь, что она там. Мы думали, что она живет в Джаспере. Но когда добрались до Джаспера, нам там сказали, что она со своими домашними переехала в Галвестон. Но в Галвестоне ее нету – там одна леди нам сказала, что она уехала в Свитуотер. Святой Боже, хоть бы уж мы ее нашли. Джонни, – сказал он, растирая старику ладони, словно хотел согреть, – ты слышишь меня, Джонни? Мы едем в хорошем теплом «шевроле» пятьдесят шестой модели.

Старик закашлял, слегка запрокинул голову, открыл глаза, снова закрыл и опять закашлял. Дик спросил:

– Эй, послушай. Что это с ним?

– Это от перемены климата, – сказал мальчик. – А еще от ходьбы. Мы вышли еще перед Рождеством. Мне кажется, мы добрую половину Техаса прошли пёхом. – И мальчик, продолжая разминать старику руки, самым сухим голосом поведал им, что до того, как они тронулись в путь, он с дедом и теткой жил на ферме неподалеку от Шривпорта, штат Луизиана. Недавно тетка умерла. «Джонни последний год что-то хворал, и тетя все делала сама. Только я ей помогал. Мы кололи дрова. Пытались расколоть один чурбак. И вдруг посреди дела тетя говорит, что она выдохлась. Вы когда-нибудь видели, как лошадь ложится и уже не может подняться? Я видел. И вот так же померла моя тетя».

За несколько дней до Рождества человек, у которого его дед арендовал ферму, «вытурил» их, продолжал мальчик.

– Вот так и вышло, что мы отправились в Техас. Искать миссис Джексон. Я ее ни разу не видел, но она Джонни родная кровная сестра и нас даже пустили в машину. Главное, его. Он много ходить не может. Вчера вечером мы попали под дождь.

Машина встала. Перри спросил Дика, из-за чего остановка.

– Этот старик совсем больной, – сказал Дик.

– И что? Что ты хочешь сделать? Высадить его?

– А ты подумай головой. Хотя бы разок.

– Ты просто скотина.

– А вдруг он умрет?

Мальчик сказал:

– Он не умрет. Мы уже так далеко забрались, теперь уж он подождет.

Дик не сдавался:

– Ну а вдруг он все-таки умрет? Подумай, что может случиться. Вопросы.

– Честно говоря, мне плевать. Ты хочешь их высадить? Воля твоя. – Перри посмотрел на старикашку, все такого же сонного, вялого и глухого, потом на мальчика, который ответил ему спокойным, не умоляющим взглядом, «ни о чем не прося», и Перри вспомнил себя в его возрасте и как сам он странствовал со стариком. – Валяй. Высаживай их. Только я тоже выйду.

– Ладно, ладно, ладно. Только не забудь, – сказал Дик, – в случае чего виноват будешь ты.

Дик выжал сцепление. Но как только машина тронулась, мальчик завопил: «Погодите!», выпрыгнул и, подбежав к обочине, подобрал с земли одну за другой четыре пустых бутылки из-под «кока-колы». Потом снова запрыгнул на сиденье и счастливо улыбнулся.

– Бутылки – это те же деньги, – поведал он Дику. – Так что, мистер, если бы вы ехали чуточку медленнее, мы бы набрали их до черта, это я вам гарантирую. Мы с Джонни только так и живем – на стеклотаре.

Дик посмеялся, но все же принял его слова к сведению и, когда мальчишка в следующий раз крикнул ему остановиться, сразу послушался. Команды притормозить следовали с такой частотой, что пять миль они ехали целый час, но дело того стоило. У мальчишки оказался «божественный дар» различать в придорожной траве, среди камней и коричневых пивных бутылок, изумрудные склянки из-под «Сэвен-ап» и «Канада-драй». Скоро и Перри развил в себе умение высматривать нужные бутылки. Сначала он просто указывал парнишке на них, считая, что самому подбирать – ниже его достоинства. «Слишком глупо», как-то «по-детски». Тем не менее эта игра пробудила в нем азарт кладоискателя, и наконец он тоже включился в эту забавную гонку. И Дик тоже – только Дик отнесся к делу со всей серьезностью: пусть на первый взгляд это и дурацкое занятие, но все же способ разжиться хоть какими-то деньгами. А деньги им с Перри сейчас о-го-го какгодились бы: на данный момент их общий капитал составлял меньше пяти долларов.

Теперь все трое – Дик, мальчишка и Перри – то и дело выскакивали из машины, бесстыдно, хотя и дружелюбно соревнуясь друг с другом. Один раз Дик нашел в канаве склад винных бутылок и был ужасно раздосадован, узнав, что его находка не имеет никакой ценности.

– За бутылки из-под вина или виски ничего не дают, – просветил его мальчишка. – Даже пивные не везде принимают. Я с ними обычно не связываюсь. Беру только те, что можно сдать точно. «Доктор Пеппер»,

«Пепси», «Коку», «Уайт Рок», «Нэхи».

Дик спросил:

– А как тебя звать-то?

– Билл, – ответил мальчишка.

– Ну что ж, Билл, ты мне открыл много нового.

Спустились сумерки, и охоту пришлось прекратить, тем более что и свободного места в машине уже не осталось. Багажник был забит под завязку, а заднее сиденье превратилось в настоящую свалку; забытый даже собственным внуком больной старик сидел, заваленный шевелящимися и угрожающе позвякивающими бутылками.

Дик сказал:

– Вот будет смеху, если мы во что-нибудь врежемся.

Россыпь огней возвестила о приближении к «Нью-мотелю», который оказался внушительным комплексом, состоящим из бунгало, гаража, ресторана и коктейль-бара. Мальчишка, перехватив инициативу, сказал Дику:

– Притормозите-ка, мистер. Может, удастся с ними столкнуться. Только говорить буду я. У меня уже есть опыт. А то они, бывает, норвят надуть.

Перри не мог представить себе человека, у которого бы «хватило ума надуть этого мальчишку», как он сказал позже.

– Он ничуть не стеснялся идти туда с этими бутылками. Что до меня, то я бы лично не смог. Я умер бы от стыда. Но в мотеле к нему отнеслись приветливо. Только посмеялись. За бутылки мы выручили двенадцать долларов шестьдесят центов.

Билл разделил деньги поровну, половину оставил себе, а половину отдал своим компаньонам и сказал:

– Знаете что? Мы с Джонни не прочь чего-нибудь съесть. А вы разве есть не хотите?

Дик, как всегда, хотел, да и Перри проголодался после столь бурной деятельности. Сам он потом рассказывал:

– Мы затащили старика в ресторан и усадили за стол. У него был все такой же вид – мертвенный. И он все время молчал. Но видели бы вы, как он уписывал свои олады! Мальчишка сказал, что это его любимое блюдо. Клянусь, он слопал не меньше тридцати штук. С двумя фунтами масла и квартой сиропа. Мальчишка и сам был не дурак пожрать. Он взял себе только картофельные чипсы и мороженое, но зато очень уж много. Просто удивительно, как ему плохо не стало.

За обедом Дик, сверившись с картой, объявил, что Свитуотер

находится больше чем в сотне миль к западу от их маршрута, который проходит через Нью-Мексико и Аризону до Невады – в Лас-Вегас. Это соответствовало истине, но Перри понимал, что Дик просто хочет избавиться от мальчишки и старика. Мальчишке это тоже было ясно, но он лишь вежливо сказал:

– О, за нас не беспокойтесь. Тут машин много. Мы найдем попутку.

Мальчишка проводил их до автомобиля, оставив деда поглощать свежую стопку оладьев, пожал руки Дику и Перри, пожелал им счастливого Нового года и махал вслед, пока «шевроле» не исчез в темноте.

Вечер среды, 30 декабря, надолго запомнился в семье агента Э. А. Дьюи. Его жена впоследствии вспоминала:

– Элвин пел в ванной. «Желтую розу Техаса». Дети смотрели телевизор, а я накрывала стол в столовой. Для праздничного обеда. Я родом из Нового Орлеана, люблю готовить и развлекать гостей, а моя мать как раз прислала нам корзину с авокадо, горошком и еще со всякими вкусностями. Вот я и решила: соберем друзей – супругов Марри, Клифа и Доди Хоуп. Элвин не хотел, но я настояла. Господи! Дело Клаттеров могло затянуться навечно, а у него с тех пор, как он взялся за расследование, не было ни минутки отдыха. Так вот, я накрывала на стол, поэтому, когда услышала телефон, попросила взять трубку младшего сына – Пола. Пол сказал, что спрашивают отца, а я ему: «Скажи, что он в ванной». Но Пол говорит – наверное, лучше его позвать, потому что это мистер Сэнфорд из Топики. Начальник Элвина. Элвин выскочил из ванной в одном полотенце. Чуть с ума меня не свел – закапал весь пол. Но только я пошла за шваброй, как увидела кое-что похуже: этот придурок Пит, наш кот, забрался на стол и жрет крабовый салат с авокадо.

А в следующую минуту Элвин вдруг обхватил меня и ну обнимать, а я ему: «Элвин Дьюи, ты в своем уме?» Шутки шутками, но он был весь мокрый и измял мне все платье, а я уже нарядилась, чтобы встречать гостей. Конечно, когда я узнала, в чем дело, я сама бросилась его обнимать. Можете представить, что для Элвина значило известие об аресте этих двоих! В Лас-Вегасе. Он сказал, что должен прямо сейчас ехать в Лас-Вегас, а я говорю: «Должен, значит езжай, только сначала оденься». Элвин был так взбудоражен! Он говорит: «Ох, милая, боюсь, я испортил тебе вечер». Но трудно представить себе более приятный способ его испортить; я думала только о том, что скоро вернется прежняя жизнь. Элвин рассмеялся – как замечательно было снова услышать его смех. Видите ли, последние две недели были самыми ужасными, потому что за неделю до

Рождества эти люди были в Канзас-Сити – приехали и уехали, – и я никогда не видела Элвина в более подавленном состоянии, разве что в молодости, когда у него был энцефалит, он лежал в больнице и мы боялись, что можем его потерять. Но не будем об этом.

Как бы там ни было, я сварила ему кофе и отнесла в спальню: я думала, он там одевается. Только он не одевался. Он сидел на краешке кровати и держался за голову, словно у него началась мигрень. Даже носков еще не надел. Я ему говорю: «Хочешь заработать воспаление легких?» А он взглянул на меня и сказал: «Мэри, послушай, это должны быть те самые парни, просто обязаны, это единственное логическое объяснение». Смешной он все-таки. Помню, как он в первый раз баллотировался в шерифы округа Финней. В ночь после выборов, когда уже были подсчитаны практически все голоса и стало ясно, что он победил, Элвин вдруг говорит – я чуть его не задушила, – повторяет и повторяет: «Ну, пока не будут подведены итоги, еще ничего не известно».

Я сказала ему: «Ради бога, Элвин, не начинай этих разговоров. Конечно, это они». А он мне: «Но какие у нас доказательства? Мы не можем доказать, что они вообще входили в дом Клаттеров!» Но мне казалось, что как раз это-то он доказать может: следы – разве эти скоты не оставили следов своих сапог? Элвин сказал: «Да, это хорошее доказательство – но только в том случае, если эти парни до сих пор ходят в той же обуви. А сами по себе эти следы не стоят и ломаного гроша». Я говорю: «Ладно, милый, выпей кофе, а я помогу тебе собрать вещи». Бывают случаи, когда его убеждать бесполезно. Он сам почти убедил меня в том, что Смит и Хикок невиновны, а если даже и виновны, то никогда не признаются, а без признания обвинить их нельзя: улики все косвенные. Однако больше всего его тревожило, как бы они не узнали, за что арестованы, пока их не допросят в Бюро. Пока "что они думали, будто их задержали за нарушение условий освобождения и за фальшивые чеки. И Элвин считал, что они обязательно должны быть уверены, что больше за ними ничего нет. Он сказал: «Имя Клаттера должно поразить их как удар молота, удар, которого никто из них не ждал».

Пол – я его послала в бельевую за носками для Элвина – так вот, Пол прибежал и смотрит, как я собираю вещи. Он спросил, куда уезжает папа. Элвин поднял его на руки и сказал: «Ты умеешь хранить тайны, Пол?» Это он просто так спросил. Наши мальчишки знают, что нельзя никому рассказывать о папиной работе, – они же слышат дома всякие обрывки разговоров. А потом Элвин сказал: «Пол, помнишь тех двоих, которых мы искали? Ну вот, теперь мы знаем, где они, и папа едет, чтобы привезти их

сюда, в Гарден-Сити». Пол стал его умолять: «Не надо, папа, не надо их сюда привозить!» Он испугался – да и любой девятилетний ребенок испугался бы на его месте. Элвин его поцеловал и сказал: «Ничего страшного, Пол, они никого больше не тронут. Мы им не дадим».

В тот же день в пять часов, приблизительно через двадцать минут после того, как угнанный «шевроле» въехал из невадской пустыни в Лас-Вегас, долгое путешествие Перри и Дика закончилось. Правда, не раньше, чем Перри зашел на почту и получил посылку, которую сам себе отправил «до востребования», – большую картонную коробку, отправленную из Мексики и застрахованную на сто долларов, – причем эта сумма значительно превышала реальную стоимость ее содержимого: солнечных очков, джинсов, грязных рубашек, нижнего белья и двух пар сапог со стальными подковками. Дик, поджидавший Перри снаружи, пребывал в самом лучшем расположении духа; он решил, что пора ему покончить со всеми мытарствами и начать все сначала. На горизонте появилась новая радуга: превратиться в офицера военно-воздушных сил. Эту идею он лелеял давно. И опробовать ее было лучше всего в Лас-Вегасе. Он уже выбрал себе звание и даже имя – его он позаимствовал у своего старого знакомого, тогдашнего начальника Канзасской исправительной колонии: Трейси Хэнд. Под видом капитана Трейси Хэнда, одетого в соответствующий мундир, Дик собирался пройтись по всем круглосуточно открытым казино, как захудалым, так и первоклассным. «Пустыня», «Звездная пыль» – он намеревался «пощипать» все, применяя на практике принцип «с миру по нитке». Без устали выписывая фальшивые чеки, он был намерен за двадцать четыре часа огрести три, а то и четыре тысячи долларов. Но это была только половина его замысла; вторая звучала так: гуд бай, Перри. Дик устал от него – от его гармошки, от его болей и хворей, от его суеверия, от его слезливых бабьих глазок, от его занудного вкрадчивого голоса. Подозрительный, самодовольный, язвительный, он казался Диду женой, с которой пора расставаться. И сделать это можно было лишь одним способом: ничего не говорить, а просто уехать.

Поглощенный своими планами, Дик не заметил, как мимо медленно проехал полицейский автомобиль. И Перри, выйдя из дверей почты с мексиканской коробкой на плече, не обратил внимания ни на машину, ни на полицейских, сидящих в ней.

Офицеры Оки Пигфорд и Фрэнсис Макаули надежно хранили в памяти страницы оперативных сводок, в том числе и описание черно-белого «шевроле» выпуска 1956 года с канзасским номером Ю 16212. Ни Перри,

ни Дик не знали о том, что когда они отъехали от здания почты, патрульная машина последовала за ними. Дик сидел за рулем, Перри указывал дорогу. Проехав пять кварталов на север, они повернули налево, потом направо и еще через четверть мили остановились перед засохшей пальмой и потускневшей вывеской, на которой сохранились лишь буквы «ОМНАТ».

– Здесь, что ли? – спросил Дик.

Перри кивнул, и тут же рядом остановился полицейский автомобиль.

Следственный отдел Лас-Вегасской городской тюрьмы состоит из двух комнат для допросов – освещенных люминесцентными лампами кабинетов размерами десять на двенадцать футов, с потолком и стенами из «целотекса». В каждой комнате, кроме вентилятора, металлического стола и складных металлических стульев, были еще замаскированные микрофоны, скрытые диктофоны и вставленные в двери тонированные стекла. В субботу, во второй день 1960 года, обе комнаты были зарезервированы на два часа дня – это время четверо детективов из Канзаса выбрали для первого разговора с Хикоком и Смитом.

За несколько минут до начала Гарольд Най, Рой Черч, Элвин Дьюи и Кларенс Дунц собрались в коридоре. У Ная была повышенная температура.

– Был немного простужен, но, как и все, рвался в бой, – говорил он впоследствии журналистам. – К тому времени я был в Лас-Вегасе уже два дня: я вылетел из Топики первым же рейсом, как только получил известие об аресте. Остальные: Эл, Рой и Кларенс – приехали на машинах. Отвратительная поездка и отвратительная погода; Новый год они встретили в занесенном снегом мотеле в Альбукерке. Когда ребята добрались наконец до Лас-Вегаса, им были просто необходимы добрая порция виски и добрые вести. У меня наготове было и то и другое. Наши молодые люди подписали отказ от права выдачи их другому штату. Более того: у нас были сапоги, обе пары, и рисунок подошв полностью совпадал со снимком в натуральную величину следов, обнаруженных в доме Клаттеров. Сапоги оказались в коробке, которую эти парни забрали на почте непосредственно перед тем, как занавес опустился. Я так и сказал Элу: «Похоже, мы расколем их на пять минут раньше, чем думали!»

Конечно, наше положение все равно оставалось довольно шатким: нечего было предъявить суду. Но я помню, что пока мы ждали в коридоре, я, конечно, чертовски нервничал, но *не сомневался*. Как и все остальные: мы чувствовали, что правда вот-вот откроется. Моя задача, вернее наша с Черчем, состояла в том, чтобы нажать на Хикока. Смит оставался на растерзание Элу и Старику Дунцу. До сих пор я не встречался с

подозреваемыми – только осмотрел их вещи и оформил отказ от права выдачи. Я ни разу не видел Хикока до того, как его ввели в комнату для допросов. Я представлял его себе более крупным. Загорелым. Мускулистым. Но никак не тощим мальчишкой. Ему было двадцать восемь, но выглядел он как ребенок. Худющий – кожа да кости. На нем были голубая рубашка, солнечные очки, белые носки и черные туфли. Мы обменялись рукопожатием; его ладонь была суше моей. Чистый вежливый голос, хорошая дикция, весьма располагающий к себе парень с обезоруживающей улыбкой – а поначалу он улыбался много.

Я сказал: «Мистер Хикок, меня зовут Гарольд Най, а это мой товарищ, мистер Рой Черч. Мы специальные агенты Канзасского бюро расследований и приехали сюда, чтобы обсудить нарушение вами условий освобождения. Разумеется, вы имеете право не отвечать на вопросы, и я обязан предупредить, что все сказанное вами может быть использовано против вас. Вы имеете право на адвоката. Мы не собираемся применять силу, угрожать вам и не даем никаких обещаний».

Он был спокоен, как мы и хотели.

– Я знаю правила, – сказал Дик. – Меня уже раньше допрашивали.

– Итак, мистер Хикок...

– Дик.

– Итак, Дик, мы хотим поговорить с тобой о том, чем ты занимался после условного освобождения. По нашим сведениям, ты провернул по крайней мере два крупных мошенничества с чеками в окрестностях Канзас-Сити.

– Угу. Пришлось поработать.

– Не мог бы ты составить нам список?

Заклоченный, явно гордясь своим природным даром – блестящей памятью, – перечислил названия и адреса двадцати магазинов, кафе и гаражей Канзас-Сити, а также все «приобретения», сделанные в каждом из них, и сумму, на которую был выписан чек.

– Мне интересно, Дик, почему эти люди брали у тебя чеки? В чем секрет?

– Секрет один: люди тупы.

Рой Черч сказал:

– Отлично, Дик. Очень смешно. Но давай на короткое время забудем о чеках.

Хотя голос у Черча жесткий, как свиная щетина, а руки такие мощные, что он может пробить кулаком каменную стену (на самом деле это его

излюбленный трюк), люди почему-то принимают его за любезного маленького человечка, лысого и розовощекого «добрého дядюшку».

– Дик, – попросил он, – не расскажешь ли ты нам о своей семье?

Заключенный с охотой ударился в воспоминания. Однажды, когда ему было девять или десять лет, его отец заболел – «у него началась кроличья лихорадка», – и болезнь его продолжалась несколько месяцев, в течение которых семья жила только за счет помощи церкви и милосердия соседей, – «если бы не они, мы бы умерли с голоду». За исключением этого эпизода, детство Дика протекало нормально. «У нас никогда не было много денег, но мы и не нищенствовали, – говорил он. – У нас всегда была чистая одежда и еда на столе. Папаша у меня строгий и заставлял меня работать по дому. Без этого он себе жизни не представлял. Но мы с ним нормально ладили – никаких серьезных разногласий. Мои родители никогда не ссорились. Не помню ни одного случая, чтобы они поругались. Матушка у меня просто чудесная. И отец тоже славный малый. Я бы сказал, что они сделали для меня все что могли». Школа? Ну, Дик считал, что мог бы учиться лучше, если бы больше времени уделял книгам и не «разбазаривал» его на спорт. «Бейсбол. Футбол. Я играл во всех командах. После школы я мог поступить в колледж на футбольную стипендию. Я хотел стать инженером, но даже если бы была стипендия, все равно на учебу нужно много денег. Не знаю, мне показалось, что проще устроиться на работу».

До того как ему исполнился двадцать один год, Хикок успел поработать и носильщиком, и водителем «скорой помощи», и в мастерской по покраске автомобилей, и механиком в гараже; кроме того, он уже был женат на шестнадцатилетней девушке.

– Кэрл. Ее папаша был священником. Меня на дух не переносил. Говорил, что я полное ничтожество. Вечно мне палки в колеса вставлял. Но я был без ума от Кэрл. Она настоящая принцесса. Только, понимаете, у нас было двое детей. Мальчики. А мы были слишком молоды, чтобы растить двоих детей. Может быть, если бы мы не залезли в долги, если бы я мог зарабатывать больше... Я пытался.

Он пытался играть на деньги, начал подделывать чеки и экспериментировал с другими видами мошенничества и воровства. В 1958-м он был осужден за кражу со взломом, и суд округа Джонсон приговорил его к пяти годам заключения. Но к тому времени Кэрл уже от него ушла, и он нашел себе другую шестнадцатилетнюю невесту.

– Злая, как сто чертей. И вся ее семейка была не лучше. Пока я сидел, она со мной развелась. Но я не жалею. Прошлым августом, выйдя на волю, я решил, что еще не поздно начать новую жизнь. Нашел работу в

Олате, поселился у родителей и ночевал только дома. Был паинькой, одним словом.

– До двадцатого ноября, – сказал Най, но Хикок, казалось, его не понял. – В этот день ты перестал быть паинькой и начал раздавать «паленые» чеки. Почему?

Хикок вздохнул:

– Об этом можно написать целую книгу. – Потом, дымя сигаретой, которую ему дал Най, а зажег галантный Черч, он продолжал: – Перри – мой приятель Перри Смит – освободился весной. Позже, когда я вышел, он прислал мне письмо. Со штампом штата Айдахо. В письме он напоминал мне о деле, которое мы обговорили еще в тюрьме. Насчет Мексики. Мы собирались поехать в Акапулько – есть там такой городишко, – купить лодку и возить на ней туристов на рыбалку в открытое море.

Най его перебил:

– По поводу лодки. На какие деньги вы собирались ее покупать?

– Я к этому подхожу, – сказал Хикок. – Видите ли, Перри написал мне, что у него в Форт-Скотте есть сестра. И у нее лежат его бабки. Несколько тысяч долларов. Это была его доля за продажу какой-то хибары на Аляске. Она была у них с отцом общая. Он сказал, что приедет в Канзас за своими деньгами.

– И на них вы хотели купить лодку.

– Правильно.

– Но ничего не вышло.

– Перри явился примерно через месяц после этого. Я встретил его на автобусной станции в Канзас-Сити.

– Когда? – спросил Черч. – Какой был день недели?

– Четверг.

– И когда вы поехали в Форт-Скотт?

– В субботу.

– Четырнадцатого ноября.

В глазах Хикока мелькнуло удивление. Было видно, что он спрашивает себя, почему Черча так интересует точная дата, и детектив спокойно – потому что было еще рано будить в задержанном подозрения – спросил:

– В какое время вы выехали в Форт-Скотт?

– Днем. Мы немного повозились с моей машиной, а потом заскочили перекусить в кафе «Вест-Сайд». Было, наверное, около трех.

– Около трех. Сестра Перри Смита ждала вашего приезда?

– Нет. Потому что, понимаете, Перри потерял ее адрес. А телефона у нее нет.

– Тогда как же вы собирались ее найти?
– Спросить на почте.
– И вы спросили?
– Перри спросил. Ему сказали, что она уехала. Вроде бы в Орегон, но точного адреса не оставила.
– Вероятно, для вас это был тяжелый удар? Ведь вы рассчитывали на кучу денег.

Хикок согласно кивнул:

– Да, мы ведь уже так настроились на Мексику. Если бы не это, я ни за что не стал бы выписывать фальшивые чеки. Но я надеялся... Вот послушайте, я правду говорю. Я думал, что когда мы приедем в Мексику и начнем зарабатывать, я смогу оплатить эти чеки.

– Минутку, Дик, – перехватил инициативу коренастый, нетерпеливый Най. Он с трудом сдерживал свою обычную агрессивность и старался невозмутимо задавать вопросы. – Я хотел бы еще послушать насчет поездки в Форт-Скотт, – сказал он с легким нажимом. – После того, как вы узнали, что сестра Смита уехала, что вы сделали?

– Погуляли. Выпили пивка. Поехали обратно.

– Ты имеешь в виду, домой?

– Нет. В Канзас-Сити. Мы остановились в «Зе-сто Драйв-инн». Съели по гамбургеру и пошли попытать счастья в Вишневые ряды.

Ни Най, ни Черч не знали ни о каких Вишневых рядах.

– Вы шутите? – изумился Хикок. – Любой коп в Канзасе их знает.

Когда же детективы вновь подтвердили свое невежество, он объяснил, что это дорожка в парке, где всегда можно найти «в основном профессионалок», и добавил: «Но и любительницы тоже встречаются. Медсестры. Секретарши. Мне там не раз выпадала удача».

– И в тот вечер тебе тоже повезло?

– Да уж, привалило счастье! Они оказались воровками.

– И звали их...

– Одну – Милдред. Другую, которую взял Перри, кажется, Джоан.

– Опиши их.

– Может, они были сестры. Обе блондинки. Пухленькие такие. Я не особенно вглядывался. Понимаете, мы купили бутылку «Цветка апельсина» – это смесь водки и апельсинового сока, – и я был пьян в дугу. Мы угостили девчонок и повезли их в «Утеху». Полагаю, об «Утехе» вы, джентльмены, тоже не слышали?

Он угадал.

Хикок усмехнулся и пожал плечами.

– Это на Блю-Ридж-роуд. Восемь миль к югу от Канзас-Сити. Ночной клуб и мотель одновременно. Платишь десятку и получаешь ключ от домика.

Далее он описал домик, в котором, по его уверениям, они провели ночь: две одинаковые кровати, старый календарь с рекламой «кока-колы», радио, которое включают за дополнительные четверть доллара. Его самообладание, его ясная речь, уверенное изложение многочисленных деталей, которые запросто можно проверить, произвели впечатление на Ная – хотя, разумеется, парень врал. А вдруг нет? И то ли из-за простуды и жара, то ли из-за внезапного ослабления согревающей силы уверенности Ная прошиб холодный пот.

– А наутро мы проснулись. И выяснилось, что они нас обобрали и смылись, – сказал Хикок. – С меня-то много не слупишь, а у Перри в бумажнике было долларов сорок, а то и все пятьдесят.

– И что же вы предприняли?

– А чего тут предпринимать?

– Вы могли бы обратиться в полицию.

– Ну да, как же. Бросьте. Обратиться в полицию. К вашему сведению, условно освобожденному напиваться не полагается. Или встречаться с товарищами по несчастью.

Ну хорошо, Дик. Теперь о воскресенье. Пятнадцатого ноября. Расскажи нам, что вы делали в тот день, начиная с того момента, как вышли из «Утехи».

– Ну, мы позавтракали на стоянке грузовиков возле Хэппи-хилл. Потом поехали в Олат, и я высадил Перри у гостиницы, где он остановился. Кажется, это было часов в одиннадцать. Потом я поехал домой, и мы всей семьей сели обедать. Как всегда по воскресеньям. Смотрел телевизор – баскетбол, а может, это был и футбол. Я был очень уставший.

– Когда ты в следующий раз встретился с Перри Смитом?

– В понедельник. Он пришел ко мне на работу. В «Товары для тела» Боба Сэндза.

– И о чем вы с ним говорили? О Мексике?

– Ну да, нам все равно нравилась эта идея, хоть мы и не получили денег. Нам хотелось туда поехать, и мы решили, что стоит рискнуть.

– Стоит того, чтобы снова угодить в Лансинг?

– Об этом мы не задумывались. Понимаете, мы ведь вообще не собирались возвращаться в Штаты.

Най, который делал пометки в блокноте, сказал:

– На следующий день после развлечения с чеками, которое имело

место двадцать первого числа, ты и твой друг Смит исчезли. Теперь, Дик, пожалуйста, обрисуй ваши передвижения начиная с этого момента и до вашего ареста в Лас-Вегасе. В общих чертах.

Хикок присвистнул и закатил глаза.

– Ничего себе! – сказал он и, призвав свой дар для ответа, очень напоминающего исчерпывающий отчет, начал перечислять все пункты своего долгого путешествия – путешествия протяженностью около десяти тысяч миль, которое они со Смитом проделали за последние шесть недель. Он говорил в течение часа и двадцати пяти минут – начиная с двух пятидесяти и до четырех пятнадцати – и продиктовал Наю названия всех шоссе, гостиниц, мотелей, рек, городов и городишек, целую вереницу названий: Апач, Эль-Пасо, Корпус-Кристи, Сантйю, Сан-Луис-Потоси, Акапулько, Сан-Диего, Даллас, Омаха, Свитуотер, Стилутотер, Тенвилл-Джанкшн, Таллахасси, Нидлз, Майами, отель «Нуэво Уолдорф», отель «Сомерсет», отель «Саймон», мотель «Наконечник стрелы», мотель «Чероки» и многие, многие другие. Он назвал им имя человека, которому он продал в Мексике свой старый «шевроле» 1949 года, и признался, что украл более новую модель в штате Айова. Он описал людей, которых они с Перри встретили по пути: мексиканская вдова, богатая и сексуальная; Отто, немецкий «миллионер»; «шикарные» негры в «шикарном» сиреновом «кадиллаке»; слепой владелец фермы, где разводят гремучих змей, во Флориде; умирающий старик и его внук и другие. Когда он закончил, он сложил руки на груди и просиял, как будто ждал, что сейчас его похвалят за юмор, ясность и искренность его рассказа об этом путешествии.

Но Най, стараясь не отстать от повествования, только строчил как сумасшедший, а Черч лениво постучал сжатой в кулак рукой по открытой ладони и промолчал – и только потом, совершенно неожиданно, сказал:

– Я думаю, ты знаешь, зачем мы здесь.

Хикок перестал улыбаться и сел прямее.

– Я полагаю, ты понимаешь, что мы не стали бы мчаться в Неваду только затем, чтобы поболтать с парочкой дешевых мошенников.

Най закрыл блокнот. Он тоже посмотрел на задержанного и заметил, что на левом виске у него вздувается вена.

– Стали бы, Дик?

– Чего?

– Ехать в такую даль, чтобы побеседовать с тобой о чеках?

– Другой причины я не вижу.

Най нарисовал на обложке блокнота кинжал. Покончив с этим делом, он спросил:

– Скажи мне, Дик, ты когда-нибудь слышал об убийстве Клаттеров?

Позже он написал в официальном отчете: «Мой вопрос вызвал у подозреваемого сильную реакцию. Он посерел. Глаза его забегали».

Хикок сказал:

– Тпру, не так шустро. Попридержите коней. Я вам не паршивый убийца.

– Вопрос был, – напомнил ему Черч, – не слышал ли ты чего-нибудь об убийстве Клаттеров.

– Кажется, я что-то такое читал, – сказал Хикок.

– Гнусное преступление. Гнусное. И трусливое.

– И почти идеальное, – сказал Най. – Но вы допустили две ошибки, Дик. И первая в том, что вы оставили свидетеля. Живого свидетеля, который будет давать показания в суде. Который будет стоять на свидетельском месте и расскажет присяжным о том, как Ричард Хикок и Перри Смит связали и убили четверых беспомощных людей.

Лицо Хикока побагровело от вернувшейся краски.

– Живой свидетель! Не может этого быть!

– Потому что вы думали, что уничтожили всех?

– Я сказал: тпру! Никому не удастся приплести меня к убийству. Чеки. Милое мелкое воровство. Но я не убийца, черт бы вас всех побрал.

– Тогда почему, – запальчиво спросил Най, – ты нам соврал?

– Я вам говорил правду.

– Временами, но не всегда. Например, о том, что произошло в субботу, четырнадцатого ноября? Ты сказал, что вы поехали в Форт-Скотт.

– Да.

– И когда вы туда приехали, вы зашли на почту.

– Да.

– Чтобы выяснить адрес сестры Перри Смита.

– Верно.

Най поднялся. Он обошел вокруг стула Хикока и остановился у него за спиной. Наклонившись к самому уху задержанного, он прошептал:

– У Перри Смита нет никакой сестры в Форт-Скотте и никогда не было. И в субботу днем почтовое отделение Форт-Скотта не работало.

Потом он сказал:

– Обдумай это, Дик. Пока все. Мы поговорим с тобой позже.

Отпустив Хикока, Най и Черч пересекли коридор и заглянули в одностороннее зеркальное окошечко в двери комнаты, где полным ходом шел допрос Перри Смита, – они наблюдали эту сцену без звукового сопровождения. Най, который впервые увидел Смита, был заморожен его

ногами – точнее, тем, что ноги у него были настолько коротки, что маленькие, как у ребенка, ступни едва доставали до пола. Голова Смита – жесткие индейские волосы, ирландско-индейская смесь темной кожи и дерзкого, каверзного выражения лица – напомнила ему о симпатичной сестре подозреваемого, милой миссис Джонсон. Но этот маленький, покалеченный полумужчина-полуренок не был милым; розовый кончик его языка высовывался между губами, словно язык ящерицы. Он курил сигарету, и по ровности его выдохов Най заключил, что он все еще «девственный» – то есть до сих пор не знает о реальной цели допроса.

Най не ошибся. Ибо Дьюи и Дунц, терпеливые профессионалы, постепенно сокращали историю жизни задержанного до событий последних семи недель, а те в свою очередь – до сжатого отчета об интересующем их уик-энде: от полудня субботы до полудня воскресенья соответственно 14 и 15 ноября. И теперь, потратив на подготовку три часа, они уже собирались перейти к сути, и Дьюи сказал:

– Перри, давай подведем итоги. Когда тебя освободили из колонии, тебе поставили условие, что ты больше никогда не вернешься в Канзас.

– Штат подсолнухов. Я был безутешен.

– Раз ты так к этому относишься, тогда зачем ты вернулся? У тебя должна была быть какая-то очень веская причина.

– Я же вам сказал. Чтобы повидаться с сестрой. Чтобы получить деньги, которые она держала для меня.

– О да. Сестру, которую вы с Хикоком пытались разыскать в Форт-Скотте. Перри, как далеко Форт-Скотт от Канзас-Сити?

Смит покачал головой. Он не знал.

– Хорошо, ну а сколько часов вы туда ехали?

Нет ответа.

– Один час? Два? Три? Четыре?

Подследственный сказал, что он не помнит.

– Конечно, не помнишь. Потому что ты никогда в жизни не был в Форт-Скотте.

До той поры никто из детективов не подвергал сомнению ни одно утверждение Смита. Он поерзал на стуле и провел по пересохшим губам кончиком языка.

– Выходит, что все твои слова – ложь. Ты никогда не бывал в Форт-Скотте. Вы не снимали никаких девочек и не отвозили их ни в какой мотель.

– Отвозили. Кроме шуток.

– Как их звали?
– Я не спрашивал.
– Вы с Хикоком провели с ними ночь и даже не спросили, как их зовут?

– Это же всего-навсего проститутки.
– Скажи нам, как назывался мотель.
– Спросите Дика. Он знает. Я никогда не запоминаю всю эту бодягу.
Дьюи обратился к своему коллеге:
– Кларенс, я думаю, пора нам поправить Перри.

Дунц наклонился вперед. Он был тяжеловесом, обладал проворством боксера второго полусреднего веса, однако глаза у него всегда оставались полуприкрытыми и сонными. Он растягивал слова; каждое слово, неохотно слетавшее с его губ, звучало с каким-то коровьим акцентом и тянулось мучительно долго.

– Да, сэр, – проговорил он. – Похоже, самое время.
– Слушай внимательно, Перри. Потому что мистер Дунц сейчас скажет тебе, где вы на самом деле были в ту субботу ночью. Где вы были и что вы делали.

Дунц сказал:

– Вы убивали семью Клаттеров.

Смит сглотнул и начал потирать колени.

– Вы были в Холкомбе, штат Канзас. В доме мистера Герберта У. Клаттера. И прежде чем уйти из этого дома, вы убили всех, кто там был.

– Нет.

– Что «нет»?

– Я не знаю никакого Клаттера.

Дьюи назвал его лгуном, а потом, разыгрывая ту самую карту, которую они заранее договорились разыграть, сказал ему:

– У нас есть свидетель, Перри. Кое-кого вы, ребятки, проворонили.

Прошла целая минута, и Дьюи ликовал, потому что Смит молчал, а невиновный человек обязательно спросил бы, что за свидетель, и кто такие Клаттеры, и почему думают, что это он их убил, – во всяком случае, что-нибудь сказал. Но Смит сидел молча, стискивая пальцами колени.

– Ну, Перри?

– У вас аспирин нет? У меня забрали аспирин.

– Тебе плохо?

– Ноги болят.

Было уже пять тридцать. Дьюи нарочно резко закончил допрос:

– Завтра мы к этому вернемся. Между прочим, ты знаешь, какой завтра

день? День рождения Нэнси Клаттер. Ей исполнилось бы семнадцать.

«Ей исполнилось бы семнадцать». Перри, лежа на рассвете без сна, думал о том (как он вспоминал позже), правда ли, что сегодня день рождения этой девочки, и решил, что нет, это было сказано просто для того, чтобы заставить его подергаться, как и выдуманный «свидетель». Этого не может быть. Или они имеют в виду... Эх, если бы он только мог поговорить с Диком! Но их держали порознь; Дик сидел в камере на другом этаже. «Слушай внимательно, Перри, потому что мистер Дунц сейчас скажет тебе, где вы были на самом деле...» На половине допроса, когда он начал замечать намеки на конкретные числа ноября, он начал нервничать от предчувствия того, что должно произойти дальше, но все равно, когда это произошло, когда этот здоровенный ковбой сонным голосом произнес: «Вы убивали семью Клаттеров» – Перри... да он едва не умер на месте. Он, наверное, за две секунды потерял фунтов десять. Слава богу, что этого никто не заметил. Во всяком случае, он на это надеялся. А Дик? Возможно, они и с ним провернули тот же трюк. Дик был умным, убедительным актером, но «стержня» в нем нет, он слишком легко поддается панике. Но пусть даже так и пусть даже они на него хорошенько надавили, Перри был уверен, что Дик не расколется. Если не хочет болтаться на виселице. «И прежде чем уйти из этого дома, вы убили всех, кто там был». Очень может быть, что каждому из бывших заключенных в Канзасе они поют одну и ту же песенку. Они, наверное, допросили сотни людей и многих из них обвинили в этом убийстве; они с Диком были просто еще двое таких же. С другой стороны – стали бы четверых специальных агентов из Канзаса посылать к черту на рога ради пары мелких нарушителей условий освобождения? Может быть, каким-то образом они что-то нашли, какого-то «свидетеля». Но это невозможно. Разве только – он отдал бы руку, ногу, лишь бы переговорить с Диком хотя бы пять минут.

И Дик тоже не спал в своей камере ниже этажом и, как он позже вспоминал, так же жаждал поговорить с Перри – выяснить, что этот урод им рассказал. Господи, его не удалось даже убедить выучить в общих чертах алиби насчет «Утехи» – хотя они довольно часто его обсуждали. И если эти ублюдки припугнули его свидетелем! Десять против одного, что этот шибздик подумал, что они говорят об очевидце. Тогда как он, Дик, сразу понял, кто этот так называемый свидетель: Флойд Уэллс, его старый друг и бывший сокамерник. Отсидевая последние недели заключения, Дик замыслил прирезать Флойда – вонзить ему в сердце «заточку», – и дурак, что не сделал этого. Кроме Перри, Флойд Уэллс был единственным, кто

мог связать имена Хикок и Клаттер. Флойд, с его сутулыми плечами и скошенным подбородком, – Дик всегда думал, что он сдрейфит. Но сукин сын, наверное, надеялся получить какую-нибудь эдакую награду – досрочное освобождение, или деньги, или и то и другое вместе. Но скорее в аду наступит оледенение, чем он получит вознаграждение. Потому что рассказы преступника не являются доказательством. Доказательства – это следы, отпечатки пальцев, очевидцы, признание. Если эти ковбои могут предъявить ему только историю, которую им рассказал Уэллс, то особенно беспокоиться не о чем. Если уж на то пошло, Перри куда опаснее Флойда. Перри, если он сломается и начнет болтать, приведет их обоих прямо на Перекладину. И внезапно ему открылась истина: это Перри нужно было заставить умолкнуть. Хотя бы на той горной дороге в Мексике. Или по пути через Мохаве. Почему это раньше не приходило ему в голову? Теперь-то пришло, да слишком поздно.

В конце концов на следующий день в пять минут четвертого Смит признал, что про Форт-Скотт он все наврал.

– Просто это была отговорка, которую Дик придумал для своих стариков. Чтобы его отпустили на ночь. Чтобы он мог спокойно выпить. Понимаете, папаша у Дика не спускал с него глаз, боялся, что он нарушит условия освобождения. Поэтому мы придумали сказочку про мою сестру. Только для того, чтобы мистер Хикок не волновался.

Во всем остальном он продолжал придерживаться прежней версии, и как Дунц с Дьюи ни пытались сбить его с толку и обвинить во лжи, он лишь добавлял все новые и новые детали. Сегодня он вспомнил, что проституток звали Милдред и Джейн (или Джоан). «Они нас обокрали, – тоже припомнил он. – Смылись со всеми нашими бабками, пока мы дрыхли». И хотя даже Дунц утратил самообладание и вместе с галстуком и пальто сбросил свое загадочное сонливое достоинство, подозреваемый оставался все таким же довольным и безмятежным; он упорно стоял на своем. Он никогда не слышал ни о Клаттерах, ни о Холкомбе, ни даже о Гарден-Сити.

Через коридор от них, в прокуренной комнате, где происходил повторный допрос Хикока, Черч и Най в основном придерживались стратегии окольного пути. Ни разу за время этого интервью, длившегося почти три часа, никто из них ни словом не упомянул об убийстве – и это держало подследственного в постоянном напряжении. Они говорили обо всем остальном: о взглядах Хикока на религию («Про ад я все знаю. Я там побывал. Может, где-нибудь есть и рай. Богатые обычно так и считают».); о

его сексуальном прошлом («Я всегда был абсолютно нормальный».); и снова об их с Перри блужданиях по двум странам («Почему мы нигде не остановились? Мы искали нормальную работу. Но так ничего приличного и не нашли. Однажды я весь день рыл какую-то канаву...»). Но все вертелось вокруг того, о чем детективы умалчивали, и у Дика от этого заметно портилось настроение. Наконец он прикрыл глаза и потрогал веки кончиками дрожавших пальцев. И Черч спросил:

– Тебя что-то беспокоит?

– Голова болит. Паршиво себя чувствую.

Тогда Най сказал:

– Посмотри на меня, Дик.

Хикок повиновался, и на лице его появилось выражение, которое детектив истолковал как просьбу говорить, обвинять и дать наконец подозреваемому скрыться в святилище стойкого отрицания своей вины.

– Когда мы вчера беседовали, я сказал, что убийство Клаттера было совершено почти идеально. Убийцы допустили только две ошибки. Первая – то, что они проморгали свидетеля. А вторая – что ж, сейчас я тебе покажу.

Поднявшись, он взял в углу коробку и портфель, которые принес в комнату перед началом допроса. Из портфеля Най вынул большую фотографию.

– Это, – сказал он, положив ее на стол, – фотография следов, обнаруженных возле тела мистера Клаттера. А здесь, – он открыл коробку, – сапоги, которые их оставили. Твои сапоги, Дик.

Хикок посмотрел и отвел взгляд. Он поставил локти на колени и закрыл голову руками.

– Смит, – продолжал Най, – был еще неосторожнее. У нас есть и его сапоги тоже, и их подошвы в точности совпадают с другими следами. Кровавыми.

Черч расставил последние точки над «i»:

– Теперь о том, что будет с тобой дальше, Хикок, – сказал он – Ты вернешься в Канзас. Тебе будет предъявлено обвинение в четырех убийствах первой степени. Пункт первый: пятнадцатого ноября тысяча девятьсот пятьдесят девятого года некто Ричард Юджин Хикок незаконно, преступно, преднамеренно и по собственной воле лишил жизни Герберта У. Клаттера. Пункт второй: пятнадцатого ноября тысяча девятьсот пятьдесят девятого года тот же самый Ричард Юджин Хикок незаконно...

Хикок сказал:

– Клаттеров убил Перри Смит. – Он поднял голову и медленно выпрямился на стуле, словно боксер, который, пошатываясь, поднимается с

ковра. – Это Перри. Я не смог его остановить. Он всех их убил.

Почтмейстерша Клэр, наслаждаясь чашечкой кофе в «Кафе Хартман», выразила неудовольствие тем, что радио играет слишком тихо.

– Сделайте погромче, – потребовала она.

Радио было настроено на волну станции Гарден-Сити. Она услышала слова: «...После своего драматического признания Хикок, рыдая, вышел из комнаты для допроса и в коридоре потерял сознание. Агенты Канзасского бюро расследований едва успели его подхватить. Они говорят, что, по словам Хикока, он и Перри Смит вторглись в жилище Клаттера, надеясь найти там сейф с десятью тысячами долларов как минимум. Но не найдя сейфа, они связали всех членов семьи и застрелили их одного за другим. Смит не подтверждает и не отрицает своей причастности к преступлению. Когда ему сообщили, что Хикок подписал признание, Смит сказал: „Я хотел бы увидеть эту бумагу“, но его просьба была отклонена. Следователи пока отказываются с уверенностью утверждать, кто из задержанных стрелял в жертв. Они напоминают, что пока им известна только версия Хикока. Агенты Канзасского бюро расследований, сопровождающие задержанных в Канзас, уже выехали из Лас-Вегаса. Ожидается, что машины прибудут в Гарден-Сити в среду вечером. Тем временем окружной прокурор Дуэйн Уэст...»

– Развели, значит, – сказала миссис Хартман. – Догадались, надо же. Неудивительно, что этот гад упал в обморок.

Остальные – миссис Клэр, Мейбл Хелм и молодой фермер с хриплым голосом, который зашел купить жевательного табака «Браунз Мул», – заговорили все разом. Миссис Хелм промокнула глаза бумажной салфеткой.

– Я не буду слушать, – сказала она. – Я не должна. И я не буду.

«...Новость о том, что в деле наступил перелом, не вызвала большого оживления в Холкомбе, поселке, расположенном в полумиле от дома Клаттеров. Но в целом горожане в количестве двухсот семидесяти человек почувствовали облегчение...»

Молодой фермер вскричал:

– Облегчение! Вчера ночью, когда об этом сказали по телевизору, моя жена знает что сделала? Разревелась, как маленькая.

– Тихо, – сказала миссис Клэр. – Тут про меня.

«...И почтмейстер Холкомба миссис Миртл Клэр сказала, что местные жители рады тому, что дело раскрыто, но некоторые из них до сих пор считают, что в нем могут быть замешаны и другие люди. Она говорит, что

многие до сих пор запирают двери на засов и держат ружья наготове...»
Миссис Хартман засмеялась:

– О Мирт! – воскликнула она. – Кому ты все это наговорила?

– Репортеру из «Телеграм».

Мужчины, которые хорошо знают миссис Клэр, обращаются с ней так, как будто она тоже мужчина. Фермер хлопнул ее по спине и сказал:

– Черт возьми, Мирт. Ну и дела, дружище. Ты что же, думаешь, что кто-то из нас приложил к этому руку?

Разумеется, именно так миссис Клэр и думала, и хотя обычно ее мнение никто не разделял, на сей раз она была не одинока, поскольку большинство жителей Холкомба, прожив в течение семи недель среди сплетен и слухов, взаимного недоверия и подозрений, похоже, были разочарованы тем, что убийцей оказался кто-то со стороны. В самом деле, значительная часть жителей поселка отказывалась верить тому, что во всем виноваты какие-то два незнакомца, два пришлых грабителя. Как сказала миссис Клэр, «может, это и их рук дело, этих парней, но тут все не так просто. Погодите. Когда-нибудь они докопаются до сути, и тогда-то уж мы узнаем, кто за всем этим стоит. Кому Клаттер перешел дорогу. Кто был мозгом».

Миссис Хартман вздохнула. Она надеялась, что Мирт заблуждается. Миссис Хелм сказала:

– А я надеюсь, что их запрут покрепче. Не очень-то весело знать, что они совсем рядом.

– О, я не думаю, что есть о чем волноваться, мэм, – сказал молодой фермер. – Сейчас эти парни нас с вами боятся больше, чем мы их.

Аризона. Край ястребов, гремучих змей и высоких красных скал. По шоссе, пересекающему полынные склоны Столовых гор, мчатся две машины. За рулем головной машины – Дьюи; рядом с ним Перри Смит, на заднем сиденье Дунц. На Смита надеты наручники, соединенные короткой цепочкой с ремнем безопасности. Это приспособление настолько ограничивает его движения, что он не может закурить без посторонней помощи. Когда он хочет сигарету, Дьюи приходится ее раскуривать и вставлять ему в рот. Детективу неприятно это делать, для него это слишком интимное действие – из тех, какие он совершал, когда ухаживал за своей женой.

В целом задержанный не обращает внимания на своих конвоиров и на их периодические попытки подхлестнуть его с помощью выдержек из записанного на магнитофон признания Хикока: «Он говорит, что пытался

тебя остановить, Перри, но не смог. Говорит, что боялся, что ты его тоже застрелишь», и «Да, сэр Перри. Во всем виноват один ты. Сам Хикок, если ему верить, и блохи на собаке не обидит». Все это – во всяком случае, на первый взгляд – Смита совершенно не волнует. Он продолжает рассматривать пейзаж, читать дурацкие стишки и считать скелеты койотов, украшающие ограды ранчо.

Дьюи, не ожидая никакой особенной реакции, говорит:

– Хикок нам сказал, что ты прирожденный убийца. Говорит, тебе убить – раз плюнуть. По его словам, однажды в Лас-Вегасе ты убил одного цветного велосипедной цепью. Забил его до смерти забавы ради.

К удивлению Дьюи, задержанный ахнул. Перри крутанулся на месте, чтобы посмотреть через заднее стекло на второй автомобиль и заглянуть внутрь: «Крутой парень!» Потом повернулся обратно и уставился на темную полосу пустого шоссе.

– Я думал, это все ваши штучки. Я вам не верил. Значит, Дик проболтался. Крутой парень! Да, просто кремень. Не обидит и блохи на собаке. Только задавит собаку, и все. – Он сплюнул. – Я не убивал ниггера.

Дунц ему поверил; просмотрев все папки с нераскрытыми убийствами в Лас-Вегасе, он выяснил, что по крайней мере этого преступления Смит не совершал.

– Я никогда не убивал никаких черномазых. Но Дик думал, что это правда. Я всегда знал, что если мы когда-нибудь попадемся, если Дик когда-нибудь расколется, то он и о ниггере растреплет. – Он снова сплюнул. – Так, значит, Дик меня боялся? Это забавно. Я удивлен. Только он не знает, что я едва его не застрелил.

Дьюи раскурил две сигареты, одну для себя, другую для задержанного.

– Расскажи нам об этом, Перри.

Смит затаился, закрыв глаза, и объяснил:

– Я просто думаю, хочу вспомнить, как все было. – Он надолго замолчал. – Все началось с письма, которое я получил, когда был в Буле, штат Айдахо. Тогда был сентябрь, а может, октябрь. Письмо было от Дика. Он писал, что скоро разбогатеет. Что ему подфартило. Я ему не ответил, но он написал снова и уговаривал меня приехать в Канзас и войти в долю. Он никогда не уточнял, что это за «фарт». Просто говорил – «верняк». Теперь я могу сказать, что у меня была другая причина вернуться в Канзас приблизительно в это же время. Это мое личное дело, и я о нем умолчу – оно не имеет отношения к убийству. Только если бы не это, я бы туда не поехал. Но я поехал, и Дик встретил меня на автобусной станции в Канзас-Сити. Мы отправились на ферму к его родителям. Но они не хотели, чтобы

я там оставался. Я очень чувствительный; обычно я знаю, что люди чувствуют. Вот вы, например, – он имел в виду Дьюи, хотя и не посмотрел в его сторону. – Вам неприятно раскуривать для меня сигарету. Но это ваша работа. Я вас не виню. Не больше, во всяком случае, чем мамашу Дика. На самом деле она очень славная. Но она знала, кто я такой – друг из колонии, – и не хотела, чтобы я оставался в ее доме. Господи, да я был только рад переехать в отель. Дик отвез меня в Олат. Мы купили пива, отнесли его в номер, и тогда Дик рассказал, что у него на уме. Он сказал, что после того, как я вышел из Лансинга, он сидел вместе с одним парнем, который когда-то работал на богатого фермера в западном Канзасе. Мистера Клаттера. Дик нарисовал мне план дома Клаттера. Он знал, где что находится – двери, коридоры, спальни. Он сказал, что одна из комнат нижнего этажа используется в качестве кабинета и там есть сейф, вделанный в стену. Он сказал, что мистеру Клаттеру этот сейф нужен потому, что у него всегда на руках крупные суммы наличных. Не меньше десяти тысяч долларов. План состоял в том, чтобы обчистить сейф, а если нас кто-нибудь увидит, прикончить свидетеля. Дик, наверное, миллион раз говорил: «Никаких свидетелей». Дьюи сказал:

– И сколько, он думал, окажется этих свидетелей? Я имею в виду – сколько человек он ожидал застать в доме Клаттера?

– Я тоже хотел это выяснить. Но он и сам точно не знал. По крайней мере четверых. Возможно, шестерых. Надо было учитывать, что могут быть гости. Он считал, что мы должны быть готовы справиться с дюжиной.

Дьюи застонал, Дунц присвистнул, а Смит, улыбнувшись бледной улыбкой, добавил:

– Мне тоже показалось, что двенадцать человек – это перебор. Но Дик на все говорил – «верняк». Мы, говорил, пойдем туда и размажем их мозги по всем стенам. У меня было такое настроение, что я потащился за ним. Но еще – чтобы быть до конца честным – я верил в Дика. Он казался мне практичным, мужественным, да и деньги мне были нужны не меньше, чем ему. Я хотел получить свое и свалить в Мексику. Но я надеялся, что мы сможем обойтись без насилия. Если наденем маски. Мы много об этом спорили. По пути в Холкомб я хотел остановиться и купить черные чулки, чтобы надеть на голову, но Дик считал, что его узнают даже под чулком, потому что у него перекошенная физиономия. И все равно, когда мы приехали в Эмпорию...

Дунц перебил:

– погоди, Перри. Ты забегаешь вперед. Вернись в Олат. Во сколько вы оттуда уехали?

– В час. В час тридцать. Мы отправились сразу после завтрака и заехали в Эмпорию. Там мы купили резиновые перчатки и моток шнура. Нож, ружье и патроны Дик взял из дома. Но он не захотел искать черные чулки. Мы здорово повздорили по этому поводу, и где-то в пригороде Эмпории, увидев католическую больницу, я уговорил его остановиться, зайти туда и попытаться купить черные чулки у монашек. Я знал, что они такие носят. Но он только сделал вид. Вышел и сказал, что они ему не продали. Я был уверен, что он даже не стал спрашивать, и Дик сам признался: сказал, что это была дурацкая мысль, что монашки могли принять его за сумасшедшего. После этого мы не останавливались до самого Грейт-Бенда. Там мы купили пластырь. И пообедали. Съели мы много, и я задремал в машине. Когда я проснулся, мы уже въезжали в Гарден-Сити. Город был словно вымерший. Мы остановились заправиться на бензоколонке... Дьюи спросил, не помнит ли он, на какой именно.

– Кажется, это была «Филипс-66».

– Сколько было времени?

– Около полуночи. Дик сказал, что до Холкомба осталось семь миль. Весь остаток пути он говорил сам с собой – здесь должно быть то, здесь должно быть это, вспоминал, что ему рассказывал этот тип. Я даже не заметил, как мы проскочили Холкомб, – такой это маленький поселок. Мы пересекли железную дорогу. Внезапно Дик сказал: «Это здесь, это должно быть здесь». Там был въезд на частную дорогу, обсаженную деревьями. Мы притормозили и погасили фары. Они были не нужны. Хватало луны. На небе не было ни облачка, ничего. Только эта полная луна. Светло было как днем, и когда мы свернули на дорожку, Дик сказал: «Погляди, какой размах! Амбары! А дом! И не говори мне, что у этого парня не водятся деньги». Но мне не понравилась атмосфера этого места: чересчур солидная. Мы остановились в тени деревьев. Пока мы там сидели, зажегся свет – не в главном доме, а в маленьком домике в сотне ярдов левее. Дик сказал, что там живет работник; на его плане это было отмечено. Но оказалось, что этот проклятый домик ближе к дому Клаттера, чем предполагалось. Потом свет погас. Мистер Дьюи – вы говорили про свидетеля. Это вы его имели в виду – работника?

– Нет. Он не слышал ни звука. Но его жена укачивала больного ребенка. Он сказал, что они всю ночь не спали.

– Больной ребенок. А я-то думал... Пока мы еще сидели, свет снова зажегся и снова погас. И я, конечно, занервничал. И сказал Дику, что выхожу из игры. Если он собирается туда идти, пусть идет один. Он завел мотор, и я подумал – уезжаем, слава богу. Я всегда доверял своим

предчувствиям; они не раз спасали мне жизнь. Но на полпути к шоссе Дик остановился. Он был зол как черт. Я понимал, о чем он думает. Вот собрался сорвать такой куш, вот мы проделали такой долгий путь, а теперь этот придурок хочет пойти на попятный. Он сказал: «Может, ты думаешь, что у меня кишка тонка пойти туда одному? Что ж, клянусь Богом, я покажу тебе, у кого из нас кишка тонка». В машине была какая-то выпивка. Мы оба глотнули, и я сказал ему: «Ладно, Дик. Я с тобой». Мы повернули обратно. Остановились там же, где до этого, в тени деревьев. Дик надел перчатки; я тоже. Он взял нож и фонарь. Я нес ружье. В лунном свете дом казался огромным и пустым. Помню, я молился, чтобы там и в самом деле никого не было... Дьюи перебил:

– Но вы же видели собаку?

– Нет.

– Там был старый пес, который боится оружия. Мы не могли понять, почему он не залаял. Единственное объяснение – он увидел ружье и убежал.

– Ну, я не видел ни собак, ни людей. Вот почему я не поверил, когда вы сказали, что есть очевидец.

– Не очевидец. Свидетель. Человек, чьи показания связывают тебя и Хиккока с этим убийством.

– А-а. Угу. Угу. Он, значит. А Дик всегда говорил, что он побоится. Ха!

Дунц, не давая Перри уклониться от темы, напомнил:

– Хикок взял нож. Ты нес ружье. Как вы попали в дом?

Дверь была не заперта. Боковая дверь. Через нее мы сразу попали в кабинет мистера Клаттера.

Подождали в темноте. Прислушались. Но ничего, кроме ветра, не слышали. Снаружи завывало не на шутку. Было слышно, как шумит листва. Единственное окно закрывали жалюзи, но сквозь них проникал лунный свет. Я закрыл их наглухо, и Дик включил фонарь. Мы увидели стол. Сейф должен был находиться в стене сразу за столом, но мы не могли его найти. Стена была облицована панелями, на ней висели книжные полки и карты в рамках. На одной полке я заметил потрясающий бинокль и решил, что, когда мы будем уходить, я его заберу.

– И забрал? – спросил Дьюи, поскольку бинокль нигде не упоминался.

Смит кивнул.

– Мы его продали в Мексике.

– Извини. Продолжай.

– Ну вот, когда мы не смогли найти сейф, Дик погасил фонарь, и мы в темноте двинулись через гостиную. Дик прошептал мне, чтобы я шел

потиху. Но он сам шумел не меньше меня. Мы прошли по коридору и увидели дверь. Дик вспомнил план и сказал, что там спальня. Он снова зажег фонарь и открыл дверь. Мужчина, который был в комнате, спросил: «Это ты, дорогая?» Мы его разбудили, и он моргал спросонья. «Это ты, дорогая?» Дик спросил его: «Вы мистер Клаттер?» Тогда он окончательно проснулся, сел и сказал: «Кто здесь? Что вам нужно?» И Дик сказал ему, очень вежливо, словно мы с ним были парочкой коммивояжеров: «Мы хотели поговорить с вами, сэр, в вашем кабинете, если можно». И мистер Клаттер, босиком, в одной пижаме, прошел с нами в кабинет и включил там свет.

До сих пор у него не было возможности хорошенько нас рассмотреть. Я думаю, что когда он нас разглядел, то испытал шок. Дик сказал: «Сэр, все, что мы от вас хотим, это чтобы вы показали нам, где сейф». Но мистер Клаттер спросил: «Какой сейф?» Он заявил, что у него нет никакого сейфа. Я не сомневался, что это правда. Такое у него было лицо. По нему сразу было видно, что этот человек никогда не врет. Но Дик заорал на него: «Не ври, сукин сын! Я знаю, что у тебя есть сейф!» У меня возникло такое чувство, что с мистером Клаттером никто никогда так не разговаривал. Но он смотрел Диком прямо в глаза и очень спокойно с ним говорил. Сказал, что ему очень жаль, но у него просто нет никакого сейфа. Дик приставил ему к груди нож и сказал: «Быстро показывай, где у тебя сейф, а то пожалеешь». Но мистер Клаттер – конечно, видно было, что он боится, но голос у него не дрожал – продолжал уверять, что сейфа у него нет.

Примерно в этот момент я заметил телефон. Тот, что был в кабинете. Я выдрал провод и спросил мистера Клаттера, есть ли в доме еще аппарат. Он сказал – да, в кухне. Я взял фонарь и пошел на кухню – она была довольно далеко от кабинета. Найдя телефон, я оторвал трубку и перекусил провод плоскогубцами. Потом, по пути назад, я услышал шум. Скрип наверху. Я остановился у подножия лестницы, ведущей на второй этаж. Там было темно, но я осмелился включить фонарь. Я мог бы поклясться, что там кто-то есть. На верху лестницы на фоне окна был виден чей-то силуэт. Потом он исчез.

Дьюи подумал, что это, наверное, была Нэнси. Он часто представлял себе, исходя из того, что золотые часики были найдены в носке ее туфли в шкафу, что Нэнси проснулась, услышав, что в доме посторонние, решила, что это воры, и благоразумно спрятала часики, самую ценную из своих личных вещей.

– Я подумал – вдруг там кто-нибудь с ружьем. Но Дик не стал бы меня даже слушать: он слишком увлекся игрой в крутого парня. Гонял мистера

Клаттера как зайца. Теперь он привел его назад в спальню и пересчитал деньги в его бумажнике Там было около тридцати долларов. Дик бросил бумажник на кровать и сказал: «У вас в доме должны быть еще деньги. Вы же богач и живете в таком большом доме». Мистер Клаттер сказал, что это все его наличные деньги, и объяснил, что он всегда расплачивается чеками. Он предложил выписать чек, но Дик только еще больше разбушевался: «Мы что, монголы, по-вашему?» Мне показалось, что Дик сейчас его ударит, и я сказал: «Дик, послушай меня. Там наверху кто-то проснулся». Мистер Клаттер заверил нас, что наверху только его жена, сын и дочь. Дик спросил, есть ли деньги у его жены, и мистер Клаттер сказал, что если есть, то очень мало, несколько долларов, и попросил нас – очень трогательно для человека, которому угрожают оружием, – пожалуйста, не трогайте ее, она инвалид и долгое время болела. Но Дик заставил его отвести нас наверх.

У подножия лестницы мистер Клаттер включил лампочку, которая освещала верхний коридор, и пока мы поднимались, сказал: «Не понимаю, зачем вам, ребята, это понадобилось. Я вам ничего плохого не сделал. И вообще впервые в жизни вас вижу». Дик сказал ему: «Заткнись! Говорить будешь, когда тебя спросят». В коридоре никого не было, и все двери были закрыты. Мистер Клаттер показал комнаты, где спали дети, а потом открыл дверь в спальню жены. Он зажег лампу возле ее кровати и сказал ей: «Все в порядке, дорогая, не бойся. Этим людям просто нужны деньги». Это была худая, слабая женщина в длинной белой ночной рубашке. Едва открыв глаза, она сразу начала плакать и сказала мужу: «Любимый, у меня нет денег». Он ласково погладил ее по руке и сказал: «Ну, не плачь, дорогая. Ничего страшного. Просто я дал этим людям все деньги, которые у меня были, но им нужно больше. Они думали, что у нас в доме есть сейф. Я им объяснил, что нет». Дик поднял руку, словно собирался ударить его по губам, и сказал: «Тебе было велено молчать!» Миссис Клаттер сказала: «Но мой муж говорит вам святую правду. У нас нет сейфа». Дик огрызнулся: «Я отлично знаю, что есть. И я не уйду, пока его не найду». Потом он спросил, где ее кошелек. Кошелек лежал в ящике бюро. Дик вывернул его наизнанку. Там оказалась какая-то мелочь и пара долларов. Я поманил Дика в коридор: хотел обсудить ситуацию. Как только мы вышли, я сказал... Дунц перебил его и спросил, могли ли мистер и миссис Клаттер подслушать их разговор.

– Нет. Мы не отходили далеко, чтобы не спускать с них глаз, но говорили шепотом. Я сказал Дику: «Эти люди говорят правду. А врет как раз твой дружок Флойд Уэллс. Нет здесь никакого сейфа, так что надо мотать отсюда». Но Дику было стыдно признать свое поражение. Он сказал, что не успокоится, пока не обыщет весь дом. Он сказал, что надо

всех связать, и тогда у нас будет время на поиски. Спорить с ним было невозможно, так он разгорячился. Он упивался тем, что все зависят от его милости. Рядом с комнатой миссис Клаттер была ванная. Мы придумали запереть родителей в ванной, потом разбудить детей, тоже запихнуть их сюда, а затем выпускать их по одному и привязывать в разных частях дома. А когда мы найдем сейф, сказал Дик, мы перережем им глотки. Стрелять нельзя, сказал он: слишком много шума.

Перри нахмурился и потер колени.

– Дайте-ка вспомнить. После этого все как-то усложнилось. Сейчас я вспомню. Да. Да, я взял стул из коридора и поставил его в ванной. Чтобы миссис Клаттер могла сесть. Нам ведь сказали, что она инвалид. Когда мы их там запирали, миссис Клаттер плакала и просила нас: «Пожалуйста, не причиняйте никому вреда. Пожалуйста, не обижайте моих детей». А ее муж обнимал ее за плечи и говорил: «Дорогая, эти парни не собираются никого обижать. Им просто нужны деньги».

Мы пошли в комнату мальчика. Он не спал и лежал так тихо, словно боялся пошевелиться. Дик велел ему встать, но он замешкался, тогда Дик ударил его, вытащил из кровати, и я сказал: «Не бей его, Дик». А мальчику – он был в одной футболке – велел надеть штаны. Он надел синие джинсы, и как только мы заперли его в ванной, из своей комнаты вышла девочка. Она была полностью одета, словно проснулась уже давно. То есть на ней были носки, тапочки, кимоно, а волосы были убраны под платок. Она пыталась улыбаться. Она сказала: «Господи, что это такое? Какая-то шутка?» Но не думаю, что она приняла нас за шутников, особенно после того, как Дик открыл дверь в ванную и затолкал ее туда...

Дьюи представил себе всю картину: члены семьи, кроткие и испуганные, но не подозревающие о том, какая их ждет участь. Если бы Герб хотя бы на мгновение заподозрил, что задумали эти грабители, он бы сопротивлялся. Он был человек мягкий, но сильный и отнюдь не трус. Элвин Дьюи был его другом и точно знал, что Герб дрался бы насмерть, защищая жизнь Бонни и своих детей.

– Дик остался караулить у двери ванной, а я пошел на разведку. Я обшарил комнату девочки и нашел маленький кошелек, похожий на кукольный. Внутри лежал серебряный доллар. Как-то так вышло, что я его уронил, он покатился по полу и закатился под стул. Мне пришлось опуститься на колени. И в этот момент я как будто увидел себя со стороны. Словно в каком-то психованном фильме. Меня чуть не стошнило. Я почувствовал отвращение. Дик-то все болтал о сейфе богатого человека, а я здесь ползаю на брюхе, чтобы украсть у ребенка серебряный доллар. Один

доллар. И ради него я ползаю на брюхе.

Перри стискивает колени, просит у детективов аспирин, благодарит Дунца за таблетку, прожевывает ее и говорит:

– Но что поделаешь. Не стоит пренебрегать никакой добычей. Я обшарил комнату мальчика. Там не было ни цента. Зато я вспомнил про бинокль, который видел в кабинете мистера Клаттера. Я спустился за ним на первый этаж, потом отнес бинокль и радио в машину. Снаружи было холодно и ветрено, и от этого мне стало полегче. Луна светила так ярко, что видно было на много миль вокруг. И я подумал: может, уйти отсюда к чертовой матери? Дойти до шоссе, поймать попутку. Мне совсем не хотелось возвращаться в дом. И все же – как бы вам объяснить? – я не мог собой распоряжаться. Как будто я читал какой-то рассказ. И должен бы узнать, что будет дальше, чем все закончится. В общем, я снова поднялся наверх. А потом... Что же было дальше? Ага, вот тогда-то мы их и связали. Первым – мистера Клаттера. Мы вызвали его из ванной, я связал ему руки и отвел в подвал...

Дьюи перебил:

– Один и без оружия?

– У меня был нож.

– Но Хикок остался сторожить наверху? – уточнил Дьюи.

– Правильно, чтобы они не подняли шума. Но все равно, помощь мне была не нужна. С веревкой я обращаться умею. Всю жизнь узлы вязал.

Дьюи спросил:

– Ты зажег фонарь или включил свет в подвале?

– Включил свет. Подвал был разделен на две части. В одной, судя по всему, была комната для игр. Я отвел Клаттера в другую половину, там стоял котел. Я увидел у стены большую картонную коробку. Коробку из-под матраца. Мне было неловко просить его лечь на холодный пол, поэтому я бросил на пол коробку, смял ее и велел ему лечь на нее.

Водитель сквозь зеркальце заднего вида бросил на своего напарника многозначительный взгляд, и Дунц легонько кивнул, признавая свое поражение. До сих пор никто не разделял мнения Дьюи о том, что коробка от матраца была положена на пол ради удобства мистера Клаттера, и на основании подобных намеков и других мимолетных признаков нелогичного, эксцентричного сострадания детектив пришел к выводу, что по крайней мере один из убийц не был совершенно лишен сердца.

– Я связал ему ноги, потом привязал к ним его руки и спросил, не режут ли ему веревки. Он сказал, что не слишком, но попросил не трогать его жену. Мол, не нужно ее связывать – она не начнет кричать и не станет

пытаться выбежать из дома. Он сказал, что она много лет проболела и только-только начала поправляться, а такой инцидент может замедлить ее выздоровление. Я знаю, что ничего смешного в этом нет, но не мог удержаться от смеха – он еще говорил о «замедлении».

Затем я привел вниз мальчишку. Сначала в ту же комнату, где был его отец. Привязал его за руки к верхней паровой трубе. Но потом я подумал, что это небезопасно. Он мог как-нибудь освободиться и развязать своего старика, или наоборот. Поэтому я перерезал шнур и отвел мальчика в игровую, где стояла удобная с виду кушетка. Я привязал его ноги к ножке кушетки, связал ему руки, а потом сделал петлю вокруг его шеи так, чтобы, если он начнет вырываться, он стал сам себя душить. Пока я колдовал над ним, я положил нож на такой... ну, что-то типа сундука из кедра; он был только что покрыт лаком, и весь подвал им пропах. Так он попросил, чтобы я не клал туда нож. Сундук он мастерил кому-то в подарок. Кажется, он сказал, на свадьбу сестре. Когда я от него отошел, мальчик раскашлялся, и тогда я подложил ему под голову подушку. Потом я выключил свет... Дьюи спросил:

– Но рот им ты не заклеил?

– Нет. Рты мы стали заклеивать позже, после того, как я связал обеих женщин в спальнях. Миссис Клаттер все еще плакала, но в то же время она попросила меня проследить за Диком. Она не доверяла ему, а про меня сказала, что я приличный молодой человек. Я в этом уверена, сказала она, и заставила мне ей пообещать, что я не дам Дикуну причинить кому-нибудь вред. Я думаю, что на самом деле она имела в виду дочку. Я и сам за нее волновался. Я подозревал, что Дик кое-что замышляет, а мне это было не по душе. Когда я связал миссис Клаттер, само собой, оказалось, что Дик уже притащил девочку в спальню. Она лежала в кровати, а он сидел на краешке и с ней разговаривал. Я это дело пресек; велел ему поискать пока сейф. После того как он ушел, я связал ей ноги вместе, а руки связал за спиной. Потом я накрыл ее, подоткнул покрывало, так что снаружи оставалась только голова. Возле кровати стояло небольшое мягкое кресло, и я решил немного отдохнуть; ноги у меня горели – то по лестнице вверх-вниз, то на коленях ползай. Я спросил Нэнси, есть ли у нее друг. Она сказала: да, есть. Она изо всех сил старалась держаться раскованно и дружелюбно. Она мне очень понравилась. Милая девочка, очень красивая и никакая не испорченная, ничего такого. Она мне о себе довольно много успела рассказать. О школе, о том, что она собирается поступить в университет изучать музыку и искусство. О лошадях. Сказала, что после танцев больше всего любит скакать на лошади, и я ей рассказал, что моя

мать была чемпионкой родео.

Еще мы говорили о Дике; понимаете, любопытно мне стало, что он ей нарасказывал. Кажется, она его спросила, почему он занимается такими делами. Грабит людей. Ха, он ей наплел какую-то душещипательную муть – якобы он сирота и рос в приюте, и никто его никогда не любил, и из родни у него была только сестра, которая жила с мужчинами, а они не брали ее замуж. Все время, пока мы говорили, до нас доносилась сумасшедшая беготня снизу. Дик искал сейф. Заглядывал за картины. Простукивал стены. Тук-тук-тук. Словно какой-то психованный дятел. Когда он вернулся, я, просто чтоб уж совсем его опустить, спросил, нашел ли он сейф. Ясное дело, ничего он не нашел, но сказал, что в кухне нашел еще один кошелек. С семью долларами.

Дунц спросил:

– Сколько вы к этому моменту уже находились в доме?

– Около часа.

– А когда вы заклеили жертвам рты?

– Сразу после этого. Начали с миссис Клаттер. Я заставил Дика мне помогать – потому что не хотел оставлять его наедине с девочкой. Я нарезал пластырь длинными полосами, а Дик обмотал ими голову миссис Клаттер, словно мумию. Он спросил ее: «Чего вы все плачете? Вас же никто не трогает», – потом выключил лампу возле ее кровати и сказал: «Спокойной ночи, миссис Клаттер. Спите». Потом, когда мы шли по коридору в комнату Нэнси, он мне сказал: «Сейчас я откупорю эту малышку». А я сказал: «Ага. Только сначала тебе придется меня убить». Кажется, он даже подумал, что ему послышалось. Он сказал: «А тебе-то что? Черт, ну хочешь, тоже вставишь ей потом». Я таких просто презираю – кто не умеет своими сексуальными желаниями управлять. Господи, как я ненавижу такие вещи. Я ему сказал прямо: «Оставь ее в покое, а не то я разбушуюсь». Ух, как ему это не понравилось, но он понял, что сейчас нет времени устраивать тут кровавую драку. Так что он сказал: «Ладно, дружок. Раз тебе не нравится, не будем». В итоге мы так ей рот и не заклеили. Мы погасили свет в коридоре и спустились в подвал.

Перри колеблется. Он задает вопрос, но высказывает его в форме утверждения: «Держу пари, он ни слова не сказал о том, что хотел изнасиловать девочку».

Дьюи подтверждает, что он прав, но добавляет, что если не считать явно скорректированного описания собственного поведения, история Хикока совпадает с тем, что говорит Смит. Детали отличаются, диалоги не идентичны, но в главном оба рассказа – по крайней мере до сих пор –

подтверждают друг друга.

– Возможно. Но я знал, что он не скажет про девочку. Готов был поставить последнюю рубашку.

Дунц сказал:

– Перри, я вел счет лампам. По моим подсчетам, после того как вы погасили свет наверху, дом оказался в темноте.

– Правильно. И больше мы свет не зажигали. Только фонарь. Дик нес фонарик, когда мы пошли заклеивать рот мистеру Клаттеру и мальчишке. Прямо перед тем, как я залепил ему рот, мистер Клаттер меня спросил – и это были его последние слова, – как там его жена, все ли с ней в порядке, и я ему сказал, что с ней все прекрасно, она легла спать, и еще сказал, что уже недалеко утро, их обязательно кто-нибудь найдет, и тогда все это: мы с Диком и все остальное – покажется им далеким сном. Я не заговаривал ему зубы. Я на самом деле не хотел причинять ему никакого зла. По-моему, он был очень славным джентльменом. Спокойным, вежливым. Так я думал вплоть до той секунды, когда перерезал ему горло.

Погодите. Я опять забегаю вперед. – Перри хмурится. Он начинает растирать колени; раздается лязг наручников. – Потом, то есть после того, как мы им заклеили рты, мы с Диком отошли в угол обсудить наше положение. Помните, мы же вроде как повздорили. В тот момент меня чуть не тошнило, когда я думал, что когда-то восхищался им, упивался его хвастовством. Я ему сказал: «Ну что, Дик? Колеблешься?» Он не ответил. Я сказал: «Если оставить их в живых, маленьким сроком мы не отделаемся. Десять лет, самое меньшее». Он по-прежнему молчал. В руках у него был нож. Я попросил у него этот нож и сказал: «Ну хорошо, Дик. Пора приступать». Но я не собирался этого делать. Я хотел вызвать его на блеф, заставить его меня отговаривать, заставить его признать, что он притворщик и трус. Видите ли, между нами с Диком что-то было. Я встал на колени около мистера Клаттера, и боль в суставах напомнила мне о том чертовом долларе. Серебряный доллар. Позор. Отвращение. И *они* еще мне запретили возвращаться в Канзас. Но я не понимал, что я делаю, пока не услышал звук. Как будто кто-то тонет. Крик из-под воды. Я вручил Дику нож и сказал: «Прикончи его. Тебе станет лучше». Дик попытался – или притворился, что пытается. Но у этого человека сил было на десятерых – он наполовину вырвался из веревок, руки у него уже были свободны. Дик запаниковал. Ему хотелось побыстрее слинять. Но я не дал ему уйти. Этот человек все равно умер бы, я знаю, но я не мог его так оставить. Я велел Дику держать фонарь и светить мне, а сам прицелился из ружья. Комната просто взорвалась. Стала голубого цвета. Просто вспыхнула синим. Боже, я

не могу понять, почему грохота не было слышно за двадцать миль. Этот грохот звучал в ушах Дьюи, почти оглушал его и заслонял тихий шепчущий голос Смита. Но голос затягивал, извергая поток звуков и образов: Хикок ищет пустую гильзу; спешка, спешка, голова Кеньона в круге света, ропот приглушенной мольбы, потом Хикок снова ползает в поисках стреляной гильзы; комната Нэнси. Нэнси слушает, как сапоги скрипят по деревянной лестнице, поднимаясь к ней. Глаза Нэнси, Нэнси видит, как свет фонарика ищет цель («Она сказала: „О нет! Пожалуйста! Нет! Нет! Нет! Нет! Не надо! О, пожалуйста, не надо! Пожалуйста!" Я передал ружье Дику и сказал ему, что я свою часть сделал. Он прицелился, и она отвернула лицо к стене»); темный коридор, убийцы спешат к последней двери. Возможно, после всего, что она услышала, Бонни благословила их скорый подход.

– Эту последнюю гильзу мы заколебались искать. Дик нашарил ее под кроватью. Потом мы закрыли дверь спальни миссис Клаттер и спустились в кабинет. Мы подождали там, как и тогда, когда только вошли. Глянули сквозь жалюзи, не шныряет ли поблизости работник или еще кто-нибудь, кто мог бы слышать выстрелы. Но все было по-прежнему – ни звука. Только ветер – и еще Дик, который дышал так, словно за ним волки гнались. Тут же, за несколько секунд до того, как мы подбежали к машине и уехали, я решил, что пристрелю Дика. Он много раз повторял, вколачивая в меня эту мысль: никаких свидетелей. И я подумал: он и есть свидетель. Не знаю, что меня остановило. Видит Бог, надо было мне так и сделать. Пристрелить его, сесть в машину и ехать не останавливаясь, пока не окажусь в Мексике. Затеряться там навсегда.

Тишина. Следующие десять миль трое мужчин едут молча.

В молчании Дьюи кроются скорбь и глубокая усталость. Он стремился точно узнать, «что произошло той ночью». Теперь он уже дважды услышал об этом, и две версии были очень похожи, единственное серьезное несоответствие было в том, что Хикок приписывал все четыре убийства Смигу, в то время как Смит говорил, что обеих женщин застрелил Хикок. Но признания, хотя они давали ответы на вопросы как и почему, напроочь разрушали его представления о четком, спланированном преступлении. Убийства были психологическим несчастным случаем, по сути дела, актом безличным; жертвы могли точно так же быть убиты молнией. Если бы не одно отличие: они испытали продолжительный ужас, они страдали. И Дьюи не мог забыть об их страданиях. Тем не менее он мог смотреть на человека, сидевшего рядом с ним, без гнева – пожалуй, даже с некоторым сочувствием – ведь жизнь Перри Смита вовсе не была медом, это были жалкие, уродливые и одинокие скитания от одного миража к другому.

Сочувствие Дьюи, однако, было не настолько глубоко, чтобы допустить прощение или снисхождение. Детектив надеялся увидеть Перри и его сообщника на виселице – повешенными спиной к спине. Дунц спросил Смита:

– Кстати, сколько денег вы нашли у Клаттеров?

– От сорока до пятидесяти долларов.

Среди животных Гарден-Сити есть два серых кота, которые всегда вместе, – тощие, грязные существа с необычными повадками. Главный обряд дня они совершают в сумерках. Сначала они несутся по Мэйн-стрит, останавливаясь, чтобы тщательно обследовать передние решетки автомобилей, особенно тех, что оставлены на стоянке перед двумя отелями, «Виндзором» и «Уорреном», поскольку именно из этих машин, принадлежащих, как правило, приезжающим издалека, можно извлечь ворон, синиц и воробьев, которые безрассудно перелетают дорогу перед близко идущим транспортом. Пользуясь когтями как хирургическими инструментами, коты вытаскивают из решеток каждую пернатую жертву. Завершив свой рейд на Мэйн-стрит, они неизменно поворачивают на Грант-стрит и вприпрыжку мчатся к площади перед зданием суда – еще одному из их охотничьих угодий, к тому же в среду, 6 января, весьма многообещающему, ибо все окрестные дворы были уставлены машинами, доставившими в город часть той толпы, что собралась на площади.

Толпа начала скапливаться к четырем, поскольку именно этот час прокурор округа назвал как возможное время прибытия Хикока и Смита. После того, как в воскресенье вечером по телевидению было объявлено о том, что Хикок сделал признание, в Гарден-Сити сразу же стянулись журналисты всех мастей и направлений: представители ведущих служб новостей, фотографы, кинохроникеры и телеоператоры, репортеры из Миссури, Небраски, Оклахомы, Техаса и, конечно, из самого Канзаса – всего человек двадцать – двадцать пять. Многие из них ждали уже три дня, не имея иной работы, кроме как брать интервью у дежурного с автозаправочной станции, Джеймса Спора, который, увидев опубликованные фотографии обвиняемых в убийстве, опознал в них клиентов, купивших у него горючего на три доллара и шесть центов в ночь холкомбской трагедии.

Эти профессиональные наблюдатели готовились запечатлеть возвращение в Канзас Хикока и Смита, и капитан Джеральд Марри из дорожно-патрульной службы зарезервировал для них вполне достаточно места перед входом в здание суда – возле ступеней, по которым

задержанные должны были подняться на пути в окружную тюрьму, которая занимает верхний этаж четырехэтажного здания. Один из репортеров, Ричард Парр из «Канзас-Сити стар», раздобыл копию номера «Лас-Вегас сан», выпущенного в понедельник. Заголовок газеты вызвал взрыв смеха: СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ, ЧТО ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В УБИЙСТВЕ ЛИНЧУЕТ ТОЛПА. Капитан Марри заметил: «Что-то на линчевание все это не очень похоже».

Действительно, общество, собравшееся на площади, шло встречать парад или пришло на политическое собрание. Школьники, и среди них бывшие одноклассники Нэнси и Кеньона Клаттеров, пели гимны болельщиков, надували пузыри из жевательной резинки, поглощали хот-доги и газировку. Матери успокаивали ревущих младенцев. Мужчины расхаживали, посадив на плечи маленьких детей. Пришли бойскауты – целый отряд. И немолодые члены женского клуба любителей бриджа присутствовали в полном составе. Мистер Дж. П. (Джеп) Адаме, глава местного ветеранского комитета, явился вдруг в таком странном твидовом одеянии, что кто-то крикнул ему: «Эй, Джеп! Чего это ты вырядился в женское платье?» – оказалось, что мистер Адаме второпях, боясь опоздать к началу представления, по ошибке надел пальто своей секретарши. Корреспондент с радио брал интервью у горожан. Он задавал всем один и тот же вопрос; какого наказания, по их мнению, достойны те, «кто совершил столь гнусное преступление», и большинство опрошенных говорили: «Ну вы спросите» или: «Откуда же мне знать», один школьник ответил: «Я думаю, что нужно их запереть в одной камере до конца жизни. Никогда не пускать никаких посетителей. Чтоб они сидели и до конца жизни глядели только друг на друга». А коренастый, важно расхаживающий мужчина сказал: «Я верю в высшую меру наказания. Ведь и в Библии сказано – око за око. И при этом все равно с них взыскивается в четыре раза меньше!»

Пока было солнце, день оставался сухим и теплым – октябрьская погода в январе. Но когда солнце село, когда тени гигантских деревьев встретились и перемешались, холод и темнота оглушили толпу. Оглушили и разогнали: к шести часам осталось не больше трехсот человек. Корреспонденты, проклиная неуместную задержку, притоптывали ногами и растирали замерзшие уши заочневшими без перчаток руками. Внезапно южная сторона площади затрепетала. Показались машины.

Хотя ни один из журналистов не верил в то, что в отношении подозреваемых будет применено насилие, некоторые предрекали, что прозвучат злобные выкрики. Но когда в толпе увидели убийц под конвоем

патрульных в синей форме, люди затихли, словно поразившись их человеческому обличью. Белолицые мужчины в наручниках стояли и моргали, ослепленные фотовспышками и прожекторами. Операторы проследовали за обвиняемыми и полицейскими в здание суда и, поднявшись на три лестничных пролета, сфотографировали захлопнувшуюся за преступниками дверь окружной тюрьмы.

На площади никто не задержался, ни из журналистской братии, ни из горожан. Теплые комнаты и горячий ужин поманили их домой, и как только все разошлись, оставив холодную площадь двум серым котам, удивительная осень тоже ушла; пошел первый в этом году снег.

Часть 4 ПЕРЕКЛАДИНА

На четвертом этаже здания суда округа Финней мирно уживаются строгость казенного учреждения и домашний уют. Окружная тюрьма обеспечивает первое качество, а так называемая резиденция шерифа, симпатичная квартирка, отделенная от тюрьмы надежными стальными дверьми и коротким коридором, добавляет к нему второе.

В январе 1960 года шериф Эрл Робинсон в своей резиденции фактически не жил. Квартиру занимали заместитель шерифа и его жена, Вендель и Джозефина (Джози) Майеры. Майеры были женаты больше двадцати лет и сделались очень похожи: высокие, обладающие солидным весом и силой, широкими ладонями и квадратными спокойными и добродушными лицами – последнее особенно относится к миссис Майер, прямой и практичной женщине, которая при этом кажется осиянной ореолом мистической безмятежности. Как помощнице заместителя шерифа ей приходится много трудиться. В промежутке между пятью утра, когда она начинает день с прочтения главы из Библии, и десятью вечера, когда она ложится спать, Джозефина Майер готовит и шьет для заключенных, штопает и стирает их белье, замечательно заботится о муже и наводит порядок в их пятикомнатной квартире с дорогими ее сердцу пухлыми подушечками, мягкими стульями и кружевными занавесками сливочного цвета. У Майеров одна дочь, которая уже вышла замуж и живет в Канзас-Сити, так что теперь они одни – вернее, как говорит миссис Майер, «одни, если не считать тех, кто попадает в женскую камеру».

Всего в тюрьме шесть камер; шестая, предназначенная для заключенных женского пола, располагается отдельно от прочих прямо в самой резиденции шерифа – примыкает к кухне Майеров.

– Но, – говорит Джози Майер, – это меня не беспокоит. Я люблю компанию. Люблю, когда есть с кем поговорить, пока хлопчешь на кухне. Обычно этих женщин можно только пожалеть. Случайно влипли, бедняжки, и только. Иное дело Хикок и Смит. Насколько я знаю, Перри Смит был первым мужчиной, которого поместили в женскую камеру. Дело в том, что шериф хотел до окончания суда держать их с Хикоком порознь. В тот день, когда их привезли, я готовила шесть пирогов с яблоками и пекла хлеб, а сама все время поглядывала на площадь. Кухонное окно выходит прямо на нее, и все, что там делалось, было видно как на ладони. Я не подсчитывала, но на вид там была толпа в несколько сотен человек. Они

все ждали, когда привезут парней, убивших семью Клаттеров. Я ни с кем из Клаттеров не встречалась, но судя по тому, что о них говорят, это были прекрасные люди. То, что с ними произошло, трудно простить, и Вендель опасался, что толпа, увидев Хикока и Смита, что-нибудь над ними учинит. Он боялся, что их попытаются прикончить. Поэтому сердце у меня забилось, когда я увидела, как подъехали машины и разные фоторепортеры с газетчиками засуетились и стали пробиваться вперед; но к тому времени уже было темно, часов шесть вечера, и холодно – больше половины народу сдалось и ушло домой. Те, кто остался, даже слова не проронили. Только глазели.

Позже, когда парней привели наверх, я увидела сначала Хикока. Он был в легких летних штанах и старой байковой рубашке. Удивляюсь, как он в такой мороз не схватил воспаление легких. Но вид у него был болезненный. Он казался белым как привидение. Наверное, это жуткое ощущение – идти сквозь толпу незнакомых людей, которые знают, кто ты такой и что совершил. Потом привели Смита. У меня был готов для них ужин: горячий суп, кофе с бутербродами и пирог. Обычно у нас кормят только два раза в день. Завтрак в семь тридцать, основная еда в четыре тридцать. Но я не хотела, чтобы эти друзья легли спать на голодный желудок; я думаю, они и без того неважно себя чувствовали. Но когда я принесла Смицу на подносе ужин, он сказал, что не хочет есть. Он стоял ко мне спиной и глядел в окно. Из этого окна вид такой же, как и из моего кухонного: деревья, площадь и крыши домов. Я ему говорю: «Вы бы хоть попробовали суп, он овощной, и не из консервов. Я его сама готовила. И пирог тоже». А через час я пришла забрать поднос, и оказалось, что Смит вообще ни к чему не притронулся. Он так и стоял у окна. Как будто даже не шевельнулся с тех пор, как я ушла. Шел снег, и я, помню, сказала, что это первый снег в этом году и что у нас до сих пор была такая прекрасная долгая осень. А вот теперь – снег. Потом я спросила его, что он больше всего любит из еды; если у него есть какое-то любимое блюдо, я постараюсь завтра его приготовить. Он повернулся и посмотрел на меня с подозрением, как будто я над ним насмехаюсь. Потом сказал что-то насчет кино – он говорил очень тихо, почти что шепотом. Спросил, не видела ли я одного фильма. Название я забыла, но все равно я его не видела: я никогда особенно кино не увлекалась. Он сказал, что в этом фильме дело происходит в библейские времена, и там есть сцена, где человека сбрасывают с балкона прямо в толпу мужчин и женщин, и люди разрывают его на части. И он сказал, что когда он увидел толпу на площади, ему как раз представилась эта сцена. Человек, которого рвут на части. Он подумал,

что его могут так же точно растерзать. Сказал, что ему стало так страшно, что у него до сих пор живот болит, и поэтому он не может есть. Конечно, это все бредни, и я так ему и сказала – никто ему ничего не сделает, что бы он ни совершил, не такие здесь у нас люди.

Мы немного поговорили, поначалу он стеснялся, но потом сказал: «Что я действительно люблю, так это рис по-испански». Я ему обещала, что приготовлю это блюдо, и он чуть улыбнулся, так что я решила – что ж, это не самый плохой человек из тех, кого я видела в своей жизни. Когда мы с мужем в ту ночь легли спать, я так ему и сказала. Но Вендель только фыркнул. Он ведь был в числе тех, кто первым осматривал место преступления. Он сказал: жаль, что меня не было, когда обнаружили тела Клаттеров. Тогда бы я уже не судила о том, какой мистер Смит *нежный*. И дружок его Хикок. Он сказал: они бы вырезали тебе сердце и даже не поморщились. Я не смогла ничего возразить – как-никак четверо убитых. Я лежала с открытыми глазами, и все думала, волнуют ли сейчас еще кого-нибудь эти четыре могилы.

Прошел месяц, потом другой, и каждый день понемногу сыпал снег. Снег забелил пшенично-охрянную местность, завалил улицы города и приглушил звуки. Заснеженный вяз стучал своими верхними ветками прямо в окошко женской камеры. На дереве обитали белки, и после продолжительного прикармливания их остатками своего завтрака Перри заманил одну из них на карниз окна, а оттуда и за решетку, в камеру. Это был бельчонок с темно-рыжей шубкой. Перри назвал его Рыжиком, и вскоре Рыжик насовсем переселился в тюрьму, явно настроенный разделить заточение со своим другом. Перри научил его нескольким трюкам: играть с бумажным шариком, просить, взбираться на плечо. Это помогало скоротать время, но все равно оставалось много долгих часов, которые заключенный должен был как-то тратить. Читать газеты ему не позволяли, а журналы, которые давала миссис Майер, ему надоели: старые номера «Домашнего очага» и «Макколза». Но он находил себе занятие: подравнивал ногти пилкой, полировал их до шелковистого розового блеска; расчесывал и расчесывал надушенные, благоухающие волосы; чистил зубы по три-четыре раза на дню; почти с такой же частотой брился и принимал душ. И свою камеру, в которой был туалет, душевая кабинка, кровать, стул и стол, он содержал в такой же чистоте, как и самого себя. Он гордился комплиментом, который ему сделала миссис Майер: «Смотрите-ка! – воскликнула она, показав на его койку. – Посмотрите-ка на одеяло! Да оно так натянуто, что на нем монетка подскочит». Но большую часть времени

он, когда не спал, проводил за столом, за ним он принимал пищу, делал наброски портретов Рыжика, рисовал цветы, лицо Иисуса, лица и тела воображаемых женщин; и за этим столом, на дешевых листочках разноцветной бумаги, он записывал то, что с ним происходило.

Четверг, 7 января. Приходил Дьюи. Принес блок сигарет и копии записей моих показаний на подпись. Я не подписал.

«Показания» – документ, занимающий семьдесят восемь страниц, который он надиктовал стенографистке суда округа Финней, – заключали в себе признание. Дьюи, говоря о своем свидании с Перри Смитом в тот конкретный день, вспомнил, что очень удивился, когда Перри отказался подписывать показания:

– Это не имело большого значения: я бы просто засвидетельствовал в суде, что было сделано устное признание. И конечно, Хикок еще в Лас-Вегасе подписал признание, в котором обвинял Смита в совершении всех четырех убийств. Но мне было любопытно. Я спросил Перри, почему он передумал. И он сказал: «В моих показаниях все верно, за исключением двух деталей. Если вы мне позволите исправить эти два пункта, я подпишу». Я догадывался, о каких пунктах идет речь, поскольку единственное серьезное расхождение между его историей и историей Хикока заключалось в том, что Перри отрицал, что убил Клаттеров один. Он до сих пор клялся, что Хикок убил Нэнси и ее мать.

– И я был прав! – он хотел сделать признание, что Хикок говорил правду и что он, Перри Смит, один стрелял и один убил всю семью. Он сказал, что лгал, чтобы «наказать Дика за его проклятую трусость. За то, что у него так легко развязался язык». Но показания он решил изменить не оттого, что внезапно почувствовал прилив любви к Хикоку. По словам Перри, он это сделал из уважения к родителям Дика – сказал, что ему жалко его мать: «Она действительно очень славная. Может быть, у нее станет немного легче на душе, если она узнает, что Дик не нажимал на спусковой крючок. Разумеется, если бы не он, ничего этого вообще бы не случилось, но факт остается фактом – убил их именно я». Но я не особенно поверил его словам. Во всяком случае, не настолько, чтобы разрешить ему изменить показания, ведь, как я уже сказал, мы и без подписи Смита могли доказать любой пункт этого дела. Нам хватало фактов на десять смертных приговоров.

В числе событий, способствовавших тому, что Дьюи стал больше доверять Смигу, было возвращение радиоприемника и бинокля, которые убийцы украли из дома Клаттеров и впоследствии продали в Мехико (где агент Канзасского бюро расследований Гарольд Най проследил вещи до

ломбарда). Кроме того, Смит, диктуя свои показания, назвал местонахождение другой важной улики.

– Мы вырулили на шоссе и двинули на восток, – сообщил он, описывая, что они с Хикоком делали, покинув место преступления. – Неслись так, словно за нами черти гнались, машину вел Дик. Я думаю, мы были как пьяные. Я-то уж точно. Веселились и в то же время чувствовали облегчение. Никак не могли перестать смеяться, ни я, ни он; ни с того ни с сего нам все это стало казаться очень забавным – не знаю почему, только это правда. Но ружье было забрызгано кровью, и моя одежда вся была в пятнах; даже в волосах у меня была кровь. Поэтому мы свернули на проселочную дорогу и проехали примерно миль восемь, пока не оказались посреди прерий. Слышно было, как где-то воют койоты. Мы курили одну сигарету на двоих, и Дик все шутил по поводу того, что с нами случилось. Я вышел из машины, слил из радиатора немного воды и отмыл ружье от крови. Потом я выкопал в земле ямку охотничьим ножом Дика, которым я перерезал горло мистеру Клаттеру, и закопал гильзы и весь оставшийся моток веревки и лейкопластыря. Потом мы выбрались на шоссе номер восемьдесят три и поехали на восток в сторону Канзас-Сити и Олата. Перед рассветом Дик остановился на поляне для пикника – в одном из тех мест, которые называются зонами отдыха и где стоят жаровни. Мы сложили костер и сожгли все оставшиеся улики: наши перчатки и мою рубашку. Дик сказал: эх, жалко, что мы не можем зажарить на костре быка; он зверски хотел жрать. В Олат мы добрались только к полудню. Дик высадил меня у гостиницы, а сам поехал домой на воскресный обед в кругу семьи. Да, нож он забрал с собой. И ружье тоже.

Агенты Бюро, обыскав дом Хикока, нашли в ящичке с рыболовными принадлежностями нож, а ружье стояло, небрежно прислоненное к стене в кухне. (Отец Хикока отказывался верить, что «его мальчик» замешан в таком «чудовищном преступлении», уверял, что ружье не покидало дома с начала ноября и, следовательно, не может быть орудием убийства.) Что касается пустых гильз, веревки и пластыря, то они были найдены с помощью Вирджила Питца, дорожного рабочего, который прочесал своим грейдером каждый дюйм в указанном Смитом районе и наконец обнаружил закопанные улики. Таким образом, у Бюро наконец сошлись концы с концами. Теперь в деле не осталось неясных мест, поскольку экспертиза установила, что гильзы были выпущены из ружья Хикока, а остатки шнура и пластыря были частью тех, с помощью которых преступники связали жертв и залепили им рты.

Понедельник, 11 января. Мне дали адвоката. Мистер Флеминг.

Старикан в красном галстуке.

Поскольку ответчики сообщили, что не имеют средств для того, чтобы нанять платного юриста, суд в лице судьи Роланда Х. Тэйта назначил защитниками двоих местных адвокатов, мистера Артура Флеминга и мистера Гаррисона Смита. Семидесятилетний Флеминг, в прошлом мэр Гарден-Сити, невысокий мужчина, который свою непримечательную внешность оживлял крайне броским галстуком, сопротивлялся назначению. «Я не желаю вести это дело, – сказал он судье. – Но если суд считает нужным назначить меня, то, само собой, у меня нет выбора». Защитник Хикока, сорокалетний Гаррисон Смит, шести футов ростом, любитель гольфа, ярый «Лось», принял назначение с покорной любезностью: «Кто-то же должен это делать. И я сделаю все, что смогу. Хотя сомневаюсь, что это поднимет мою популярность в этих краях».

Пятница, 15 января. Миссис Майер слушала на кухне радио, и я слышал, как кто-то говорил, что окружной прокурор будет требовать смертной казни. «Богатых никогда не вешают. Только бедных и одиноких».

Сделав свое заявление, прокурор округа Дуэйн Уэст, честолюбивый полный молодой человек двадцати восьми лет, который выглядел на сорок, а порой на все пятьдесят, сказал корреспондентам:

– Если дело будет рассматривать суд присяжных, то после вынесения вердикта я буду требовать от жюри приговорить преступников к смертной казни. Если ответчики откажутся от права на суд присяжных и будут просить о снисхождении судью, я буду требовать, чтобы судья приговорил их к смертной казни. Я знал, что мне придется решать этот вопрос, и поверьте, решение далось мне нелегко. Я считаю, что за жестокость преступления и явную безжалостность к жертвам ответчики должны быть преданы казни. Это единственный способ оградить от подобных преступников наше общество. Особенно важно это потому, что в Канзасе нет такого наказания, как пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения. Те, кого приговорили к пожизненному заключению, фактически отбывают наказание в среднем меньше пятнадцати лет.

Среда, 20 января. Просили пройти проверку на детекторе лжи в связи с делом Уокера.

Случаи, подобные делу Клаттеров, преступления такого масштаба пробуждают интерес представителей закона по всей стране. Особенно тех следователей, которые бьются над разгадкой похожих преступлений, потому что всегда существует вероятность, что решение одной загадки поможет решению другой. Среди тех, кого сильно заинтриговали события в

Гарден-Сити, был шериф округа Сарасота во Флориде, где находится городок Оспрей, рыбацкое поселение недалеко от Тампы, в котором спустя месяц после трагедии с Клаттерами произошло такое же убийство четверых человек на уединенном ранчо, о котором Смит прочел в газете на Рождество. Жертвами были члены одной семьи: молодая чета, мистер и миссис Клиффорд Уокер, и их дети, мальчик и девочка. Все они были убиты из винтовки выстрелом в голову. Так как убийцы Клаттеров провели ночь с 19 на 20 декабря, ночь убийства, в гостинице Таллахасси, шериф Оспрея, у которого не было ни единой зацепки, вполне резонно стремился допросить этих людей и произвести полиграфическую экспертизу. Хикок согласился на испытание, Смит тоже, но при этом он сказал канзасским властям: «Я еще тогда сказал Дикю: держу пари, это сделал какой-нибудь псих, который прочитал о том, что произошло в Канзасе». Результаты испытания, к огорчению оспрейского шерифа и Элвина Дьюи, не верившего в совпадения, были определенно отрицательные. Убийца Уокеров так и остался неизвестен.

Воскресенье, 31 января. Папаша Дика пришел навестить сына. Я с ним поздоровался, когда он шел мимо [дверей камеры], но он даже не посмотрел в мою сторону. Может быть, он просто не услышал. Из слов миссис М. [Майер] я понял, что миссис Х.[Хикок] не приехала, потому что плохо себя чувствует. Снега напало до чертовой матери. Вчера приснилось, что я на Аляске с папой, – проснулся в луже холодной мочи!!!

Мистер Хикок провел с сыном три часа. Потом он сквозь метель побрел на станцию – сгорбленный старик в рабочей одежде, исхудавший от рака, который уже через несколько месяцев должен был его доконать. В ожидании поезда он разговорился с репортером:

– Я повидался с Диком, вот как. Мы долго разговаривали. И я вам скажу точно – все было не так, как говорят или пишут в газете. Эти мальчики не собирались никого убивать. Мой, во всяком случае. Может, у него есть свои дурные стороны, но таким плохим он никогда не был. Это все Смитти. Дик мне сказал, что он даже не знал, когда Смитти напал на того человека [мистера Клаттера] и перерезал ему горло. Дика даже в комнате тогда не было. Он вбежал туда, когда услышал шум борьбы. У Дика в руках было ружье, и вот что он мне рассказал: «Смитти взял у меня ружье и просто прострелял тому человеку голову». И еще сказал: «Папа, я должен был отнять у Смитти ружье и застрелить его. Убить, пока он не ухлопал всех остальных. Если бы я это сделал, сейчас я был бы в лучшем положении». Наверное, в лучшем. А теперь, по всему виду, нет у него никакого шанса. Повесят их обоих. – Глаза его от усталости и

безнадежности казались остекленевшими. – Нет ничего хуже, чем знать, что твоего мальчика повесят.

Ни отец, ни сестра Перри Смита не написали ему и не приехали его повидать. Текс Джон Смит, очевидно, искал золото где-то на Аляске – и хотя представители закона прилагали все усилия, чтобы его найти, им это не удалось. Сестра сказала следователям, что боится своего брата, и попросила их не давать ему ее нынешний адрес. (Когда Смиту сообщили об этом, он слегка улыбнулся и сказал: «Жаль, что в ту ночь ее не было в этом доме. Какая была бы чудная встреча!»)

Кроме бельчонка, кроме Майеров и, временами, адвоката, мистера Флеминга, Перри никого не видел. Он тосковал по Дикю. *Много думаю о Дике*, написал он как-то раз в дневнике. С тех пор, как их арестовали, им не позволяли общаться, и, не считая свободы, самой заветной мечтой Перри было поговорить с Диком, снова быть с ним рядом. Дик был совсем не таким «кремнем», каким когда-то представлялся Перри, совсем не таким «практичным», «зрелым», «стальным»; он показал себя «слабым и мелким», «трусливым». Однако в тот момент во всем мире у Перри не было человека ближе него, ибо они по крайней мере были одной породы, братья из племени Каинова; в разлуке с Диком Перри был «совсем один. Словно прокаженный, с которым стал бы общаться только полный идиот».

Но как-то утром в середине февраля Перри получил письмо. На нем стоял штемпель Ридинга, штат Массачусетс. Вот что было в письме:

«Дорогой Перри, с грустью узнал о том, в какую беду ты попал, и решил написать тебе и сказать, что я тебя помню и хочу помочь всем, чем сумею. На случай, если имя Дон Калливен ты уже успел забыть, я прилагаю фотокарточку приблизительного времени, когда мы с тобой познакомились. Когда я впервые прочел о тебе в газете, я был поражен, а потом стал вспоминать те дни, когда мы были знакомы.

Хотя мы с тобой никогда не дружили близко, я помню тебя намного отчетливее, чем большинство ребят, с которыми служил в армии. Кажется, это было осенью 1951 года. Тебя назначили механиком легкой техники в 761-ю роту в Форт-Льюисе, Вашингтон. Ты был маленького роста (я не намного выше), крепко сбитый, смуглый и черноволосый, и слица у тебя не сходила усмешка. Ты приехал с Аляски, и многие ребята тебя называли Эскимосом. Одно из первых воспоминаний о тебе у меня связано сосмотром роты, когда все должны были открыть свои сундучки. Помню, все сундучки были в порядке, твой тоже, только у твоего сундучка вся крышка изнутри была оклеена картинками с девочками. Все говорили,

что тебя ждут неприятности. Но проверяющий сделал вид, что ничего не видит, и тебе ничего не было, и тогда я подумал, что тебя все считают нервным парнем, не хотят связываться. Я помню, что ты довольно неплохо играл в пул, и отчетливо представляю себе, как ты стоишь за бильярдным столом в нашей дневной комнате. Ты был чуть ли не лучшим водителем в отряде. Помнишь армейские полевые задания? Один раз, это было зимой, нас всех для выполнения задания распределили по грузовикам. На наших машинах печек не было, и в кабине стоял зверский холод. Я помню, как ты вырезал в настиле своего грузовика дыру, чтобы в кабину шло тепло от двигателя. Я потому так хорошо запомнил, что это на меня произвело сильное впечатление. Ведь „порча“ армейского имущества считается преступлением, и за него тебя могли строго наказать. Конечно, в армии я был еще совсем зеленый, небось боялся нарушить устав даже самую малость, но помню, как ты усмехался (сидя в тепле), а я переживал (и мерз). Я помню, ты купил мотоцикл, и какие-то у тебя были из-за него неприятности – то ли полиция за тобой гналась, то ли поломка какая-то произошла. Не помню уж что, но именно тогда я в первый раз почувствовал, что в тебе есть что-то бешеное. Может быть, я не все правильно помню: было-то это больше восьми лет назад и знакомы мы были всего восемь месяцев. Но насколько я помню, мы с тобой были в хороших отношениях и ты мне очень нравился. Ты всегда казался веселым и держим, хорошо знал свое дело, и я не могу вспомнить, чтобы ты когда-нибудь скулил или брюзжал. Конечно, видно было, что ты бешеный, но это особенно не проявлялось. Теперь ты серьезно влип. Я пытаюсь представить себе, каким ты стал. О чем ты думаешь. Когда я прочитал о тебе в первый раз, я был просто ошарашен. Честное слово. Но потом отложил газету и занялся какими-то своими делами. Однако я никак не мог выбросить из головы мысли о тебе. Мне недостаточно было просто тебя забыть. Я человек религиозный (или пытаюсь им быть). Католик. Я не всегда был таким. Долгое время я плыл по течению и не слишком задумывался над тем, что действительно важно. Я никогда не думал о смерти и о том, что за ней тоже может быть жизнь. Слишком многое меня привязывало к жизни: машина, колледж, свидания и т. д. Но у меня умер братишка от лейкемии, ему было всего семнадцать лет. Он знал, что скоро умрет, и после того, как это случилось, я часто спрашивал себя, о чем он думал. И сейчас я думаю о тебе и задаю себе вопрос, о чем ты думаешь. Я не знал, что говорить брату в последние недели перед смертью. Но я знаю, чтобы я сказал теперь. И поэтому я тебе пишу: потому что Бог создал тебя так же, как меня, и Он любит тебя так же, как Он любит

меня, и то, что случилось с тобой, могло случиться со мной, ибо никто не знает Его воли.

Твой друг Дон Калливен».

Имя ему ничего не говорило, но Перри сразу узнал лицо на фотографии: молодой солдат со стриженными ежиком волосами и круглыми очень серьезными глазами. Он перечитал письмо много раз; хотя религиозные мотивы ему показались неубедительными («я пытался поверить, но у меня не получается, я не могу, и притворяться бесполезно»), письмо его взволновало. Появился человек, который предлагает ему свою помощь, нормальный и добропорядочный человек, который его когда-то знал и любил, человек, который подписался словом «друг». Исполненный благодарности, он поспешил начать ответ: *«Дорогой Дон. Черт, еще бы мне непомнить Дона Калливена...»*

В камере Хикока окон не было; ему приходилось смотреть на широкий коридор и двери других камер. Но Дик не был изолирован, ему было с кем поговорить – обширная аудитория алкоголиков, мошенников, истязателей жен и мексиканских бродяг; и беззаботный «аферистский» жаргон Дика, его скабрзные анекдоты и сальные шуточки пришлись по душе его сокамерникам (хотя один все равно не желал иметь с ним дела – старик, который шипел на Дика: «Убийца! Убийца!», а однажды окатил его грязной водой из ведра).

При поверхностном знакомстве Хикок всем без исключения казался на удивление спокойным молодым человеком. Когда он не общался ни с кем и не спал, он лежал на койке с сигаретой или жевательной резинкой и читал журналы о спорте или дешевые ужастики. А часто просто валялся и насвистывал старые шлягеры («Должно быть, ты была красивой крошкой», «Тащусь я в Баффало»), глядя на лампочку без плафона, которая день и ночь горела под потолком. Он ненавидел монотонное созерцание лампочки; она мешала ему спать и, что гораздо важнее, ставила под угрозу срыва его прожект – бегство. Ибо заключенный был далеко не таким беззаботным, каким казался: он был готов на любой шаг, лишь бы «не качаться на Больших Качелях». Не сомневаясь в том, что именно таким будет исход суда, во всяком случае если заседания будут происходить в Канзасе, – он решил «сбежать, стырить тачку и поднять пылицу». Но прежде ему нужно было разжиться оружием; и в течение нескольких недель он делал «заточку» – инструмент, очень напоминающий нож для колки льда, – которая прекрасно могла бы вписаться в промежуток между лопатками заместителя шерифа. Детали оружия: кусок дерева и обрезок жесткой

проволоки – когда-то были частью туалетного ершика, который он прибрал, разломал и спрятал под матрасом. Поздно ночью, когда тишину нарушали лишь храп и кашель да жалобные протяжные гудки поезда, грохочущего по магистрали через темный город, он затачивал проволоку о цементный пол камеры. И за работой обдумывал план побега.

Однажды, в первую зиму после того, как он закончил среднюю школу, Хикок проехал автостопом через Канзас и Колорадо:

– Я тогда искал работу. Ну, значит, еду я на грузовике, и из-за чего-то мы с водителем повздорили, из-за ерунды какой-то, и он мне врезал, а потом вытолкнул из кабины. Просто оставил на дороге. Черт-те где в Скалистых горах. Шел мокрый снег, я тащился пешком, из носа у меня текла кровяшка, словно пятнадцать свиной зарезали. И вот добрался я до кучки домишек на лесистом склоне. Летние домики, все пустые, все заперты – не сезон. И я вломился в один из них. Там были дрова и всякие консервы, даже виски нашлось. Я залег там на недельку, и это было чуть ли не лучшее время в моей жизни. Хоть и нос у меня болел, и под глазами желтые с зеленым фонари. А когда снег прекратился, вышло солнце. Вы такого неба никогда не видели. Как в Мексике. Если бы в Мексике был климат похолоднее. Я пошарил в других домишках и нашел несколько копченых окороков, радиоприемник и винтовку. Вот это был класс! Целый день бродишь с винтовкой по лесу. Солнце в лицо. Черт, как мне было клево. Я чувствовал себя Тарзаном. И каждый вечер я ел бобы, жарил окорок, заворачивался в одеяло и засыпал у огня под музыку по радио. Никто туда не забредал. Держу пари, я мог бы там жить до самой весны.

Если бы побег удался, Дик отправился бы в горы Колорадо и нашел там домик, где можно было бы скрыться до весны (одному, конечно; будущее Перри его не волновало). Перспектива столь идиллического пристанища и вдохновенная хитрость, с которой он точил свою проволоку, довели его оружие до остроты и гибкости стилета.

Четверг, 10 марта. Шериф устроил шмон. Перерыли все камеры и нашли под матрасом у Д. заточку. Интересно, что у него было на уме (ха-ха).

Вообще-то Перри считал, что ничего смешного тут нет, поскольку Дик одним взмахом своего опасного оружия мог сыграть решающую роль в планах самого Перри. За это время он хорошо узнал жизнь на площади у здания суда, ее обитателей и их повадки. Взять, к примеру, котов: двух тощих серых котят, которые каждый день в сумерках появлялись на площади и обходили ее, останавливаясь возле припаркованных автомобилей, – такое их поведение ставило Перри в тупик, пока миссис

Майер ему не объяснила, что коты ищут мертвых птиц, попавших в решетки машин. После этого наблюдать за ними ему было больно: «Большую часть своей жизни я занимался тем же, чем они. Один к одному».

И был еще человек, которого Перри особенно хорошо изучил: здоровый, прямо держащий спину джентльмен с серебристыми сединами, напоминающими формой тубетейку; его полное лицо с твердым подбородком в состоянии покоя имело несколько сварливое выражение, уголки губ опускались вниз, глаза затуманивались, словно от безотрадных грез, – зрелище беспощадной суровости. И все же, по крайней мере отчасти, это было неверное впечатление, потому что то и дело заключенный видел в окошко, как он останавливается, чтобы поговорить с людьми, пошутить с ними, посмеяться, и тогда он казался беззаботным, веселым, щедрым: «человек, который повидал людей» – важная характеристика, ибо этим человеком был Роланд Х. Тэйт, судья 32-го судебного округа, юрист, который должен был председательствовать на судебном процессе «Штат Канзас против Смита и Хикока». Тэйт, как вскоре узнал Перри, была давно известная и грозная фамилия в западном Канзасе. Судья был богат, он разводил лошадей, владел большим участком земли, и считалось, что жена у него просто красавица. Он был отцом двух сыновей, но младший умер, и эта трагедия сильно повлияла на родителей и заставила их усыновить маленького бездомного мальчика. Перри как-то раз сказал миссис Майер: «Мне он кажется человеком добрым. Может быть, он даст нам шанс».

Но на самом деле Перри в это не верил; он верил в то, о чем написал Дону Калливену, с которым переписывался теперь регулярно: его преступление «непростительно», и он не сомневается, что ему придется «подняться на все тринадцать ступенек». Однако он не окончательно утратил надежду, поскольку тоже замыслил побег. Замысел его родился благодаря двоим молодым людям, которые часто за ним наблюдали. Один был рыжий, другой шатен. Иногда, встав на площади под деревом, которое касалось окна камеры, они улыбались и подавали ему знаки – во всяком случае, так ему казалось. Они ничего не говорили и всегда, постояв минуту, отходили подальше. Но заключенный убедил самого себя в том, что молодые люди, вероятно, жаждая приключений, хотят помочь ему бежать. Исходя из этого он начертил карту площади, указав точки, в которых лучше всего поставить машину. Внизу, под рисунком, он написал: «Мне нужна пятидюймовая ножовка. Больше ничего. Но понимаете ли вы, что вас ждет, если вы попадетесь (если да, то кивните)? Это может стоить вам

длительного тюремного заключения. А вдруг вас убьют при задержании? И все ради человека, которого вы не знаете. ОБДУМАЙТЕ ВСЕ ХОРОШЕНЬКО! Серьезно! Кроме того, как я узнаю, что вам можно доверять? Как я узнаю, что это не ловушка и что вы не хотите меня выманить и застрелить? Как быть с Хикоком? Он тоже должен быть освобожден».

Перри хранил этот документ на столе свернутым в тугую трубочку и собирался выбросить его из окна, когда молодые люди появятся в следующий раз. Но следующего раза не было; больше он их никогда не видел. Дошло до того, что он подумал, не привиделись ли они ему (мысль о том, что он, должно быть, «сумасшедший, во всяком случае ненормальный», беспокоила его еще с тех пор, когда он был маленьким, и сестры смеялись над ним, потому что он «любил лунный свет. Прятался в тени и смотрел на луну»). Так и не разобравшись, фантомы то были или нет, он перестал думать о молодых людях. В его мыслях возник другой способ побега – самоубийство; и несмотря на предосторожности тюремщика (никаких зеркал, никаких ремней, галстуков и даже шнурков), он придумал способ покончить с собой. Поскольку у него тоже была под потолком вечно горящая лампочка и у него в камере, в отличие от камеры Хикока, была швабра, то, прижав щетку к лампочке, он мог ее вывинтить. Однажды ночью ему снилось, что он выкрутил лампочку, разбил ее и осколком стекла перерезал себе вены на запястьях и лодыжках. «Я чувствовал, как дыхание и свет меня покидают, говорил он, описывая впоследствии свои ощущения. – Стены камеры рухнули, небо опустилось, и я увидел большую желтую птицу».

Через всю его жизнь – нищее, несчастное детство, вольную юность, тюремную молодость – желтая птица, огромный попугай парил во снах Перри ангелом-мстителем, который терзал его врагов или, как теперь, спасал Перри в минуты смертельной опасности: «Он поднял меня, как будто я не тяжелее мыши, мы взлетели, и я видел под собой площадь, по которой с криками бегают люди, шериф стреляет в нас, и все просто бесятся от злости, потому что я свободен, я лечу, я лучше любого из них».

Суд был намечен на 22 марта 1960 года. За недели, предшествовавшие этой дате, защитники часто консультировались с обвиняемыми. Обсуждалась возможность изменения места судебных заседаний, но, как предупредил своего подзащитного пожилой мистер Флеминг, «не имеет значения, где будет проходить суд, если это будет в Канзасе. У всех в штате настроение одинаковое. Возможно, в Гарден-Сити наше положение будет

даже выгоднее. Это религиозное сообщество. Одиннадцать тысяч населения и двадцать две церкви. И большинство священников настроены против высшей меры наказания, они говорят, что это безнравственно, не по-хри-сти-ан-ски; даже преподобный Коуэн, приходский священник Клаттеров и близкий друг семьи, проповедовал против смертной казни в вашем конкретном случае. Помните, все, на что мы можем надеяться, это что нам удастся спасти ваши жизни. Я думаю, здесь у нас шансы те же, что и везде».

Вскоре после предъявления Смиты и Хикоку обвинения в первоначальной формулировке их адвокаты предстали перед судьей Тэйтом, чтобы обсудить предложение о проведении всесторонней психиатрической экспертизы обвиняемых. В частности, они просили суд разрешить больнице штата в Ларнеде, психиатрическому учреждению, обеспечивающему максимальные меры безопасности, принять заключенных, чтобы установить, не является ли один из них либо оба «невменяемыми, слабоумными или идиотами, неспособными осознать свое положение и защищать себя в суде».

Ларнед находится в ста милях к востоку от Гарден-Сити; адвокат Хикока, Гаррисон Смит, сообщил суду, что он накануне побывал там и посоветовался кое с кем из персонала больницы: «В нашем городе нет квалифицированных психиатров. По сути дела, Ларнед – единственное место в радиусе двухсот двадцати пяти миль, где можно найти докторов, способных дать серьезное психиатрическое заключение. Это требует времени. От четырех до восьми недель. Но те, с кем я обсуждал этот вопрос, сказали, что они хотели бы немедленно приступить к работе; и конечно, поскольку это государственное учреждение, округу это не будет стоить ни цента».

Против этого плана выступал специальный помощник обвинителя Логан Грин, который, уверенный в том, что на суде защита будет строиться на тезисе о «временной невменяемости» убийц, боялся, что стоит принять это предложение, как на свидетельском месте появится «кучка мозговедов», настроенных сочувственно к обвиняемым («эти ребята вечно плачут над каждым убийцей. Никогда о жертвах не подумают»). Маленький, задиристый, кентуккец по происхождению, Грин начал с того что напомнил суду: закон штата Канзас в отношении вменяемости твердо придерживается правила М'нотена, заимствованного из древней Британии, по которому, если обвиняемый знал, что он совершает, и знал, что это неправильно, тогда он вменяем и может нести ответственность за свои действия. Кроме того, сказал Грин, в законах штата Канзас нигде не сказано, что врачи,

которым поручено определить психическое состояние ответчика, должны иметь какую-то особую квалификацию: «Обыкновенные врачи. С дипломом. Это все, чего требует закон. В нашем округе каждый год проходят слушания суда о вменяемости лиц, оставивших завещание. Мы никогда не вызываем для этого специалистов из Ларнеда или других психиатрических учреждений. Наши собственные местные врачи способны справиться с этой задачей. Не такая уж большая работа – установить, является ли человек невменяемым, идиотом или слабоумным... Совершенно незачем тратить время на то, чтобы посылать ответчиков в Ларнед».

Со своей стороны, юрисконсульт Смит говорил, что данная ситуация «гораздо серьезнее, чем обычное слушание о вменяемости составителя завещания».

– Под угрозой две жизни. Какое бы преступление они ни совершили, эти люди имеют право на квалифицированную экспертизу. Психиатрия, – добавил он, напрямую обращаясь к судье, – за последние двадцать лет значительно продвинулась. Федеральные суды начинают прислушиваться к этой науке, когда дело касается преступников. Мне просто кажется, что у нас есть счастливая возможность взглянуть в лицо новым тенденциям в этой области.

Такую счастливую возможность судья предпочел упустить, поскольку, как однажды сказал о нем кто-то из коллег, «Тэйт – человек, которого можно назвать книжным юристом, он никогда не экспериментирует, а всегда строго следует букве закона»; но тот же самый критик сказал о нем еще и другое: «Если бы я был невиновен, то именно его хотел бы видеть своим судьей; если бы я был преступником – то кого угодно, только не его». Судья Тэйт не стал совсем отвергать выдвинутое предложение; напротив, он поступил в точном соответствии с законом, назначив комиссию из трех докторов Гарден-Сити, чтобы они вынесли заключение о психическом и умственном состоянии заключенных. (Трое медиков встретились с обвиняемыми и после часовой беседы с каждым из них объявили, что ни один из преступников не проявляет признаков душевной болезни. Когда диагноз был объявлен, Перри Смит сказал: «Откуда им знать? Они просто хотели развлечься. Услышать самые жуткие подробности из собственных уст убийцы. Да уж, глаза у них так и горели». Адвокат Хикока тоже был недоволен; он снова поехал в ларнедскую больницу, где попросил о бесплатной консультации психиатра, желающего поехать в Гарден-Сити и встретиться с ответчиками. Человек, который откликнулся на этот призыв, доктор У. Митчелл Джонс, был исключительно компетентен. Ему еще не

было тридцати, но он уже был опытным специалистом по криминальной психологии и психиатрии, работал и учился в Европе и Соединенных Штатах. Он согласился обследовать Смита и Хикока и, если результаты обследования будут в пользу защиты, выступить свидетелем.)

Утром 14 марта защитники снова встретились с судьей Тэйтом, на этот раз для того, чтобы просить отложить суд, который должен был состояться через восемь дней. Они выдвинули две причины: первая – что «самый важный свидетель», отец Хикока, в настоящее время слишком болен, чтобы выступать в суде. Вторая была не так проста. За последнюю неделю в витринах магазинов, в банках, ресторанах и на железнодорожной станции появились напечатанные типографским способом объявления, гласившие: «Аукцион имущества Г. У. Клаттера 21 марта 1960 года. На ферме Клаттеров». «Итак, – произнес Гаррисон Смит, обращаясь к судье, – я понимаю, доказать, что имеет место предубежденность, практически невозможно. Но этот аукцион, распродажа имущества жертв, состоится ровно через неделю – иными словами, как раз накануне первого заседания суда. Не смею утверждать, что это настроит присяжных против ответчиков, однако эти объявления вкупе с газетными объявлениями и объявлениями по радио будут постоянным напоминанием гражданам нашего сообщества, сто пятьдесят из которых были названы в качестве предполагаемых присяжных заседателей».

На судью Тэйта это не произвело впечатления. Он отклонил просьбу без комментариев.

Несколько раньше произошла распродажа собственности соседа Клаттера, японца Хидео Ашида, который переезжал в штат Небраска. Распродажа имущества Ашида, которая считалась удачной, привлекла около сотни покупателей. На аукцион имущества Клаттеров пришло чуть больше пяти тысяч человек. Жители Холкомба были готовы к наплыву гостей – Дамский кружок холкомбской церковной общины переоборудовал один из сараев Клаттера в кафетерий, куда были принесены две сотни пирогов домашнего изготовления, двести пятьдесят фунтов котлет и шестьдесят фунтов нарезанной ветчины, – но никто не ожидал, что соберется самая большая толпа покупателей в истории западного Канзаса. В Холкомб съехалась половина округа, не считая тех, кто прибыл из Оклахомы, Колорадо, Техаса и Небраски. Машины бампер к бамперу проезжали по дорожке, ведущей на ферму «Речная Долина».

В тот день публике впервые после убийства разрешили посетить ферму Клаттеров, и это обстоятельство объяснило присутствие примерно третьей части сборища – тех, кого привело любопытство. Конечно, погода

тоже способствовала притоку посетителей, потому что мартовские, позимнему глубокие сугробы сошли, обнажив землю, которая, окончательно оттаяв, превратилась в непролазную грязь; пока земля не просохнет, фермеру заняться нечем. «Такая сырая земля, просто кошмар, – сказала миссис Билл Рэмси, жена фермера. – Совершенно невозможно работать. Вот мы и подумали, а не съездить ли нам на распродажу». Вообще же день был чудесный. Весна. Хотя под ногами была грязь, солнце, так долго скрываемое снегом и облаками, казалось совсем свежим, а деревья – груши и яблони из сада мистера Клаттера, вязы, отбрасывающие тень на дорожку, – были полускрыты дымкой девственной зелени. Прекрасная лужайка перед домом Клаттеров тоже зазеленела, и любопытные женщины, которым не терпелось поближе рассмотреть необитаемый дом, прокрадывались по газону к окошкам и заглядывали внутрь, словно надеялись и в то же время боялись увидеть за миленькими занавесками в цветочек мрачные видения.

Аукционист выкрикивает похвалы своим лотам – тракторам, грузовикам, тачкам, сорокапятикилограммовым ящикам гвоздей, кувалдам и неизрасходованным доскам, ведрам для молока, чугунным клеймам, лошадям, подковам, всему, что необходимо на ранчо, от веревок, сбруи и мыла для овец до цинковых корыт, – тут были все шансы приобрести эти товары по привлекательным для большинства собравшихся ценам. Но претенденты не очень-то рвались поднимать руки – загрубевшие, натруженные руки – не решались расстаться с заработанным трудом и потом деньгами; и однако было продано все до последнего лота, кто-то пожелал даже приобрести связку ржавых ключей, а юный ковбой, щеголяющий бледно-желтыми сапогами, купил принадлежавший Кеньону Клаттеру «Фургон койота», старенький грузовик, на котором погибший мальчик когда-то гонялся за койотами в лунные ночи.

Рабочими сцены, которые выносили на подиум аукциониста не очень крупные предметы, выступали Пол Хелм, Вик Ирзик и Альфред Стоуклейн, старые и по-прежнему верные помощники покойного Герберта У. Клаттера. Эта работа на аукционе его имущества была их последней службой, ибо сегодня был последний день, когда они работали в «Речной Долине»; ферма была сдана в аренду оклахомскому скотоводу, и отныне жить и работать на ней будут чужие люди. Наблюдая за тем, как идет аукцион и земное достояние мистера Клаттера на глазах тает, Пол Хелм вспомнил похороны убитых и произнес: «Это все равно что второй раз их схоронить».

В последнюю очередь на торги были выставлены животные, главным

образом лошади, в том числе и Нэнсина любимица, большая, жирная Крошка, лучшие годы которой давно миновали. Был ранний вечер, уроки закончились, и когда объявляли первоначальную цену за Крошку, среди зрителей находилось несколько однокашников Нэнси; в их числе была и Сьюзен Кидвелл. Сью уже усыновила одного осиротевшего питомца Нэнси, кота, и жалела, что не может дать приют Крошке. Она любила старую лошадь и знала, как Нэнси ею дорожила. Девочки часто катались вдвоем на широкой спине Крошки, и жаркими летними вечерами она рысцой несла их через поля пшеницы к реке и прямо в воду. Кобыла шла вброд против течения, пока, как выразилась Сьюзен, они все втроем не становились «холодными, как рыбы». Но Сью негде было держать лошадь. «Я услышала цифру пятьдесят... Шестьдесят пять... Семьдесят...» – торговались вяло, никто особенно не рвался купить Крошку, и человек, который ее купил, фермер-меннонит, собиравшийся использовать ее для пахоты, заплатил всего семьдесят пять долларов. Когда он вывел кобылу из загона, Сью Кидвелл бросилась вперед; она подняла руку, словно собираясь помахать на прощание, но вместо этого прижала ладонь ко рту.

«Гарден-Сити телеграм» накануне суда напечатала на первой полосе такую статью: «Может быть, у кого-то возникло впечатление, что глаза всей страны обращены к Гарден-Сити и сенсационному суду над убийцами. Но это не так. Даже в сотне миль к западу отсюда, в Колорадо, очень немногие знают об этом деле – слышали только, что была убита какая-то известная семья. Таков грустный комментарий к ситуации с преступностью в нашей стране. После того, как осенью были убиты четыре члена семьи Клаттеров, в разных частях страны произошло несколько других подобных массовых убийств. Только за последние несколько дней в газетные заголовки попали по крайней мере три массовых убийства. И что же в результате? Это преступление и суд – всего лишь одно из многих событий, о которых можно прочесть и забыть...»

Хотя глаза всей страны и не были обращены к Гарден-Сити, поведение главных участников заседания, от регистратора суда до самого судьи, было явно рассчитано на публику. Как обвинители, так и защитники блистали новыми костюмами; новые ботинки большеногого окружного прокурора скрипели и визжали при каждом шаге. Хикок тоже был одет продуманно. Родители передали ему нарядные синие шерстяные брюки, белую рубашку и узкий темно-синий галстук. Только Перри Смит, не имеющий ни пиджака, ни галстука, выбивался из этого ряда хорошо одетых мужчин. В расстегнутой рубашке (которую ему одолжил мистер Майер) и голубых

джинсах, подвернутых снизу, он казался таким же одиноким и неуместным в этом зале, как чайка в пшеничном поле.

Стены зала суда, скромно обставленного помещения на третьем этаже здания суда округа Финней, выкрашены в скучный белый цвет. Деревянная мебель покрыта темным лаком. Зал рассчитан на сто шестьдесят человек. В вторник утром, 22 марта, все места были заняты исключительно мужчинами, пришедшими по вызову в суд в качестве присяжных, жителями округа Финней, из которых должно было быть сформировано жюри. Мало кто из вызванных стремился послужить закону (один потенциальный присяжный заседатель в беседе с другим сказал: «Меня нельзя назначать в присяжные. Я плохо слышу»). На что его друг, хитро поразмыслив над этими словами, ответил: «Если вдуматься, и у меня слух не лучше»), и все думали, что избрание жюри займет несколько дней. Но оказалось, что этот процесс занял всего четыре часа; более того, жюри, включая двоих дополнительных членов, было выбрано из первых пятидесяти четырех кандидатов. Семерых отклонила защита, и троих отвели по просьбе обвинения; остальные двадцать удостоились отвода благодаря тому, что выступали против высшей меры наказания либо своим признаниям в том, что уже выработали твердое мнение относительно виновности ответчиков.

В числе тех четырнадцати человек, которых в конечном итоге выбрали присяжными, было полдюжины фермеров, один фармацевт, один лесничий, один служащий аэропорта, один бурильщик, два продавца, один машинист и один управляющий из «Кегельбана Рэя». Все они были люди семейные (у нескольких из них было пять, а то и больше детей) и примерные прихожане своей церкви. Во время предварительной проверки четверо из них сказали суду, что они были лично, хотя и поверхностно, знакомы с мистером Клаттером; но при дальнейших расспросах все заявили, что это обстоятельство не помешает им вынести беспристрастный приговор. Служащий аэропорта, мужчина средних лет по имени Н. Л. Даннан, когда его спросили, как он относится к высшей мере наказания, ответил: «Обычно я против этого. Но не в данном случае», – что кое-кому из присутствовавших показалось явным признаком предубежденности. Тем не менее Даннан был выбран в присяжные заседатели.

Ответчики не следили за ходом предварительной проверки. Накануне доктор Джонс, психиатр, который вызвался их обследовать, беседовал с каждым из них около двух часов. Под конец он предложил им написать для него автобиографическую справку, и, пока выбирали жюри, обвиняемые корпели над своими биографиями. Сидя на противоположных концах стола

своих адвокатов, они писали – Хикок ручкой, а Смит карандашом.

Смит написал:

«Я, Перри Эдвард Смит, родился 27 октября 1928 года в городе Хантингтоне, округ Элко, штат Невада, который расположен в самом что ни на есть захолустье. Я вспоминаю, что в 1929 году наша семья уехала в Джуно, штат Аляска. У меня был брат, Текс-младший (позднее он изменил имя на Джеймс, потому что „Текс" смешно звучит, и еще, как я полагаю, из-за того, что в детстве он ненавидел отца – матушка постаралась). У меня была сестра Ферн (она потом тоже изменила имя – на Джой) и сестра Барбара. И я... В Джуно мой отец занимался контрабандой спиртного. Я полагаю, что именно в тот период моя мать узнала, что такое алкоголь. Мама с папой начали ругаться. Я помню, моя мать „развлекала" каких-то моряков, пока отца не было дома. Когда он пришел домой, началась драка, и мой отец, после жестокой драки, вышвырнул моряков из дома и стал бить мать. Я ужасно перепугался, точнее, мы все, дети, были испуганы. Крики. Я испугался, потому что думал, что отец меня тоже побьет, как мать. На самом деле я не понимал, за что он ее бьет, но чувствовал, что она сделала что-то очень нехорошее.» Следующее смутное воспоминание – мы живем в Форт-Брагге, Калифорния, моему брату подарили пневматическое ружье, которое стреляет шариками. Он стрелял в колибри, и когда попал, ему самому же стало жалко. Я попросил, чтобы он дал мне тоже пальнуть из ружья. Он оттолкнул меня, сказав, что я еще маленький. Это до того меня разозлило, что я разревелся. Когда я перестал плакать, мною снова овладел гнев, и в тот же вечер, когда ружье стояло позади стула, на котором сидел мой брат, я его схватил, поднес к уху брата и завопил „Ба-бах!". Отец (или это была мать) выдрал меня и заставил просить прощения. Мой брат повадился стрелять в большую белую лошадь, на которой наш сосед проезжал мимо, когда направлялся в город. Сосед поймал брата и меня в кустах и отвел к папе, а он нас отшлепал и забрал у брата ружье. И я был рад, что у него отняли ружье!.. Больше я почти ничего не помню из жизни в Форт-Брагге (ах да! Мы любили прыгать с крыши сеновала на стог сена с зонтиком в руках)...

Мое следующее воспоминание – через несколько лет, мы жили в Калифорнии. Или в Неваде? Я вспоминаю скандальный эпизод про мою мать и негра. Мы, дети, летом спали на веранде, одна из наших кроватей стояла прямо под окном родительской спальни. Мы все заглядывали через неплотно задернутые занавески и видели, что там происходит. Папа нанял негра (Сэма) для всяких хозяйственных работ на нашей ферме или ранчо, а сам работал где-то на шоссе. Он поздно возвращался домой на грузовике

модели А. Я не могу вспомнить цепь событий, но полагаю, что папа знал или подозревал о том, что происходит дома. Кончилось тем, что родители разошлись, и мама увезла нас в Сан-Франциско. Она убежала на отцовском грузовике, прихватив все сувениры, которые он привез с Аляски. Кажется, это было в 1935 (?) году... Во Фриско я то и дело попадал в какую-нибудь историю. Я начал водиться с шайкой, где все были меня старше. Моя мать вечно была пьяна, никогда не могла нормально о нас позаботиться. Я бегал по улицам, дикий и свободный, как койот. Я не знал никаких правил, никакой дисциплины, и никто не говорил мне, что правильно, а что нет. Я приходил и уходил когда вздумается – до тех пор, пока меня не арестовали в первый раз. Я много раз попадал в арестные дома за побег из дома и кражи. Помню одно такое место, где меня держали некоторое время. У меня были слабые почки, и я каждую ночь писался в постель. Меня это очень оскорбляло, но я ничего не мог поделать. Директорша дома меня жестоко избивала, обзывала и позорила перед всеми мальчиками. Она могла прийти в любой час ночи, чтобы проверить, не обмочил ли я постель. Она срывала с меня одеяло и яростно хлестала большим черным кожаным ремнем – вытаскивала из кровати за волосы, тянула в ванную, бросала в ванну, открывала холодную воду и велела мне мыться и стирать простыни. Каждая ночь превращалась в кошмар. Потом она придумала, что будет очень забавно мазать мне член какой-то мазью. Это было почти невыносимо. Жгло просто жуть как. Позже ее сняли с работы. Но мое мнение о ней от этого не изменилось, и не исчезло желание добраться до нее и всех, кто надо мной насмеялся».

Далее, ввиду того, что доктор Джонс просил его сдать бумагу непременно в этот день, Смит перескакивал вперед, в годы ранней юности, к тому времени, когда они с отцом жили вместе, скитались вдвоем по всему Западу и Дальнему Западу, искали золото, ставили ловушки на зверя, выполняли случайную работу:

«Я любил отца, но бывали времена, когда эта любовь и привязанность уходила из моего сердца, словно талая вода. Всякий раз, когда он не хотел вникать в мои проблемы. Уделить мне немного внимания и не отказывать в праве голоса. Позволить самому за себя отвечать. Я должен был от него уйти. Когда мне было шестнадцать, я пошел в торговый флот. В 1948 году я пошел в армию – вербовщик дал мне шанс и зависил показатели моих тестов. С этого времени я начал понимать важность образования. Это единственное, что добавилось к ненависти и горечи, которые наполняли мою душу. Я начал затевать драки. Я сбросил японского полицейского с моста в воду. Я попал под трибунал за то, что разгромил японскую

кафешку. Я второй раз попал под трибунал в Киото за угон японского такси. В армии я пробыл почти четыре года. Много раз за то время, что я служил в Корее и Японии, у меня случались сильные вспышки гнева. Я был в Корее 15 месяцев, потом был отправлен назад в Штаты – и был торжественно встречен как первый ветеран корейской войны, вернувшийся на Аляску. В газете была большая статья с фотографией, мне оплатили перелет на Аляску, все дела... Армейскую службу я закончил в Форт-Льюисе, Вашингтон».

Карандаш Смита, разогнавшийся до того, что разобрать почерк почти невозможно, спешит записать события более близких времен: авария, в которой он пострадал, кража в Филипсбурге, штат Канзас, за которую он получил десять лет своего первого тюремного срока:

«...Я был приговорен к сроку от пяти до десяти лет за крупную кражу и побег из тюрьмы. Я чувствовал, что со мной обошлись очень несправедливо. За то время, что я сидел в тюрьме, я сильно ожесточился. Когда меня выпустили, я должен был отправиться на Аляску к отцу, но я туда не поехал; работал в Неваде и Айдахо; перебрался в Лас-Вегас, а потом поехал в Канзас, где все это и случилось. Все, больше времени нет».

Он подписался и добавил постскрипту:

«Хотел бы снова с вами побеседовать. Я еще не сказал многого, что могло бы вас заинтересовать. Мне всегда было чрезвычайно приятно встретить людей, у которых есть цель и сознание того, что они призваны ее достичь. Мне представляется, что вы именно такой человек».

Хикок писал далеко не так торопливо и напряженно, как его подельник. Он часто прерывался, чтобы послушать предполагаемого присяжного заседателя или посмотреть на лица собравшихся в зале – особенно и с явным неудовольствием на волевое лицо окружного прокурора, Дуэйна Уэста, который был его ровесником, тоже двадцати восьми лет. Но автобиография Дика, написанная стилизованным почерком, напоминающим косой дождь, была закончена прежде, чем суд объявил о переносе слушания дела на следующий день:

«Я постараюсь рассказать вам о себе все, что смогу, хотя большую часть раннего детства, до того как мне исполнилось десять лет, помню очень смутно. Мои школьные годы прошли в общем-то так же, как и у большинства моих сверстников. Были и драки, и девчонки, и другие вещи, которые бывают в жизни подростков. Дома у меня тоже все шло нормально, но, как я вам уже говорил, мне никогда не разрешали выходить за пределы двора и навещать подружек. Мой отец всегда был с нами строг [он имел в виду себя и брата] по этой части. К тому же я должен был помогать папе по

хозяйству... Я помню только один случай, когда мои родители поспорили, не знаю, правда, из-за чего... Папа как-то раз купил мне велосипед, и я, наверное, был самым гордым мальчиком во всем городе. Это был девчачий велосипед, но отец его переделал на мужской. Он покрасил его, и велик стал как новенький. Но игрушек у меня в детстве было много, если учесть, как мы жили. Мы всегда были, так сказать, полубедняками. Никогда не скатывались в нищету, но несколько раз оказывались на грани. Мой папа много трудился и старался нас обеспечить. Мать тоже всегда была трудолюбивой. В доме у нее были чистота и порядок, у нас была чистая одежда. Я помню, что папа носил старомодные плоские кепки и меня заставлял их носить, а мне они не нравились... В школе я хорошо успевал, лучше многих, особенно в первые годы. Но потом понемногу стал хуже учиться. У меня была подружка. Она была хорошая девочка, и я никогда ее не трогал никак, только целовал. Это по правде было чистое ухаживание... В школе я участвовал во всех спортивных соревнованиях и получил девять почетных грамот. За баскетбол, футбол, легкую атлетику и бейсбол. Лучше всего было в старших классах. До того у меня не было постоянной девочки, я только тренировался. А тогда у меня как раз возникли первые отношения с девочкой. Конечно, я говорил парням, что у меня было много девчонок... Я получил предложения поступить в два колледжа, но так ни в один из них и не поехал. Закончив школу, я пошел работать на железнодорожную магистраль Санта-Фе и проработал там до следующей зимы, когда меня уволили. Следующей весной я получил работу в компании „Роарк моторс“. Я проработал там примерно четыре месяца, а потом попал в аварию на служебной машине. Несколько дней я пролежал в больнице с черепно-мозговой травмой. В таком состоянии я не мог найти другую работу, так что до конца зимы был безработным. Тем временем я повстречал девушку и влюбился. Ее отец был баптистским проповедником и злился на меня за то, что я к ней подъезжаю. В июле мы поженились. Когда ее папаша узнал, что она беременна, начался просто ад кромешный. Так он мне ни разу доброго слова не сказал, хоть мы и породнились, и я с ним все время был в контрах. После того, как мы с Кэрл поженились, я работал на автостанции возле Канзас-Сити. Я работал с восьми вечера до восьми утра. Иногда моя жена оставалась со мной на всю ночь – она боялась, что я захочу спать, и приезжала меня подменить. Потом я получил предложение поработать на Перри Понтиака и с удовольствием его принял. Там было очень неплохо, хотя получал я не так уж много – 75 долларов в неделю. Я подружился с другими механиками, и мой начальник относился ко мне хорошо. Я проработал там пять лет... Тогда-то и начались кое-какие гадости».

Здесь Хикок признался в своих педофилических наклонностях и, после описания нескольких типичных случаев, написал:

«Я знаю, что это неправильно. Но в то же время я никогда не задумывался над тем, правильно это или нет. И с воровством то же самое. Это вроде как толчок. Я еще никому не рассказывал об одной детали в деле Клаттеров. Еще до того, как я туда поехал, я знал, что там будет девочка. Я думаю, что главная причина, по которой я туда отправился, была не в том, что я хотел их ограбить, а в том, что хотел изнасиловать девочку. Потому что я много об этом думал. И поэтому я не хотел уходить, даже когда понял, что никакого сейфа нет. Я подъезжал к девочке, когда мы там были, но Перри не дал мне возможности. Я надеюсь, что этого никто, кроме вас, не узнает, потому что я об этом не рассказывал даже своему адвокату. Есть еще кое-что, о чем я хотел бы вам рассказать, но боюсь, что мои об этом узнают. Потому что их (этих вещей, которые я делал) я стыжусь больше, чем повешения... Я был болен. Наверное, это из-за автомобильной аварии, в которую я попал. Со мной случались обмороки, а иногда бывали кровотечения из носа и левого уха. Как-то раз это произошло в доме одних знакомых по фамилии Крайст – они живут по соседству с моими родителями. Не так давно у меня из головы вынули осколок стекла. Он вышел у меня из уголка глаза. Папа помог мне его вытащить... Я думаю, что должен рассказать вам о том, что привело к моему разводу, и о том, почему я попал в тюрьму. Это началось в 1957 году. Мы с женой жили в Канзас-Сити. Я оставил работу в автомобильной компании и открыл свой частный гараж. Я арендовал его у женщины, у которой была невестка по имени Маргарет. Как-то раз я встретил эту девушку на работе, и мы пошли выпить кофейку. Муж у нее был далеко, служил в морском корпусе. Короче говоря, я начал с нею гулять. Моя жена подала на развод. Я подумал, что на самом деле никогда не любил жену. Потому что если бы я ее любил, я бы так себя не вел. Поэтому я против развода не возражал. Я начал пить и почти месяц не просыхал. Гараж я, запустил, тратил больше, чем зарабатывал, стал выписывать фальшивые чеки и в конце концов стал вором. За кражу-то меня и посадили... Адвокат мне сказал, что я должен быть с вами откровенным, потому что вы можете мне помочь. А, как вы знаете, помощь мне необходима».

На следующий день, в среду, начался собственно суд; впервые в зал были допущены обычные зрители, и оказалось, что мест не хватает, чтобы вместить хоть малую часть тех, кто торчал под дверью. Лучшие места были зарезервированы для двадцати представителей прессы и для таких персон,

как родители Хикока и Дональд Калливен (который по просьбе адвоката Перри приехал из Массачусетса, чтобы выступить свидетелем о моральном облике подсудимого Смита в качестве бывшего армейского друга). Ходили слухи, что на суде будут присутствовать две оставшихся в живых дочери Клаттера; но они не появились, и вообще ни на одном заседании их не было. Семью представлял младший брат мистера Клаттера, Артур, который приехал ради этого за сто миль. Корреспондентам он сказал: «Я только хочу посмотреть на них хорошенько, хочу понять, что же это за скоты. Так бы и разорвал их на кусочки». Он сел прямо за спиной у подсудимых и уставился на них таким пристальным взглядом, как будто хотел написать их портреты по памяти. Потом, как Артур Клаттер того и добивался, Перри Смит обернулся и посмотрел на него – и узнал лицо, очень похожее на лицо человека, которого он убил: те же спокойные глаза, узкие губы, твердый подбородок. Перри, у которого во рту была жвачка, перестал жевать; он опустил глаза, и прошла минута, прежде чем его челюсти снова медленно начали двигаться. Если не считать этого эпизода, Смит и Хикок изображали полную незаинтересованность и безучастность; они с вялым нетерпением жевали резинку и постукивали носками башмаков, а тем временем штат вызвал своего первого свидетеля.

Нэнси Эволт. После Нэнси – Сьюзен Кидвелл. Девушки описали то, что они увидели, войдя в дом Клаттеров в воскресенье 15 ноября: тихие комнаты, пустой кошелек на полу кухни, солнечный луч в спальне и свою одноклассницу, Нэнси Клаттер, лежащую в луже собственной крови. Защита отказалась от перекрестного допроса и такой же политики придерживалась в отношении трех следующих свидетелей (отца Нэнси Эволт, Кларенса, окружного шерифа Робинсона и coronera округа, доктора Роберта Фентона), каждый из которых добавил к рассказу о событиях того солнечного ноябрьского утра свои подробности: обнаружение всех четырех жертв, описание их вида, а доктор Фентон назвал клинический диагноз – «смерть, вызванная серьезными повреждениями мозга и жизненно важных внутричерепных структур, полученными вследствие ружейного выстрела».

Потом вышел Ричард О. Роледер.

Роледер – главный следователь полицейского управления Гарден-Сити. Он увлекается фотографией и в этом деле добился большого мастерства. Это Роледер сделал снимки, на которых стали видны следы сапог Хикока в подвале Клаттеров, следы, которые смог различить фотоаппарат, хотя глаз не различал. И именно он фотографировал трупы на месте преступления, он сделал те фотографии, над которыми так долго размышлял Элвин Дьюи, пока убийства еще не были раскрыты. От Роледера требовалось лишь,

чтобы он признал, что эти снимки сделаны им, поскольку обвинение предложило предъявить их в качестве свидетельства. Но защитник Хикока возразил: «Единственное, ради чего нам предъявляют эти фотографии, это чтобы повлиять на присяжных и пробудить в них гнев». Судья Тэйт отменил возражение и позволил свидетельствовать фотографиям, то есть разрешил показать их жюри.

Пока присяжные рассматривали снимки, отец Хикока, обращаясь к журналисту, сидевшему с ним рядом, сказал: «Ну и судья! Ни разу еще не видел такого предубежденного человека. Бессмысленный суд. С таким-то председателем! Да ведь он же нес гроб на похоронах!» (На самом деле Тэйт был лишь шапочно знаком с жертвами и вообще не присутствовал на их похоронах.) Но в тишине зала мистер Хикок был единственным, кто что-то произнес вслух. Всего было семнадцать фотографий, и пока их передавали из рук в руки, лица присяжных заседателей отражали произведенное снимками впечатление: один человек покраснел, как будто ему дали пощечину, а некоторые, бросив на фотокарточки первый взгляд, явно не испытывали желания рассматривать их все; казалось, что фотографии заставили их наконец реально взглянуть на те истинные и прискорбные события, которые произошли с их соседом, его женой и детьми. Это ошеломило их и привело в ярость, а люди действия – такие, как фармацевт и управляющий кегельбана, – посмотрели на ответчиков с полным презрением.

Старший мистер Хикок вновь устало покачал головой и снова пробормотал: «Никакого смысла. Нет никакого смысла в этом судилище».

Последним свидетелем в этот день обвинение вызвало «таинственную персону». Это был некто, давший информацию, которая привела к аресту обвиняемых: Флойд Уэллс, бывший сокамерник Хикока. Поскольку он все еще отбывал срок в Канзасской исправительной колонии и таким образом подвергался опасности – другие заключенные могли ему отомстить, – Уэллса никогда публично не объявляли информатором. Теперь, для того чтобы он мог благополучно давать показания в суде, его перевели в маленькую тюрьму в соседнем округе. И тем не менее по проходу в зале суда Уэллс шел как-то крадучись – словно ждал, что на него вы скочит наемный убийца, – и когда он проходил мимо Хикока, Дик скривил губы и прошептал несколько свирепых фраз. Уэллс притворился, что его это не касается; но словно лошадь, услышавшая трещотку гремучей змеи, постарался побыстрее уклониться от ядовитой близости преданного им товарища. Встав на свидетельское место, он уставился прямо перед собой; несколько слабый парень деревенского типа в очень приличном

темно-синем костюме, который ему специально для этого случая купил штат Канзас, – штату было важно, чтобы главный свидетель обвинения выглядел представительным и, следовательно, заслуживающим доверия.

Показания Уэллса, заранее отрететированные, были так же аккуратны, как его внешность. Подбадриваемый сочувственными вопросами Логана Грина, свидетель заявил, что приблизительно десять лет назад он в течение года работал наемным помощником на ферме «Речная Долина»; когда его осудили за кражу, он подружился с другим заключенным, тоже бывшим вором, Ричардом Хикоком, и описал ему ферму Клаттера и его семью,

– Скажите, – спросил Грин, – что каждый из вас говорил о мистере Клаттере во время этих бесед с мистером Хикоком?

– Ну, мы о нем говорили довольно много. Хикок сказал, что его скоро отпустят условно и он отправится на Запад искать работу; он мог бы остановиться в Холкомбе и попросить мистера Клаттера нанять его помощником. Я рассказал ему, насколько мистер Клаттер богат.

– Заинтересовало ли это мистера Хикока?

– Он интересовался, есть ли у мистера Клаттера сейф.

– Мистер Уэллс, действительно ли вы тогда считали, что у Клаттера в доме есть сейф?

– Ну, работал-то я там давно. Мне казалось, что там был сейф. Я знаю, что там было что-то вроде рабочего кабинета... Потом он [Хикок] начал поговаривать о том, что ограбит мистера Клаттера.

– Он говорил вам о том, что собирается ограбить Клаттера?

– Он мне говорил, что если он провернет это дело, то ни одного свидетеля в живых не оставит.

– Он говорил, как именно он собирался расправиться со свидетелями?

– Да. Он сказал мне, что сначала всех свяжет, потом будет их грабить, а потом убьет.

Установив, что налицо явная преднамеренность, Грин передал свидетеля в распоряжение защиты. Старый мистер Флеминг, классический деревенский адвокат, больше преуспевший на пшеничной ниве, чем на ниве защиты преступников, открыл перекрестный допрос. Цель его вопросов, как вскоре стало ясно, состояла в том, чтобы вскрыть тему, которой обвинение предпочло не касаться: вопрос о личной роли Уэллса в убийстве и его личной моральной ответственности.

– Не предприняли ли вы, – сказал Флеминг, сразу переходя к сути вопроса, – попытки отговорить мистера Хикока?

– Нет. Любой скажет, что там [в Канзасской исправительной колонии] никто на болтовню внимания не обращает, потому что мало ли кто чего

скажет.

– Вы хотите сказать, что ваши разговоры тоже были просто болтовней? Разве вы не нарочно внушили ему [Хикоку] мысль, что у мистера Клаттера есть сейф? Вы хотели, чтобы мистер Хикок так думал, не так ли?

Так, тихо-спокойно Флеминг задал свидетелю жару; Уэллс дернул себя за галстук, словно узел внезапно показался ему слишком тугим.

– И вы хотели, чтобы мистер Хикок считал, что у мистера Клаттера много денег, не правда ли?

– Да, я ему сказал, что у мистера Клаттера много денег.

Флеминг вновь подчеркнул то обстоятельство, что Хикок полностью информировал Уэллса о своих планах в отношении семьи Клаттеров. После этого адвокат сокрушенно спросил:

– И даже после всего того, что он вам сказал, вы не сделали ничего, чтобы ему помешать?

– Я не думал, что он это сделает.

– Вы ему не верили. Тогда почему, услышав о том, что здесь произошло, вы подумали, что именно он повинен в этом преступлении?

Уэллс сердито ответил:

– Потому что все было сделано в точности как он говорил!

Гаррисон Смит, более молодой из защитников, сменил своего коллегу. Взяв агрессивный, глумливый тон, который ему не шел, так как в действительности он – человек мягкий и снисходительный, Смит спросил свидетеля, есть ли у него прозвище.

– Нет. Меня все зовут просто Флойд.

Адвокат фыркнул.

– Разве вас теперь не называют Стукачом? Или, может быть, Доносчиком?

– Меня все зовут просто Флойд, – виновато повторил Уэллс.

– Сколько раз вы были в тюрьме?

– Приблизительно три раза.

– И из них несколько раз за дачу ложных показаний, не так ли?

Свидетель опроверг это утверждение, сказав, что в первый раз он угодил в тюрьму за вождение машины без прав, второй раз основанием для его тюремного заключения стала кража, а в третий раз он провел девяносто дней в армейском лагере для заключенных в результате одного случая, произошедшего с ним во время службы: «Мы должны были охранять поезд. Там мы малость напились и постреляли немного. По окнам и фонарям».

Все засмеялись; все, кроме ответчиков (Хикок сплюнул на пол) и

Гаррисона Смита, который задал Уэллсу новый вопрос: почему, узнав о трагедии в Холкомбе, он несколько недель медлил, прежде чем сообщить властям о том, что ему известно.

– Разве вы не ожидали никакой награды?

– Нет.

– Вы не слышали о том, что объявлена награда? – Адвокат говорил о награде в тысячу долларов, которую «Хатчинсон ньюс» предложила за информацию, ведущую к аресту и осуждению убийц Клаттера.

– Я читал о ней в газете.

– Это было до того, как вы обратились к властям, не так ли? – И когда свидетель признал, что это так, Смит торжествующе продолжил: – Какие льготы вам предложил окружной прокурор за то, что вы дадите показания в суде?

Но Логан Грин возразил:

– Ваша честь, мы возражаем против формы вопроса. Нет никаких доказательств того, что кому-то предоставлены какие-то льготы.

Возражение было поддержано, и свидетеля отпустили. Когда он покинул свидетельское место, Хикок объявил всем, кто мог его слышать:

– Сукин сын. Если уж вешать, так и его тоже. Посмотрите на него. Сейчас ведь не просто уйдет безнаказанно, а еще и денежки получит, и срок ему скостят.

Это предсказание сбылось – в скором времени Уэллс получил и награду и досрочное освобождение. Но удача недолго ему улыбалась. Вскоре у него снова начались неприятности, и в последующие годы он испытал много превратностей судьбы. В настоящее время он – заключенный тюрьмы в Парч-мейне, штат Миссисипи, где отбывает тридцатилетний срок за вооруженное ограбление.

К пятнице, когда в суде наступил перерыв на выходные, штат закончил предъявление обвинений, что включало в себя свидетельские показания четверых специальных агентов Федерального бюро расследований из Вашингтона, округ Колумбия. Эти люди, лабораторные техники, специализирующиеся на разных способах научного расследования преступлений, исследовали физические улики, связывающие обвиняемых с убийствами (анализ крови, следы, ружейные гильзы, веревку и пластырь), и удостоверили подлинность вещественных доказательств. И, наконец, четверо агентов Канзасского бюро расследований представили суду протоколы допросов и признания заключенных. При перекрестном допросе канзасских следователей защитники обвиняемых заявили, что признания были получены незаконными средствами – жестокими допросами в

душной, ярко освещенной, напоминающей чулан комнате. Столь ложное утверждение вызвало у детективов закономерное раздражение, но они очень убедительно его опровергли. (Позднее, когда кто-то из репортеров спросил его, почему он все время пускает в ход эту искусственную уловку, адвокат Хикока огрызнулся:

«А что мне еще остается делать? Черт, у меня на руках ни одного козыря. Но не могу же я просто сидеть здесь как кукла. Я должен время от времени произносить какие-то слова».)

Самым весомым оказалось свидетельство Элвина Дьюи; его показания – первое обнаружение признания Перри Смита о том, как все произошло, – попали в заголовки (ОБНАРОДОВАНЫ НЕМЫЕ УЖАСЫ УБИЙСТВА – ХОЛОДНЫЕ, СТРАШНЫЕ ФАКТЫ ОБЪЯВЛЕНЫ ВСЛУХ) и ошеломили слушателей – но больше всего Ричарда Хикока, который со скорбным вниманием вслушивался в слова агента, после того как тот сказал: «Есть один инцидент, о котором я еще не упоминал. Смит говорит, что после того, как все Клаттеры были связаны, Хикок сказал ему, что Нэнси Клаттер хорошо сложена и что он собирается ее изнасиловать. По словам Смита, он сказал Хикоку, что не потерпит ничего подобного. Смит сказал мне, что презирает людей, которые не умеют сдерживать свои сексуальные желания, и что он готов был подраться с Хикоком, но не дать ему изнасиловать девочку». Прежде Хикок не знал, что его поделщик рассказал полиции о предполагавшемся изнасиловании; не знал он и о том, что, придя в более миролюбивое расположение духа, Перри изменил первоначальную версию и заявил, что он один застрелил всех четверых, – факт, на который Дьюи указал в конце своих показаний: «Перри Смит сказал, что он желает изменить два пункта в своем заявлении. Он сказал, что все остальное в его показаниях было правильно и правдиво, за исключением того, что не Хикок, а он сам убил миссис Клаттер и Нэнси Клаттер. Он сказал мне, что Хикок... не хочет умирать, ведь тогда мать так и будет считать его убийцей. Еще он сказал, что у Хикока хорошая семья. Поэтому я решил об этом сказать».

Миссис Хикок плакала, слушая его слова. В течение всего заседания она тихо сидела рядом с мужем и теребила носовой платок. При малейшей возможности она ловила взгляд своего сына, кивала ему и улыбалась слабой, но преданной улыбкой. Однако было видно, что самообладание ее на исходе; она начала плакать. Кто-то из зрителей поглядел на нее и смущенно отвел взгляд; остальные не заметили этого оплакивания, контрапунктом сопровождавшего выступление Дьюи; даже ее муж, вероятно считая, что замечать женские слезы будет не по-мужски, остался в

стороне. Наконец единственная в зале женщина-репортер вывела миссис Хикок из зала суда и проводила ее в дамскую комнату.

Как только боль поутихла, миссис Хикок захотела выговориться.

– Мне ведь не с кем и поговорить-то, – сказала она журналистке. – Я не хочу сказать, что ко мне плохо относятся соседи и другие люди. Даже незнакомые писали мне письма, чтобы сказать, что они знают, как мне тяжело, и посочувствовать. Никто дурного слова не сказал ни мне, ни Уолтеру. Даже здесь, хотя здесь-то, казалось бы, могли. Все старались быть с нами приветливыми. Официантка в кафе, где мы кормимся, подала к пирогу мороженое и не взяла за это ничего. Я ей говорю – не надо, я все равно не могу есть. А когда-то я могла съесть все, что само меня не съест. Но она все равно положила нам мороженое. Просто чтобы сделать приятное. Шейла ее зовут; она говорит, что мы не виноваты в том, что случилось. Но мне кажется, что люди смотрят на меня и думают: наверное, и ее вина в этом есть. Ведь это я воспитала Дика. Может быть, что-то я не так делала, только что именно, никак не могу понять. Я все пытаюсь вспомнить, пока у меня не начинает болеть голова. Мы люди простые, обычные деревенские жители, живем как все. Были у нас свои счастливые деньки. Я учила Дика танцевать фокстрот. Я всегда обожала танцы, когда я была девчонкой, то просто жить без них не могла; и был у меня знакомый мальчик, боже мой, как он танцевал! Мы с ним выиграли серебряный кубок за вальс. Мы долгое время думали убежать из дому и поступить на сцену. Играть водевили. Но это были просто мечты. Детские мечты. Он уехал из нашего городка, и в один прекрасный день я вышла замуж за Уолтера, а Уолтер Хикок вообще танцевать не умел. Он сказал, что если я хочу бить чечетку, мне нужно было выйти замуж за дрессированную лошадь. Никто с тех пор со мной не танцевал, пока я не научила Дика, а у него не очень хорошо получалось, но он был такой милый. Дик был просто чудесным ребенком.

Миссис Хикок сняла очки, протерла заплаканные линзы и снова пристроила их на своем добром, пухлом лице.

– В Дике гораздо больше хорошего, чем там говорят, в зале. Эти законники все расписывают, какое он чудовище, – словно в нем нет ни единого светлого пятнышка. Я не могу оправдать то, что он натворил. Я не могу забыть об этих несчастных жертвах; молюсь за них каждую ночь. Но я и за Дика молюсь тоже. И за этого мальчика, за Перри. Напрасно я его ненавидела; теперь мне его просто жалко. И знаете – почему-то мне кажется, что миссис Клаттер тоже пожалела бы их. Если она была такой, как о ней говорят.

Заседание окончилось; в коридоре послышался шум выходящих из зала зрителей. Миссис Хикок сказала, что ей надо идти к мужу.

– Он при смерти. Я не думаю, что теперь это его огорчает.

Многие зрители были недовольны приезжим из Бостона, Дональдом Калливером. Они совершенно не понимали, почему этот молодой уравновешенный католик, преуспевающий инженер, окончивший Гарвард, муж и отец троих детей, хочет оказывать дружескую поддержку необразованному убийце-полукровке, с которым он был поверхностно знаком, и то девять лет назад. Сам Калливер говорил:

– Моя жена тоже меня не понимает. Я не мог позволить себе эту поездку – это означало потерять неделю отпуска и потратить деньги, которые нам оченьгодились бы для другого. С другой стороны, я не мог позволить себе не поехать. Адвокат Перри написал мне письмо и попросил дать показания о моральном облике Перри; и когда я читал это письмо, я понял, что должен это сделать. Потому что я сам предложил этому человеку свою дружбу. И потому что... потому что я верю в вечную жизнь. Всякая душа может быть спасена для Бога.

Заместитель шерифа и его жена, тоже ревностные католики, всячески способствовали спасению души Перри Смита, хоть он и отверг предложение миссис Майер поговорить с отцом Гобуа, местным священником. (Перри сказал: «Священники и монахини со мной уже бились. У меня до сих пор шрамы остались, могу показать».) Тогда, пользуясь тем, что в суде наступил двухдневный перерыв, Майеры пригласили Калливера на воскресный обед с заключенным у него в камере.

Возможность развлечь друга, выступить в роли хозяина привела Перри в восторг, и составление меню – жареный дикий гусь под соусом, картофель со стручковой фасолью, зеленый салат, горячие бисквиты, холодное молоко, свежеспеченный вишневый пирог, сыр и кофе, – казалось, занимало его больше, чем результат судебного процесса (который, что и говорить, не был для него захватывающим зрелищем: «Эти мужланы проголосуют за повешение скорее, чем свинья сожрет помой. Вы только посмотрите, какие у них глаза. Будь я проклят, если я единственный убийца в зале суда»). Все воскресное утро он готовился к приходу гостя. День был теплый, немного ветреный, и тени первых листиков, которые распустились на ветках, стучащих в зарешеченное окно камеры, дразнили и мучили ручного бельчонка Перри. Рыжик гонялся за качающимися узорами теней, а его хозяин подметал, вытирал пыль, мыл полы, чистил туалет и освобождал стол от накопившихся литературных изысканий. Стол должен

был стать обеденным столом, и, когда Перри все с него убрал, он сразу приобрел заманчивый вид, потому что миссис Майер пожертвовала для обеда льняную скатерть, накрахмаленные салфетки и свои лучшие фарфор и серебро.

Калливен был сражен – увидев всевозможные яства, которыми был уставлен стол, он присвистнул – и, прежде чем сесть, спросил хозяина, нельзя ли ему прочесть благодарственную молитву перед трапезой. Хозяин, не наклоняя головы, хрустел пальцами, пока Калливен, склонив голову и сложив ладони вместе, бубнил: «Благослови нас, Боже, и эти дары Твои, которые вкушаем от щедрот Твоих, через милосердие Господа нашего Христа. Аминь». Перри пробурчал, что, по его мнению, если уж кого благодарить, так это миссис Майер.

– Это все она готовила. Ну что ж, – сказал он, нагружая тарелку своего гостя, – рад тебя видеть, Дон. Выглядишь ты все так же. Совершенно не изменился.

Калливен, внешне напоминающий осторожного банковского клерка, жидковолосый и невзрачный, согласился, что внешне он изменился мало. Но его незримое внутреннее «я» – это другой вопрос: «Я плавал на каботажных судах, не зная, что единственное, что существует, это Бог. Как только это понимаешь, все становится на свои места. Жизнь имеет смысл – и смерть тоже. Господи, тебя всегда так кормят?»

Перри засмеялся.

– Миссис Майер действительно превосходный повар. Тебе обязательно надо попробовать ее испанский рис. Я здесь набрал пятнадцать фунтов. Конечно, перед этим я отоцал. Я много потерял, пока мы с Диком мотались по дорогам – почти ни разу толком не поели за то время, голодные были как черти. Жили, можно сказать, как звери. Дик все время крал консервы из бакалейных магазинов. Тушеные бобы и консервированные спагетти. Мы их открывали прямо в машине и заглатывали в холодном виде. Как звери. Дик любит красть. Это у него эмоциональная потребность – болезнь. Я тоже ворую, но только если у меня нет денег заплатить. А Дик, будь у него в кармане сто долларов, все равно стащил бы жвачку.

Позже, за сигаретами и кофе, Перри снова вернулся к теме воровства.

– Мой друг Вилли-Сорока часто об этом говорил. Он говорил, что все преступления являются просто «разновидностями воровства». И убийство в том числе. Убивая человека, ты воруюшь у него жизнь. Наверное, я теперь просто супервор. Понимаешь, Дон, – я ведь их убил. На суде старик Дьюи так говорил, что можно было подумать, будто я кривил душой ради мамыши Дика. Нет, ничего подобного. Дик мне помогал, он держал фонарь и

подбирал гильзы. И вообще это все он придумал. Но Дик не стрелял, он бы и не смог – хотя старую псину задавить ему ничего не стоит. Интересно, почему я это сделал. – Он нахмурился, словно никогда раньше не задумывался над этим вопросом, словно рассматривал только что выкопанный кристалл удивительного, непонятного цвета. – Не знаю почему, – сказал он, будто рассматривая кристалл на свет, поворачивая под разными углами. – Я был зол на Дика. Тоже мне, стальной парень. Но дело не в Дике. И не в том, что нас могли опознать. Я был готов пойти на такой риск. И не в Клаттерах дело. Они мне ничего худого не сделали, не то что другие. Те, кто поломал мне всю жизнь. Может быть, Клаттерам просто суждено было расплатиться за всех остальных.

Калливен попытался измерить глубину того, что он принимал за раскаяние Перри. Наверное, он теперь раскаялся, и раскаяние его столь сильно, что он молит Бога о милосердии и прощении? Перри сказал:

– Жалею ли я о содеянном? Если ты это имеешь в виду – то нет. Я не испытываю особых чувств по этому поводу. Я бы рад раскаяться, но меня все это абсолютно не волнует. Через полчаса после того, как это случилось, Дик уже травил анекдоты, а я над ними смеялся. Может быть, мы просто нелюди. Во мне хватает человечности только на то, чтобы пожалеть себя. Пожалеть о том, что я не могу выйти отсюда вместе с тобой. Но это все.

Калливен не мог поверить в такую безучастность; Перри растерян, он заблуждается, не может человек быть начисто лишен совести или сострадания. Перри сказал: «Почему? Солдаты же ведь спят себе спокойно. Они убивают и получают за это медали. Добрые канзасские граждане хотят меня убить – и какой-нибудь палач будет рад, что для него нашлась работенка. Убить легко – гораздо легче, чем подсунуть необеспеченный чек. Вспомни: я этих Клаттеров знал-то всего час. Если бы я действительно хорошо их знал, наверное, я бы иначе все воспринимал. Может быть, я потом не смог бы жить в ладу с собой. Но в моем случае все было похоже на стрельбу по мишеням в тире».

Калливен молчал, и Перри расценил его молчание как неодобрение и огорчился.

– Черт тебя побери, Дон, не заставляй меня лицемерить. Я могу тебе наплести и про то, как я раскаиваюсь, и про то, что единственное, чего я теперь жажду, это ползать на коленях и молиться. Я всего этого не понимаю. Не могу я в одночасье прозреть и признать то, что я всю жизнь отвергал. Право же, ты для меня сделал больше любого Бога. И больше, чем Он сделает. Ты написал мне, ты подписался «друг». А ведь у меня никогда не было друзей. Кроме Джо Джеймса. – Джо Джеймс, объяснил он

Калливену, это молодой индейский лесоруб, у которого он однажды жил в лесу неподалеку от Беллингема, штат Вашингтон. – Это очень далеко от Гарден-Сити. Добрых две тысячи миль. Я написал Джо о том, какая у меня беда. Джо бедный парень, ему приходится кормить семерых детей, но он обещал приехать, если понадобится его помощь. Он еще не приехал, а может, и не приедет, только мне кажется, что он еще явится. Джо всегда меня любил. А ты, Дон?

– Да. Я тебя люблю.

Твердый и тихий ответ Калливена взволновал и обрадовал Перри. Он улыбнулся и сказал:

– Значит, ты тоже чокнутый. – Он вдруг встал с места и схватил швабру, стоявшую в углу. – Почему я должен умереть среди чужих людей? Чтобы толпа мужланов стояла и глядела, как я задыхаюсь. Черт. Лучше я умру сейчас. – Он поднял швабру и прижал щетину к лампочке в потолке. – Сейчас отвинчу лампочку, разобью ее и перережу вены на руках. Вот что я должен сделать. Пока ты здесь. Пока рядом со мной человек, которому не совсем на меня плевать.

Заседание суда возобновилось в понедельник в десять утра. И через девяносто минут было закрыто, поскольку защита сумела уложиться в столь короткое время. Ответчики отказались свидетельствовать от своего имени, и потому вопрос, действительно ли Хикок и Смит являются убийцами Клаттеров, можно было считать решенным.

Из пяти свидетелей первым был мужчина с ввалившимися глазами – старший Хикок. Хотя его речь, исполненная достоинства и скорби, была вполне ясной, один момент наводил на мысль о временном умопомрачении. Его сын, сказал он, получил серьезную травму в автомобильной катастрофе. Это случилось в июле 1950 года. До несчастного случая Дик был «беспечным мальчиком», хорошо успевающим в школе, уважаемым одноклассниками и внимательным к своим родителям – «никаких хлопот с ним не было».

Гаррисон Смит, осторожно направляя свидетеля, уточнил:

– Я хочу спросить вас – после того, что случилось в июле тысяча девятьсот пятидесятого года, вы заметили какие-то изменения в характере, привычках или поступках вашего сына Ричарда?

– Это был совсем другой мальчик.

– Какие именно перемены в нем произошли?

Мистер Хикок, перемежая свою речь длинными паузами, перечислил: Дик стал мрачным и беспокойным, начал водиться со взрослыми, пить и

играть на деньги. «Это был совсем другой мальчик». Последнее утверждение было сразу же оспорено Логаном Грином, который начал перекрестный допрос:

– Мистер Хикок, вы сказали, что до тысяча девятьсот пятидесятого года ваш сын не доставлял вам никаких хлопот?

– ...Кажется, в тысяча девятьсот сорок девятом году он был арестован. Тонкие губы Грина изогнулись в чуть заметной улыбке:

– Вы помните, за что?

– Его обвинили в том, что он вломился в аптеку.

– Обвинили? Разве он сам не признался в этом?

– Признался.

– И это было в тысяча девятьсот сорок девятом году. И все-таки сейчас вы заявляете, что перемены в вашем сыне произошли только после аварии в тысяча девятьсот пятидесятом году?

– Я бы сказал так, да.

– То есть вы хотите сказать, что после аварии он стал примерным мальчиком?

Старик закашлялся и сплюнул в носовой платок.

– Нет, – проговорил он, рассматривая платок. – Так я бы не стал говорить.

– Тогда в чем же заключались перемены, которые в нем произошли?

– Ну... Это довольно трудно объяснить. Просто это был уже совсем другой мальчик.

– Вы имеете в виду, что он *утратил* свои преступные наклонности?

Эта реплика прокурора вызвала взрыв смеха в зале, но судья Тэйт окинул публику строгим взглядом, и смех тут же утих. Мистера Хикока сменил на свидетельском месте доктор У. Митчелл Джонс.

Доктор Джонс представился суду как врач, специализирующийся в области психиатрии, и в доказательство своей квалификации добавил, что курировал почти полторы тысячи пациентов начиная с 1956 года, когда принял психиатрическое отделение государственной больницы в Топике, штат Канзас. В течение последних двух лет он работал в Ларнеде, где он отвечал за Диллон-билдинг – отделение ларнедской больницы, где содержатся преступники с психическими отклонениями.

Гаррисон Смит спросил свидетеля:

– Сколько убийц прошло через ваши руки?

– Приблизительно двадцать пять.

– Доктор, я хотел бы спросить вас, знаком ли вам мой клиент, Ричард Юджин Хикок?

– Да, знаком.

– У вас была возможность познакомиться с ним с профессиональной точки зрения?

– Да, сэр... Я производил психиатрическую экспертизу мистера Хикока.

– Сложилось ли у вас, на основании проведенной вами экспертизы, определенное мнение относительно того, был ли Ричард Юджин Хикок способен отличать хорошее от дурного в момент совершения преступления?

Свидетель, мужчина двадцати восьми лет, плотного телосложения, с лунообразным, но умным, можно сказать, утонченным лицом, глубоко вдохнул, словно готовился к подробному разъяснению, но судья тотчас предостерег его от этого:

– Вы должны отвечать только «да» или «нет», доктор. Ограничьтесь, пожалуйста, этим.

– Да.

– И каково же оно?

– Я думаю, что в рамках общепринятых определений Хикок был способен отличить хорошее от дурного.

Ограниченный правилом «общепринятых определений» – формулой, отрицающей любые градации между черным и белым, доктор Джонс не мог ответить иначе. Но, конечно, такой ответ подрывал позицию адвоката, и Смит безнадежно спросил:

– Не могли бы вы уточнить?

Безнадежность в его голосе звучала оттого, что, хотя доктор Джонс был не прочь коснуться деталей, прокурор имел право выразить протест – и не преминул это сделать, напомнив, что законы штата Канзас не позволяют на прямой вопрос отвечать иначе, чем «да» или «нет». Протест был поддержан, и свидетель покинул свидетельское место. Однако, будь доктору Джонсу позволено продолжать, он засвидетельствовал бы следующее:

«Ричард Хикок обладает интеллектом значительно выше среднего, легко схватывает новые идеи и умело использует большой запас разных сведений. Он живо интересуется всем, что происходит вокруг, и не выказывает никаких признаков умственного расстройства или дезориентации мышления. Он мыслит логично и организованно и, судя по всему, не теряет связи с реальностью. Хотя я не обнаружил обычных признаков органических повреждений мозга – формирования определенных концепций, которые обычно с этим связаны, потери памяти,

ухудшения интеллекта, – полностью исключить такую возможность нельзя. В 1950 году он получил тяжелую травму головы, сопряженную с сотрясением мозга, и несколько часов провел в бессознательном состоянии – это подтверждается проверенными мною отчетами. По его собственным словам, с тех пор он страдает провалами в памяти и головными болями, а временами полностью отключается; антиобщественные тенденции в его поведении тоже стали проявлять себя в основном с того времени. Медицинское обследование, которое могло бы доказать или опровергнуть наличие остаточной мозговой травмы, никогда не проводилось. Его необходимо провести, прежде чем делать окончательные выводы... Хикок проявляет признаки эмоциональной неуравновешенности. Тот факт, что он знал, что делает, и все же не остановился, быть может, служит самым убедительным доказательством. Его поведение импульсивно, и он, видимо, не задумывается ни о последствиях, ни о том, что причинит неприятности себе или другим. Судя по всему, он не способен извлекать уроки из опыта и является удивительным образцом чередования периодов созидательной деятельности и безответственных поступков. Он менее устойчив к разочарованию и обидам, чем нормальный человек, и не видит иного способа избавиться от этих чувств, кроме антиобщественных поступков... Его самооценка крайне низка; в глубине души он ставит себя ниже других и ощущает себя сексуально неполноценным. Эти чувства усугубляются мечтами о богатстве и власти, хвастовством о своих подвигах, кутежами, когда у него появляются деньги, и неудовлетворенностью своим социальным статусом... В отношениях с другими людьми он испытывает стеснение и патологически неспособен на длительную привязанность. Хотя он утверждает, что разделяет общепринятые моральные нормы, на самом деле они, очевидно, не оказывают никакого влияния на его поступки. Подводя итог, можно сказать, что Хикок являет собой типичную картину того, что в психиатрии называется серьезным нарушением психики. Сейчас важно провести обследование, позволяющее исключить возможность органического повреждения мозга, которое, если оно имеет место, могло существенно влиять на поведение Хикока в течение последних нескольких лет, а также во время совершения преступления».

Но эти слова произнесены не были, и краткий ответ психиатра положил конец всем планам защитника Хикока. Гаррисону оставалось только подать апелляцию большому жюри, а это можно было сделать лишь на следующий день. Настала очередь Артура Флеминга, пожилого адвоката, защищающего Перри Смита. Он представил четырех свидетелей: преподобного Джеймса Е. Поста, протестантского священника Канзасской

исправительной колонии, индейского приятеля Перри Джо Джеймса – он все-таки приехал утренним автобусом из своего родного захолустья где-то на Дальнем Северо-Западе, проведя в дороге день и две ночи, Дональда Калливена и все того же доктора Джонса. За исключением последнего, эти люди были приглашены в качестве «свидетелей, дающих показания о чьей-либо репутации»: ожидалось, что они припишут обвиняемому хоть какие-то добродетели. Они не слишком-то преуспели в этом деле, хотя каждый сказал что-то благоприятное, пока прокурор не выразил протест на том основании, что личные мнения такого рода «некомпетентны, неуместны и не имеют отношения к делу», не шикнул на них и заставил покинуть зал.

Например, Джо Джеймс, который в своей охотничьей куртке и мокасынах выглядел так, словно загадочным образом возник прямо из чащи, гибкий, темноволосый и еще более темнокожий, чем Перри, поведал суду, что в течение двух лет ответчик время от времени приезжал к нему пожить. «Приятный юноша, всем в округе нравился, ни разу не сделал ничего такого, что выходило бы за пределы моих знаний о нем». Прокурор остановил его; и остановил Калливена, когда тот сказал: «Мы вместе служили. Нормальный парень».

Преподобный Пост продержался дольше, потому что не стал говорить никаких прямых комплиментов обвиняемому, зато в благожелательном тоне описал встречу с ним в Лансинге:

– В первый раз я увидел Перри Смита, когда он принес в тюремную часовню картину, которую сам нарисовал, – лик Иисуса, написанный пастелью. Он хотел подарить ее часовне. С тех пор она висит на стене моего кабинета.

Флеминг спросил:

– Нет ли у вас фотографии этой картины?

Священник достал конверт, набитый снимками; но когда он протянул его защитнику, чтобы тот раздал фотографии присяжным, Логан Грин вскочил как ужаленный:

– С позволения вашей чести, это уводит нас чересчур далеко...

По мнению его чести, это вообще никуда не могло привести.

Вновь был вызван доктор Джонс, и после обычных уточнений его профессии и квалификации, сопровождавших первое появление доктора на свидетельском месте, Флеминг задал главный вопрос:

– Определили ли вы, исходя из ваших разговоров с обвиняемым и медицинского обследования Перри Эдварда Смита, был ли он способен отличить хорошее от дурного в тот момент, когда был вовлечен в это преступление, или нет?

И вновь суд предупредил свидетеля:

– Отвечайте «да» или «нет». Вы пришли к какому-то выводу?

– Нет.

На фоне удивленного бормотания в зале Флеминг, сам донельзя удивленный, сказал:

– Не могли бы вы объяснить присяжным, почему?

Грин немедленно возразил:

– Свидетель не пришел к определенному выводу, и это все.

Юридически на этом все и кончилось. Однако, будь доктору Джонсу позволено объяснить причины своей нерешительности, он заявил бы:

«Перри Смит проявляет определенные признаки серьезного умственного расстройства. Его детство, как я выяснил и проверил по некоторым тюремным отчетам, было отмечено жестокостью и недостатком внимания со стороны обоих родителей. Судя по всему, он рос без надлежащей заботы, без родительской любви и не усвоил с детства принятые в обществе моральные ценности... Он хорошо ориентируется, очень внимателен ко всему, что происходит вокруг, и не выказывает никаких признаков растерянности. Его интеллектуальный уровень выше среднего, а знания, которыми он располагает, достаточно обширны, учитывая крайне скудную общеобразовательную подготовку... В его личности есть две черты, которые можно выделить как особенно патологические. Во-первых, это его „параноидальная" враждебность ко всему миру. Он подозрителен и недоверчив к другим людям, ему кажется, что окружающие его унижают, что они несправедливы к нему и не понимают его. Он болезненно чувствителен к критике и не выносит, когда над ним смеются. Он моментально усматривает неуважение или оскорбление в том, что говорят другие, и благие намерения людей часто предстают для него в извращенном виде. Он чувствует потребность в дружбе и понимании, но отказывается доверять другим, а если ему приходится это делать, он все время ждет, что его неверно поймут или даже предадут. В оценке намерений и чувств окружающих его способность отделить реальную ситуацию от собственных представлений о ней очень слаба. Он нередко приписывает всему человеческому роду лицемерие и враждебность, поэтому считает, что люди в массе своей достойны самого жестокого обращения с его стороны. Сродни этой особенности его личности является другая – вездесущий, неуправляемый гнев, который вспыхивает при малейшем признаке обмана, унижения или пренебрежительного отношения со стороны собеседника. В прошлом его гнев главным образом был направлен на тех, кто олицетворял собой власть:

на отца, брата, на сержанта в армии, на судебного пристава – и в ряде случаев приводил к неоправданной жестокости. И Смит, и те, кто был с ним знаком, знали за ним эту черту; он сам говорит, что гнев „одолевает" его и он почти не способен с ним справиться. Когда этот гнев он обращает на себя самого, у него появляются суицидальные наклонности. Несоразмерная сила гнева и недостаточная способность им управлять или сдерживать его отражает первичную слабость структуры личности... В дополнение к указанным чертам, объект проявляет начальные признаки расстройства мыслительных процессов. Его способность организации мышления слаба, он кажется неспособным оценить или вывести какое-либо заключение из своих мыслей, погрязая и порой теряясь в деталях, а временами его размышления имеют „волшебное" свойство отрыва от действительности... У него было мало тесных эмоциональных отношений с другими людьми, и они были настолько непрочны, что не могли выдержать малейших конфликтов. Смита мало волнуют окружающие, за исключением очень узкого круга друзей, и в целом он невысоко ценит человеческую жизнь. Эта эмоциональная отстраненность в сочетании с необычной мягкостью в определенных случаях – еще одно свидетельство его умственной ненормальности. Для того чтобы дать точный психиатрический диагноз, понадобилась бы более развернутая оценка, но теперешняя структура его личности чрезвычайно близка к реакциям параноидального шизофреника».

Примечательно, что всеми уважаемый ветеран в области судебной психиатрии, доктор Джозеф Саттен из клиники Меннингера в Топике, штат Канзас, консультировал доктора Джонса и подтвердил его оценку Хикока и Смита. Доктор Саттен, который впоследствии проявил особое внимание к этому случаю, предположил, что, хотя преступления не произошло бы, не будь известного взаимодействия между убийцами, по существу оно было совершено Перри Смитом, который, по его ощущениям, представляет собой тип убийцы, описанный им в статье «Убийство без очевидного мотива – к исследованиям дезорганизации личности».

В статье, написанной Саттенем в сотрудничестве с тремя его коллегами: Карлом Меннингером, Ирвином Росеном и Мартином Мейманом и напечатанной в «Американском психиатрическом журнале» (июль 1960), он с самого начала объявляет о своей цели: «Определяя степень ответственности убийц, закон делает попытку разделить их (как и всех обвиняемых) на две группы – „вменяемых" и „невменяемых". „Вменяемого" убийцу толкают на преступление рациональные мотивы, которые могут быть поняты, хотя и осуждены, а „невменяемый" руководствуется иррациональными, бессмысленными соображениями.

Когда рациональный мотив очевиден (например, если человек убивает ради личной выгоды) или когда иррациональные соображения сопровождаются заблуждением или галлюцинациями (например, если параноик убивает воображаемого преследователя), ситуация не представляет особой сложности для психиатра. Однако убийцы, которые, на первый взгляд, поступают рационально, последовательно и расчетливо, но чьи смертоносные действия тем не менее носят причудливый и очевидно бессмысленный характер, представляют серьезную проблему, судя по тому, какие противоречивые мнения высказываются в зале суда об одном и том же обвиняемом. Мы должны наглядно проиллюстрировать наш тезис о том, что психопатологию таких убийц формирует по крайней мере один определенный синдром. Вообще говоря, подобные индивидуумы предрасположены к серьезным нарушениям контроля над своим эго, что делает возможным открытое выражение примитивного насилия, возникающего из предшествовавшего ему и не осознаваемого теперь травмирующего опыта».

Авторы исследовали в процессе подачи апелляций четверых мужчин, осужденных за кажущиеся немотивированными убийства. Все они были обследованы до суда и признаны людьми «без психоза» и «нормальными». Трое из них был вынесен смертный приговор, а четвертому – длительный срок тюремного заключения. В каждом из этих случаев потребовалось дальнейшее психиатрическое обследование, потому что кто-нибудь – либо адвокат, либо родственник или друг – был не удовлетворен ранее данным заключением психиатра и поэтому ставил вопрос: «Как может нормальный человек, каковым признан осужденный, совершить настолько безумный поступок?» После описания этих четырех преступников и их преступлений (негритянский солдат, который изуродовал и расчленил проститутку; чернорабочий, который задушил четырнадцатилетнего мальчика, когда тот отклонил его сексуальные домогательства; капрал, забивший до смерти другого маленького мальчика, потому что ему показалось, что жертва его высмеивала; и больничный служащий, который утопил девятилетнюю девочку, держа ее голову под водой), авторы объяснили, что между ними общего. Сами убийцы, писали они, не могли толком объяснить, почему они убивали людей, которые были им практически незнакомы, и в каждом случае убийца действовал словно бы во сне, в некоем транс, выйдя из которого «внезапно обнаруживал», что нападает на свою жертву. Наиболее общим и, возможно, наиболее существенным историческим открытием была длительная, порой продолжающаяся всю жизнь неспособность контролировать свои агрессивные импульсы. Например, трое из этих людей

в течение жизни часто затевали драки, которые не были обычными потасовками, а могли привести к смертельным последствиям, если бы их не пресекли.

В этой выдержке приводится множество других наблюдений, собранных авторами труда: «Несмотря на склонность к насилию, все эти люди в глубине души считали себя физически слабыми, подавленными и недостаточно развитыми. В каждом случае в жизни исследуемого имела место значительная доля сексуального запрета. Для всех них взрослые женщины были существами пугающими, а в двух случаях присутствовало откровенное сексуальное извращение. К тому же они все в ранние годы своей жизни боялись, что их считают женоподобными, физически недоразвитыми или болезненными... Во всех четырех случаях были исторические свидетельства измененного состояния сознания, часто в связи со вспышкой насилия. Двое рассказывали о серьезных случаях „забытья“ – трансоподобных состояниях, во время которых они буйствовали и совершали бессмысленные поступки, а двое других говорили о менее серьезных и, возможно, менее заметно проявляющихся приступах амнезии. В момент фактического насилия они часто чувствовали отстранение или отдаление от себя, как будто наблюдали за кем-то другим... Также в историческом фоне всех указанных случаев была замечена повышенная доля насилия со стороны родителей... Один из исследуемых сказал, что его „пороли по любому поводу“... Другого много раз сильно избивали, чтобы „сломить“ его упрямство и прекратить „припадки“, равно как и для того, чтобы он исправил свое предположительно плохое поведение... Присутствие в истории исследуемого эпизодов применения к нему *чрезвычайного* насилия, либо воображаемых, либо действительно пережитых в детстве, соответствует психоаналитической гипотезе, согласно которой подвергание ребенка подавляющим стимулам прежде, чем он может с ними справиться, тесно связано с ранними дефектами в формировании эго, а позднее и серьезными нарушениями контролирования импульсов. Во всех случаях были свидетельства серьезной эмоциональной недостаточности в ранний период жизни. Эта недостаточность, возможно, была связана с продолжительным или постоянным отсутствием одного или обоих родителей, хаотической жизнью семьи, когда родители неизвестны, либо с прямым отвержением ребенка одним или обоими родителями, когда ребенок рос у чужих людей... Имелись свидетельства нарушений в эмоциональной организации. Для всех этих людей было характерно отсутствие злости или гнева при совершении сильных агрессивных действий. Ни один не упомянул о чувстве гнева в связи с убийством и о

том, что он в принципе способен испытывать сильный гнев, хотя каждый из них был способен на сильную и зверскую агрессию... Их отношения с другими людьми носили характер поверхностных и холодных, что приводило к ощущению одиночества и изоляции. Люди для них едва ли были реальными существами в том смысле, что не могли вызывать теплые или положительные (и даже негативные) чувства... Те трое, что были приговорены к смертной казни, не питали особых эмоций в отношении собственной судьбы и судьбы своих жертв. Депрессия, чувство вины или раскаяния поразительным образом отсутствовали... Таких индивидуумов можно считать склонными к убийству в том смысле, что они либо несут непомерное бремя агрессивной энергии, либо обладают нестабильной защитной системой эго, которая периодически допускает неприкрытый и животный выплеск такой энергии. Смертоносный потенциал может прийти в действие, особенно когда некоторое нарушение равновесия уже имеет место, если будущая жертва подсознательно воспринимается как ключевая фигура в каком-то эпизоде из прошлого, который травмировал психику убийцы. Поведение или даже просто появление этой фигуры приводит к психологической перегрузке и без того неуравновешенного человека, и это влечет за собой внезапную вспышку насилия, как удар по капсюлю приводит к мощнейшему взрыву... Гипотеза неосознанной мотивации объясняет, почему убийцы воспринимали безобидное поведение по существу незнакомых им людей как провокационное и, следовательно, видели в них подходящий объект для агрессии. Но почему убийство? Большинство людей, к счастью, не отвечает убийством даже на чрезвычайно сильные провокации. В описанных случаях, однако, убийцы были предрасположены к серьезным отклонениям в восприятии действительности и весьма слабо могли контролировать свои порывы в течение периодов повышенной напряженности и усиления дезорганизации. В такие периоды случайный знакомый или даже незнакомец легко мог утратить свое реальное значение и занять место той личности, с которой связаны неосознанные травмирующие ситуации. „Старый” конфликт оживает, и агрессия стремительно достигает смертоносной силы... Когда происходят такие бессмысленные убийства, их стоит рассматривать как конечный результат периода нарастающей напряженности и дезорганизации в убийце, начавшегося до контакта с жертвой, которая, вписываясь в осознаваемую конфликтную схему убийцы, невольно приводит в действие его смертоносный потенциал».

Ввиду многочисленных параллелей между историей жизни и личностью Перри Смита и предметом его изучения, доктор Саттен

посчитал, что его смело можно поместить в одном ряду с такими убийцами. Кроме того, сами обстоятельства преступления, как ему представляется, в точности соответствуют концепции «убийства без очевидного мотива». Совершенно ясно, что три из четырех убийств, которые совершил Смит, были логически мотивированы – Нэнси, Кеньон и их мать должны были погибнуть, потому что был убит мистер Клаттер. Но доктор Саттен утверждает, что для психологии имеет значение только первое убийство, и что когда Смит убивал мистера Клаттера, он находился в состоянии затмения разума, в глубоком шизофреническом помрачении рассудка, поскольку человек, которого он «неожиданно для себя» прикончил, был не живым человеком «из плоти и крови», а ключевой фигурой в некоей травмирующей ситуации из прошлого: отец ли? монахини ли из приюта, которые глумились над ним и избивали его? ненавистный ли сержант? чиновник ли, приказавший ему «держаться подальше от штата Канзас»? Кто-то один или все они вместе.

В своем признании Смит сказал: «Я на самом деле не хотел причинять ему никакого зла. По-моему, он был очень славным джентльменом. Спокойным, вежливым. Так я думал вплоть до той секунды, когда перерезал ему горло». А в разговоре с Дональдом Калливером Смит сказал: «Они [Клаттеры] ничего плохого мне не сделали. Не то что все остальные. Все, кто попадался мне в жизни. Наверное, Клаттерам просто суждено было расплатиться за остальных».

Итак, казалось бы, независимо друг от друга и профессионал и дилетант пришли к в общем-то сходным выводам.

Аристократия округа Финней сознательно игнорировала суд. «Не пристало порядочным людям, – заявила жена одного богатого скотовода, – проявлять любопытство к подобным вещам». И тем не менее на последней сессии суда присутствовала изрядная часть местного истеблишмента, соседствовавшего со зрителями попроще. Присутствие элиты было учтивым жестом в сторону судьи Тэйта и Грина Логана, уважаемых членов ее самой. Несколько скамей заняли также иногородние юристы, многие из которых приехали издалека; они во что бы то ни стало должны были лично услышать заключительное напутствие Грина присяжным. Грин, маленький, галантно-жесткий, канзасец в седьмом поколении, пользуется значительным авторитетом среди своих коллег, которые восхищаются его сценическим искусством – различными актерскими навыками, в том числе безошибочным, как у комика из ночного клуба, умением выбрать нужный момент. Он, как опытный адвокат по уголовным делам, обычно выступал в

роли защитника, но в этом случае штат нанял его в качестве специального помощника Дуэйна Уэста, поскольку бытовало мнение, что молодой прокурор округа недостаточно закален, чтобы справиться с данным делом без опытного помощника.

Но, как и подобает звездам сцены, Грин появился лишь в последнем акте программы. Ему предшествовали сдержанное напутствие судьи Тэйта присяжным и заключительное обращение прокурора: «Можете ли вы хоть на секунду усомниться в том, что подсудимые виновны? Нет! В независимости от того, кто из них нажал на спусковой крючок ружья Ричарда Юджина Хикока, оба они виновны одинаково. Есть только один способ поручиться, что эти люди никогда больше не будут бродить по городам и весям нашей земли. Мы требуем высшей меры наказания – смертной казни. И мы требуем ее не из мести, а как самое скромное наказание...»

После этого необходимо было выслушать прошение защиты. Речь Флеминга, описанная одним журналистом как «мягкотелая», представляла собой церковную проповедь: «Человек не животное. У него есть тело, и у него есть душа, которая живет вечно. Я не считаю, что человек имеет право разрушить этот дом, этот храм, в котором живет душа...» Гаррисон Смит, хоть и напирал на предполагаемую набожность присяжных заседателей, главной темой своего выступления избрал зло высшей меры наказания: «Это пережиток человеческого варварства. Закон гласит, что отнимать человеческую жизнь нельзя, а потом сам же первый подает пример, который является почти таким же злом, как преступление, за которое он карает. Штат не имеет права творить такое зло. Оно не эффективно. Оно не сдерживает преступность, но просто унижает человеческую жизнь и вызывает новые убийства. Все, о чем мы просим, это милосердие. Конечно, пожизненное заключение едва ли можно назвать большой милостью...» Но никто его не слушал; один присяжный заседатель, словно отравленный многочисленными зевками, наполнившими зал, спал с открытыми глазами, и рот его был открыт так широко, что в него могла бы влететь пчела.

Грин разбудил собравшихся.

– Господа, – произнес он, говоря без записей. – Вы только что слышали два энергичных прошения о милосердии от имени ответчиков. Мне представляется счастливым стечением обстоятельств то, что наши замечательные защитники, мистер Флеминг и мистер Смит, не были в доме Клаттеров в ту роковую ночь, – весьма счастливым для них, поскольку, если бы тогда они молили преступников о милости к обреченным жертвам – наутро мы нашли бы больше чем четыре трупа.

Когда Грин был еще мальчиком и жил в своем родном Кентукки, его прозвали Розанчиком; этой кличкой он был обязан розовым пятнам, выступающим на лице, когда он волновался. И теперь, по мере того как он расхаживал перед присяжными, сознание важности собственной миссии разгорячило Грина и покрыло его лицо заплатами румянца.

– Я не имею ни малейшего желания вести теологические дебаты. Но я предвидел, что защита в поисках аргументов против смертной казни прибегнет к Священному Писанию. Вы слышали цитату из Библии. Но я тоже умею читать. – Он раскрыл Ветхий Завет. – И вот что о предмете обсуждения сказано в Библии. «Исход», глава двадцатая, стих тринадцатый – одна из десяти заповедей: «Не убий». Это относится к незаконному убийству. В этом нет сомнений, ибо в следующей главе, стих двенадцатый, написано о том, какая кара ждет того, кто нарушил эту заповедь: «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти». Вероятно, вы, мистер Флеминг, считаете, что все это изменилось, когда явился Христос. Это неверно. Ибо Христос говорил: «Не думайте, что я пришел разрушить закон или пророков. Я пришел не разрушать, но исполнять». И наконец, – Грин неловко повернулся и, казалось, случайно закрыл Библию, после чего присутствующие в зале юристы с усмешкой начали подталкивать друг друга локтями, поскольку это был древнейший судебный трюк – адвокат, зачитывая цитату из Священного Писания, притворяется, что потерял нужное место, и говорит, в точности как это сделал Грин: «Ничего страшного. Думаю, я смогу процитировать по памяти. Книга Бытия, глава девятая, стих шестой: „Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека“. Но, – продолжал Грин, – я не вижу смысла обсуждать здесь Библию. В нашем штате за убийство первой степени предусматривается наказание в виде пожизненного заключения или смерти на виселице. Таков закон. Вы, господа, обязаны провести его в жизнь. И если когда-нибудь высшая мера наказания бывает оправдана, так это тот самый случай. Это странные, зверские убийства. Четверо ваших сограждан были забиты, словно кабаны на бойне. И во имя чего? Не из мести или ненависти, а ради денег. Денег. Это холодный расчет – столько-то унций серебра за унцию крови. И как же дешево были оценены эти жизни! Сорок долларов – вся нажива! Десять долларов за жизнь! – Он крутанулся на каблуках и ткнул пальцем в сторону Хикока и Смита: – Они пришли вооруженные ружьем и кинжалом. Они пришли грабить и убивать. – Голос его дрогнул и оборвался, словно задушенный силой его ненависти к жизнерадостно жующим жвачку ответчикам. Вновь обернувшись к присяжным, он хрипло спросил: – Что вы намерены делать? Что вы

намерены делать с этими людьми, которые связали человека по рукам и ногам, перерезали ему горло и погасили его разум? Присудить им минимальное предусмотренное наказание? Да, и ведь это только один пункт обвинения из четырех. А как же быть с Кеньоном Клаттером, юным, только начинающим жить мальчиком, которого связали и заставили беспомощно глядеть на предсмертные мучения отца? Или с молоденькой Нэнси Клаттер, которая слышала выстрелы и знала, что ее очередь следующая. Нэнси, которая умоляла: „Не надо! О, пожалуйста, не надо. Пожалуйста! Пожалуйста!" Какая агония! Какая кошмарная пытка! И остается еще мать, связанная и лишенная возможности кричать, вынужденная слушать, как ее муж и любимые дети умирают один за другим. Слушать, как убийцы – те самые, кого вы видите перед собой, – наконец входят в ее комнату, находят лучом фонаря ее глаза и последним выстрелом ставят точку».

Грин, распалившись, дотронулся до чирья, созревшего на тыльной стороне шеи, нарыва, который, подобно своему яростному обладателю, казалось, вот-вот лопнет.

– Итак, господа, что вы намерены делать? Дать им минимум? Отправить их назад в колонию и тем самым дать им возможность бежать или получить досрочное освобождение? Когда они в следующий раз отправятся убивать, жертвами могут стать члены вашей семьи. Говорю вам, – торжественно произнес он, окидывая присяжных таким взглядом, словно бросал вызов каждому, – порой чудовищные преступления совершаются лишь оттого, что некогда трусливые присяжные отказались выполнить свой долг. Итак, господа, теперь решение полностью на вашей совести.

Он сел. Уэст шепнул ему:

– Мастерская работа, сэр.

Но несколько слушателей отнеслись к речи Грина с меньшим восторгом; и после того как жюри удалилось для обсуждения приговора, один молодой репортер из Оклахомы и его коллега из «Канзас-Сити стар», Ричард Парр, обменялись довольно острыми репликами. По мнению оклахомца, обращение Грина было «разжигającym», зверским.

– Он просто сказал правду, – возразил Парр. – Правда может быть и зверской, если, конечно, так говорят.

– Но он не должен был бить так сильно. Это несправедливо.

– Что несправедливо?

– Да весь суд. Парням не дали никаких шансов.

– Хороший же шанс они дали Нэнси Клаттер.

– Перри Смит... Боже мой, у него такая искалеченная судьба...

Парр сказал:

– Многие люди могли бы померяться своими слезливыми историями с этим ублюдком. В том числе я сам. Может, я и много пью, но будь я проклят, если когда-нибудь хладнокровно убивал людей.

– Ага, а повесить ублюдка – это, по-вашему, как? По-моему, это тоже чертовски хладнокровное убийство.

Преподобный Пост, подслушав этот диалог, тоже решил высказаться.

– Поглядите, – сказал он, показав спорящим фотографию портрета Иисуса, написанного Пери Смитом, – человек, который сумел создать такую картину, не может быть абсолютно плох. И все же трудно решить, что с такими делать. Высшая мера – это не выход: она не дает грешнику времени подготовиться к встрече с Богом. Иногда я прихожу в отчаяние. – Пост был веселый малый с золотыми зубами и седыми волосами, выступающими надо лбом треугольником. Он весело повторил: – Иногда я прихожу в отчаяние. Иногда мне кажется, что старый Дока-Дикарь был прав. – Дока-Дикарь, о котором он говорил, был вымышленный герой, популярный среди юных читателей дешевых журнальчиков старшего поколения. – Если помните, мальчики, Дока-Дикарь был своего рода суперменом. Он добился профессионализма во всех областях – в медицине, науке, философии, искусстве. Не много было такого, чего бы старый Дока не знал или не мог сделать. Один раз он решил избавить мир от преступников. Для начала он купил большой остров в океане. Потом он и его помощники – у него была целая армия обученных помощников – отловили всех преступников мира и привезли на остров. И Дока-Дикарь прооперировал им мозги. Он удалил часть, в которой содержатся злые мысли. И когда они поправились, они все стали примерными гражданами. Они больше не могли совершать преступления, потому что у них не было этой части мозга. И теперь мне начинает казаться, что такое хирургическое вмешательство в натуру человека действительно, может быть, выход из положения...

Звонок, сигнал того, что присяжные возвращаются, прервал его рассуждения. Заседание присяжных продолжалось сорок минут. Многие зрители, полагая, что решение будет принято быстро, не покидали своих мест. Судью Тэйта, однако, пришлось вызывать с его фермы, куда он пошел, чтобы покормить лошадей. Поспешно наброшенная черная мантия слегка топорщилась на нем, но он с внушительным спокойствием и достоинством спросил:

– Господа присяжные, вынесли ли вы приговор преступникам?

И председатель ответил:

– Да, ваша честь.

Бейлиф вынес запечатанные конверты.

Раздался гудок поезда, трубный глас приближающегося экспресса Санта-Фе. Бас Тэйта, зачитывающего приговор, перекликался с фанфарами локомотива:

– Пункт первый. Мы, присяжные заседатели, считаем подсудимого, Ричарда Юджина Хикока, виновным в убийстве первой степени, и наказание – смерть. – Потом, словно интересуясь реакцией закованных в наручники заключенных, он посмотрел вниз, где они стояли вместе с конвоирами; они бесстрастно смотрели на него, и он продолжил читать семь дальнейших пунктов: еще три для Хикока и четыре для Смита.

«И наказание – смерть». Каждый раз, доходя до приговора, Тэйт произносил его с мрачным завыванием, которое, казалось, вторило жалобному удаляющемуся зову поезда. Потом судья отпустил жюри («Вы мужественно выполнили свой долг»), и осужденных увели. В дверях Смит сказал Хикоку: «Да уж, трусливых присяжных тут не было!» – и оба громко расхохотались, а фотографы защелкали аппаратами. Снимок был опубликован в канзасской газете с подписью: «Последний смех?»

Неделю спустя миссис Майер сидела у себя в комнате и разговаривала с подругой.

– Да, здесь стало так тихо, – сказала она. – Я думаю, мы должны радоваться, что все опять входит в колею. Но у меня все равно на душе скверно. С Диком мы почти не общались, а с Перри познакомились довольно близко. В тот день, после того как ему объявили приговор, его привели в камеру, и я закрылась на кухне, чтобы не видеть его. Я сидела у окна и смотрела, как из здания суда выходят толпы народу. Мистер Калливен посмотрел вверх, увидел меня и помахал. Родители Хикока. Они тоже уходили прочь. Только утром я получила прекрасное письмо от миссис Хикок; она бывала у меня несколько раз, пока шел суд, и мне было жаль, что я не могу ей помочь, только что скажешь в такой ситуации? Но после того, как все разошлись и я начала мыть посуду, я услышала, что он плачет. Я включила радио. Только бы не слышать. Но все равно было слышно. Он плакал как дитя. Прежде он никогда не падал духом, никак не показывал, что ему тяжело. Я пошла к нему. Подошла к двери его камеры. Он протянул мне руку. Он хотел, чтобы я подержала его за руку, и я держала, а он сказал лишь: «Я охвачен стыдом». Я хотела послать за отцом Гобуа и сказала Перри, что завтра приготовлю для него рис по-испански, но

он только крепче сжал мои пальцы.

И в тот вечер, тяжелейший из вечеров, мы должны были оставить его одного. Мы с Венделем почти никуда не выходим, но нас давно пригласили в одно место, и Вендель подумал, что нарушать слово нехорошо. Но я всегда буду жалеть, что мы оставили его одного. На следующий день я приготовила рис. Перри к нему даже не притронулся. И со мной почти не разговаривал. Он ненавидел весь мир. Но утром, когда за ним приехали, чтобы забрать в тюрьму, он поблагодарил меня и отдал мне свою фотокарточку. Маленький «кодаковский» снимок, сделанный, когда ему было шестнадцать лет. Он сказал, что хотел бы, чтобы я запомнила его таким, как этот мальчик на карточке.

Тяжелее всего было сказать «до свидания». Знаешь ведь, куда его увозят и что его ждет. Этот его бельчонок совсем без Перри заскучал. Все время прибегает в камеру, ищет его. Я пыталась его покормить, но ему до меня нет дела. Он любил одного Перри.

Тюрьмы играют важную роль в экономике округа Левенворт штата Канзас. Там находятся две государственных исправительных колонии, по одной для каждого пола, а также Левенворт – самая большая федеральная тюрьма и, в Форт-Левенворте, основной военной тюрьме страны, – угрюмые дисциплинарные казармы Армии и Военно-воздушных сил США. Если бы всех обитателей этих учреждений в одночасье отпустили на волю, они могли бы населить небольшой город.

Самая старая из тюрем – Канзасская исправительная колония для мужчин, черно-белый дворец с башнями, который является главной отличительной чертой в остальном непримечательного провинциального Лансинга. Дворец, построенный во время Гражданской войны, получил своего первого жильца в 1864 году. В настоящее время население тюрьмы составляет примерно две тысячи человек; нынешний начальник, Шерман Х. Круз, ежедневно ведет подсчет общему числу заключенных. На диаграмме показано соотношение представителей различных рас (например: белых 1405, цветных 360, мексиканцев 12, индейцев 6). Вне зависимости от расы каждый преступник является жителем каменной деревни, обнесенной высокими стенами, которые охраняют автоматчики, – двенадцати серых акров цементных улиц, жилых блоков и цехов.

В южном секторе тюремного комплекса располагается любопытное маленькое здание: темное двухэтажное строение, по форме напоминающее гроб. Это учреждение, официально именуемое Зданием сегрегации и изоляции, образует тюрьму внутри тюрьмы. Нижний этаж в кругу

заключенных известен под именем «Дыра» – туда временно помещают самых трудных заключенных, «крепкие орешки», нарушителей спокойствия. На верхний этаж можно попасть по железной винтовой лестнице; там находится камера смертников.

Когда убийцы Клаттеров впервые вошли по этой лестнице, был дождливый апрельский вечер. После восьмичасового переезда на машине из Гарден-Сити в Лансинг протяженностью четыреста миль вновь прибывшие были раздеты, отведены в душ и острижены, после чего получили грубые хлопчатобумажные робы и мягкие тапочки (в большинстве американских тюрем такие тапочки – традиционная обувь осужденных). Потом вооруженная охрана проводила их по влажным сумеркам к гробовидному зданию, где они поднялись по спиральной лестнице на второй этаж и вошли каждый в отдельную камеру в ряду двенадцати соприкасающихся камер смертников.

Камеры все одинаковые, размером семь на десять футов, и обстановку их составляет лишь кровать, туалет, ведро и лампочка на потолке, которая не гаснет ни днем, ни ночью. Окна камеры очень узкие и не только забраны решетками, но еще и завешены проволоочной сеткой, черной, как вдовье покрывало; таким образом, лица приговоренных к повешению прохожие могут различить лишь смутно. Самому же обреченному видно довольно неплохо; но видит он лишь пустую грязную площадку, которая летом служит бейсбольным полем, за площадкой – кусок тюремной стены, а над стеной краешек неба.

Стена сложена из грубого камня; в щелях ее гнездятся голуби. Ржавая железная дверь в стене, которая видна смертникам, каждый раз, открываясь, вспугивает голубей своим нестерпимым визгом и скрежетом. Дверь ведет в пещеру складского помещения, где даже в самый теплый день сыро и промозгло. Там хранится множество всяких вещей: запасы металла, из которого заключенные производят номерные знаки для автомобилей, дерево, старые машины, бейсбольный инвентарь, – а также некрашенная деревянная виселица, слабо пахнувшая сосной. Ибо это комната казни штата Канзас; когда человека ведут сюда, чтобы повесить, заключенные говорят, что он ушел «на Перекладину» или, другой вариант, «навестить склад».

В соответствии с приговором суда Смит и Хикок должны были навестить склад через шесть недель: в одну минуту после полуночи в пятницу 13 мая 1960 года.

Штат Канзас отменил высшую меру наказания в 1907-м; в 1935-м,

после того как на Среднем Западе внезапно расплодились профессиональные преступники («Старый жуткий» Элвин Каприс, «Милый мальчик» Чарльз Флойд, Клайд Барроу и его смертоносная возлюбленная Бонни Паркер), законодатели штата проголосовали за ее восстановление. Однако только в 1944 году для палача нашлась работа; за следующие десять лет ему представилось еще девять случаев заработать. Но в течение шести лет, то есть после 1954 года, в Канзасе не выписывались счета палачу (кроме как в дисциплинарных казармах Армии и Военно-воздушных сил США, где тоже была виселица). За этот перерыв был ответствен покойный Джордж Докинг, губернатор штата Канзас с 1957 по 1960 год. Он был категорически против смертной казни («я просто не люблю убивать людей»).

К апрелю 1960 года в тюрьмах Соединенных Штатов казни ожидали сто девяносто человек; пятеро, в том числе и убийцы Клаттеров, были квартирантами Лансинга. Иногда важные посетители тюрьмы приглашались, как изящно выражался один высокопоставленный чиновник, «одним глазком взглянуть на камеру смертников». В таких случаях гостям выделялся охранник, который, сопровождая туристов по железному проходу между камерами, рассказывал о каждом из осужденных, что, вероятно, самому ему казалось довольно веселой обязанностью. «А это, – говорил он посетителям в 1960 году, – это мистер Перри Эдвард Смит. Здесь, по соседству, приятель мистера Смита, мистер Ричард Юджин Хикок. А здесь у нас мистер Эрл Уилсон. А после мистера Уилсона – прошу любить и жаловать – мистер Бобби Джо Спенсер. Что же касается вот этого последнего джентльмена, я уверен, что вы без труда узнаете известного мистера Лоуэлла Ли Эндрюса».

Эрл Уилсон, негр, хриплым голосом поющий гимны, был приговорен к смерти за похищение, изнасилование и истязание молодой белой женщины; его жертва, хоть и осталась жива, была серьезно покалечена. Бобби Джо Спенсер, белый, женоподобный юнец, признался в убийстве пожилой женщины из Канзас-Сити, владелицы меблированных комнат, где он жил. До своего поражения на выборах в январе 1961 года, произошедшего во многом благодаря его отношению к смертной казни, губернатор Докинг изменил приговор обоим этим людям на пожизненное заключение, которое вообще-то подразумевало, что они имеют право просить об освобождении под залог через семь лет. Однако Бобби Джо Спенсер вскоре снова совершил убийство: пырнул «заточкой» другого молодого преступника, своего соперника на пути к сердцу старшего сокамерника (как сказал один из охранников, «две курочки не поделили петуха»). За это Спенсер был

вторично приговорен к пожизненному заключению. Но публика мало знала о Уилсоне или Спенсере; по сравнению с тем, сколько писали о Смите и Хикоче или пятом из смертников, Лоуэлл Ли Эндрюсе, пресса уделяла им мало внимания.

Два года назад Лоуэлл Ли Эндрюс, огромный подслеповатый мальчик восемнадцати лет, носивший очки в роговой оправе и весивший почти триста фунтов, учился на втором курсе Канзасского университета, на отделении биологии, и был прекрасным студентом. Хотя парень он был замкнутый и необщительный, те, кто его знал, как в университете, так и в родном городе Уолкотте, считали, что он исключительно кроткий и «благоденственный» (позже в одной из канзасских газет была статья о нем под заголовком: «Самый милый мальчик в Уолкотте»).

Но внутри тихого молодого ученого жил второй, не ведомый никому человек, с искривленной душой и извращенным сознанием, сквозь которое текли в направлении жестокости холодные мысли. Его семья – родители и сестра немногим старше его, Дженни Мэри, – были бы просто поражены, узнай они мечты, которые лелеял Лоуэлл Ли в течение лета и осени 1958 года; замечательный сын и обожаемый брат собирался всех их отравить.

Старший Эндрюс был преуспевающим фермером; у него не было большой суммы денег в банке, но была земля стоимостью приблизительно в двести тысяч долларов. Желание унаследовать это состояние и явилось якобы причиной, по которой Лоуэлл Ли замыслил известить своих близких. Ибо скрытый Лоуэлл Ли, тот, что таился внутри застенчивого благочестивого студента-биолога, представлял собой бессердечного преступного магната: он хотел носить шелковые рубашки как у гангстеров и раскатывать в алых спортивных машинах; он не хотел, чтобы его считали простым очкастым книжечем, толстым девственным школьником; и хотя он не питал ненависти ни к кому из своих домашних, по крайней мере осознанной, убийство их казалось ему самым быстрым, самым разумным способом осуществить владевшие им фантазии. В качестве орудия убийства он выбрал мышьяк; после того как жертвы будут отравлены, он хотел уложить их в постели и сжечь дом дотла, надеясь, что следователи поверят в несчастный случай. Однако его тревожила одна мысль: что если вскрытие покажет присутствие мышьяка? И что если удастся проследить, что именно он покупал яд? К концу лета он выработал другой план. На его шлифовку ушло три месяца. Наконец в один холодный ноябрьский вечер он решил, что пора действовать.

Это была неделя накануне Дня благодарения, и Лоуэлл Ли был дома на каникулах, как и его сестра Дженни Мэри, умненькая, но вполне обычная

девушка, которая училась в колледже в Оклахоме. Вечером 28 ноября, примерно в районе семи, Дженни Мэри сидела с родителями в комнате и смотрела телевизор; Лоуэлл Ли заперся в спальне и дочитывал последнюю главу «Братьев Карамазовых». Покончив с этим делом, он побрился, надел свой лучший костюм и принялся заряжать полуавтоматическую винтовку 22-го калибра и такого же калибра револьвер. Он положил револьвер в кобуру у бедра, взял винтовку в руки и прошел по коридору в комнату, где, кроме мерцающего экрана, не было никакого света. Он включил свет, навел винтовку, потянул за спусковой крючок и выстрелом в переносицу убил сестру наповал. Он выстрелил в мать три раза, в отца два. Мать, широко открыв глаза и протянув к нему руки, силилась подойти; она пыталась что-то сказать и приоткрыла рот, но Лоуэлл Ли сказал: «Заткнись». И чтобы уж она наверняка его послушалась, он выстрелил в нее еще три раза. Мистер Эндрюс, однако, был еще жив; рыдая и всхлипывая, он дополз до кухни, но на пороге кухни сын вытащил из кобуры револьвер и выпустил в него весь барабан, потом перезарядил и снова расстрелял все патроны; в общей сложности его отец получил семнадцать пуль.

Эндрюс, как говорилось в сделанном им признании, «ничего не почувствовал. Пришло время, и я сделал то, что я должен был сделать. Это все, что я могу сказать». Потом он поднял окно в спальне и снял с него сетку, потом стал ходить по дому и шарить по шкафам, производя как можно больший беспорядок: он хотел свалить вину за преступление на грабителей. Позже, сев за руль отцовской машины, он проехал по гололеду сорок миль до Лоренса, города, где расположен Канзасский университет; по пути он остановился на мосту, разобрал свой смертоносный арсенал и побросал в Канзас-Ривер. Но, само собой, истинная цель этой поездки состояла в том, чтобы обеспечить алиби. Сначала он остановился у себя в общежитии; поговорил с управляющей, сказал ей, что приехал за своей пишущей машинкой и что из-за плохой погоды поездка от Уолкотта до Лоренса заняла у него два часа. Потом он сходил в кинотеатр, где, против обыкновения, поболтал со швейцаром и продавцом леденцов. В одиннадцать, когда фильм закончился, он вернулся в Уолкотт. Его собака ждала у крыльца и скулила от голода, поэтому Лоуэлл Ли, войдя в дом и переступив через труп отца, налил в миску теплого молока и положил каши; потом, пока собака заглатывала пищу, он позвонил в офис шерифа и сказал: «Меня зовут Лоуэлл Ли Эндрюс. Я живу на Уолкотт-драйв, 6040 и хочу сообщить об ограблении...»

Четверо патрульных из офиса шерифа округа Уайандотт выехали на вызов. Один из них, полицейский Майерс, так описывал этот выезд: «Когда

мы приехали, был час ночи. В доме повсюду горел свет. И этот большой темноволосый мальчик, Лоуэлл Ли, сидел на крыльце и гладил своего пса. Трепал его по голове. Лейтенант Атей спросил мальчика, что случилось, и он, довольно небрежно указав на дверь, сказал: „Взгляните сами“. Взглянув, изумленные патрульные вызвали coronera округа, и этот джентльмен также был поражен черствой беспечностью молодого Эндрюса, поскольку на вопрос coronera, как бы он хотел организовать похороны, Эндрюс, пожав плечами, ответил: „Мне все равно, что вы с ними сделаете“.

Вскоре прибыли два старших детектива и стали расспрашивать единственного уцелевшего члена семьи. Хотя они и не сомневались в том, что он лжет, но с уважением выслушали его рассказ о том, как он ездил в Лоренс, чтобы забрать пишущую машинку, сходил в кино и, вернувшись домой после полуночи, обнаружил, что вся квартира перевернута, а его родные убиты. Он не отступал от этой истории и мог никогда ее не изменить, если бы, после того как его арестовали и поместили в окружную тюрьму, на помощь властям не пришел преподобный мистер Вирто К. Дэймерон.

Преподобный Дэймерон, типичный диккенсовский персонаж, елейный и веселый, пламенный оратор, был священником баптистской церкви в Канзас-Сити, штат Канзас. Эту церковь регулярно посещали Эндрюсы. Разбуженный срочным звонком окружного coronera, Дэймерон около трех ночи приехал в тюрьму, после чего детективы, напряженно, но безрезультатно допрашивавшие подозреваемого, вышли в другую комнату, оставив священника наедине с прихожанином. Эта встреча оказалась роковой, судя по тому, как сам прихожанин спустя несколько месяцев описывал ее в письме к другу: «Мистер Дэймерон сказал: „Вот что, Ли, я знаю тебя всю твою жизнь. Еще с тех пор, как ты был просто головастиком. И твоего папу я знал всю жизнь, мы вместе выросли, мы были друзья детства. И именно поэтому я здесь – не только потому, что я твой пастор, но и потому, что считаю тебя членом своей семьи. И потому, что тебе нужен друг, которому ты смог бы все рассказать без утайки, а я просто сам не свой из-за всего случившегося и не меньше тебя горю желанием увидеть преступников на скамье подсудимых“.

Он спросил, не хочу ли я пить, и дал мне «кока-колы». Мы заговорили о каникулах и о том, как я люблю учиться, как вдруг он говорит: „Вот что, Ли, там кое-кто сомневается в твоей невинности. Я уверен, что ты захочешь пройти испытание на детекторе лжи и убедить этих людей в своей непричастности, чтобы они могли заняться делом и поймать

виновных". Потом он сказал: „Ли, ведь ты не совершал этого ужасного преступления, правда? Если же это совершил ты, то пришло время очистить свою душу". Тогда я подумал, какая мне разница, и сказал ему правду, практически все подробности. Он все качал головой, закатывал глаза и потирал руки, а потом сказал, что это страшный грех и я должен ответить за это перед Всевышним, должен покаяться, сказать следователям то, что рассказал ему, и спросил, согласен ли я?»

Получив согласный кивок, духовный наставник заключенного прошел в смежную комнату, в которой толпились нетерпеливо ожидающие полицейские, и с торжеством в голосе сказал им: «Заходите. Мальчик готов сделать заявление».

Случай Эндрюса послужил поводом для юридического и медицинского крестового похода. До суда, на котором Эндрюс был объявлен невиновным по причине безумия, психиатры клиники Меннингера провели доскональную экспертизу обвиняемого и поставили диагноз «шизофрения простого типа». «Простым» этот тип назывался потому, что у Эндрюса не было никаких заблуждений, никаких ложных ощущений, никаких галлюцинаций, а только первичное отделение разума от чувства. Он понимал природу своих действий, понимал, что они незаконны и что его ждет за них кара. «Но, – как сказал доктор Джозеф Саттен, один из экспертов, – Лоуэлл Ли Эндрюс не испытывал никаких эмоций вообще. Он считал себя единственным важным и значительным человеком в мире. И в его собственном изолированном мире убить мать ему казалось столь же правильным, как убить животное или муху».

По мнению доктора Саттена и его коллег, преступление Эндрюса являло собой столь бесспорный случай снижения ответственности, что им невозможно было пренебречь и не бросить вызов правилу М'нотена в судах Канзаса. Правило М'нотена, как уже было сказано выше, утверждает, что речь не может идти о безумии, если ответчик способен отличить дурное от доброго – в юридическом, а не нравственном смысле. К большому горю психиатров и либеральных юристов, это правило преобладает в судах Британского Содружества и Соединенных Штатов, во всех, кроме судов полудюжины штатов и округа Колумбия, где придерживаются более снисходительного, хотя и менее практичного, по мнению многих, правила Дарэма, которое заключается в том, что обвиняемый не может нести ответственность за преступление, если его противозаконные действия были совершены в результате болезни или дефекта мозга.

Короче говоря, защитники Эндрюса, команда, состоявшая из психиатров клиники Меннингера и двух первоклассных адвокатов,

надеялись взять эту юридическую высоту. Необходимо было убедить суд заменить правило М'нотена на правило Дарэма. Если бы это удалось, то Эндрюс, благодаря более чем достаточным свидетельствам о его шизофреническом состоянии, был бы приговорен не к виселице и даже не к тюрьме, а к заключению в больнице для душевнобольных преступников.

Однако в числе защитников не было духовного защитника ответчика, неумолимого преподобного мистера Дэймерона, который явился на суд в качестве главного свидетеля обвинения и в вычурной, близкой к стилю рококо манере сектанта поведал суду, что он часто предупреждал бывшего ученика воскресной школы о том, что гнев Господа неотвратим: «Я говорю, что нет в этом мире ничего, что стоило бы дороже твоей души, и ты неоднократно в наших беседах подтверждал, что вера твоя слаба, что ты не веруешь в Бога. Ты знаешь, что всякий грех противен Богу, а Бог твой высший судия, и ты должен ответить за свои прегрешения. Так я ему сказал, чтобы заставить его почувствовать, сколь чудовищны его деяния и что ему придется держать за них ответ перед Господом».

Очевидно, преподобный Дэймерон твердо считал, что молодой Эндрюс должен ответить не только перед Всевышним, но также и перед временными его представителями, поскольку именно его свидетельские показания вкупе с признанием ответчика решили исход дела. Судья оказал предпочтение правилу М'нотена, и присяжные дали штату то, чего он хотел, – смертный приговор.

Пятница, 13 мая – первая дата, на которую назначили казнь Смита и Хикока, – миновала безболезненно. Верховный суд штата Канзас предоставил им отсрочку в ожидании результатов прошения о пересмотре дела, поданного их адвокатами. В то же самое время в том же суде пересматривался приговор Эндрюсу.

Камера Перри примыкала к камере Дика; хотя они не могли друг друга видеть, они легко могли переговариваться, и все же Перри редко говорил с Диком, и не из-за того, что между ними была какая-то вражда (после обмена несколькими прохладными упреками между ними установились отношения взаимной терпимости; взаимоприятие сиамских близнецов). Это происходило потому, что Перри, как всегда осторожный, скрытный и подозрительный, ненавидел, когда подслушивают его частные разговоры – особенно Эндрюс, или Энди, как его звали собратья по несчастью. Грамотная речь Эндрюса и внешнее впечатление от его отточенного учением интеллекта были анафемой Перри, который, хоть и не продвинулся дальше третьего класса, воображал себя более образованным,

чем большинство его знакомых, и любил поправлять их, особенно грамматику и произношение. Но внезапно нашелся человек – «просто мальчишка!» – который то и дело поправлял его самого. Удивительно ли, что он никогда не раскрывал рта? Лучше держать рот на замке, чем услышать от какого-то сопливого студента заявление типа: «Не надо говорить безынтeресный. Ты имел в виду – неинтересный». Эндрюс говорил это из лучших побуждений, безо всякого злого умысла, но Перри готов был сварить его в масле, и все же он никогда бы в этом не признался, никогда бы не позволил никому строить предположения о том, почему после одного из таких оскорбительных инцидентов он сидел и дулся, отказывался от еды, которую приносили три раза в день. В начале июня он вообще перестал есть, сказал Дик: «Ты можешь дожидаться веревки. А я не таков», и с этого момента отказался прикасаться к пище и воде или разговаривать с кем бы то ни было.

Прошло пять дней, прежде чем начальник принял это всерьез. На шестой день он приказал перевести Смита в тюремную больницу, но это не уменьшило решимости Перри; когда его пытались кормить силой, он сопротивлялся, мотал головой и сжимал челюсти, так что они делались тверже подковы. В конце концов его пришлось связать и кормить внутривенно или через трубку, вставленную в ноздрю. Даже при этом за следующие девять недель вес его упал со 168 фунтов до 115, и начальник тюрьмы был поставлен в известность, что одним принудительным кормлением жизнь пациента не удастся поддерживать долго.

Дик хотя и отдавал должное силе воли Перри, не верил, что его цель самоубийство; даже когда он слышал, что Перри лежит в коме, он сказал Эндрюсу, с которым они подружились, что его прежний сообщник притворяется. «Он просто хочет, чтобы его считали за психа».

Эндрюс, маниакальный обжора (он заполнил альбом для вырезок картинками с едой, начиная от земляничного торта и заканчивая жареным поросенком), сказал:

– Возможно, он и есть псих. Так морить себя голодом...

– Он просто хочет отсюда выйти. Все это притворство. Ради того, чтобы подумали, что он псих, и положили его в психушку.

Дик позже любил цитировать ответ Эндрюса, потому что он казался ему прекрасным образцом «забавного мышления» мальчика, его «неземного» самодовольства.

– Что ж, – будто бы сказал Эндрюс, – мне это совершенно непонятно. Морить себя голодом. Ведь рано или поздно мы все отсюда выйдем. Либо выйдем сами – либо нас вынесут в гробу. Мне лично все равно, выйду ли я

или меня вынесут. В конце концов, это одно и то же.

Дик сказал:

– Твоя беда в том, Энди, что ты не испытываешь никакого уважения к человеческой жизни. Включая свою собственную.

Эндрюс согласился.

– И, – сказал он, – я тебе больше скажу. Если я когда-нибудь выйду отсюда живым, я имею в виду, выйду на волю, – возможно, никто не будет знать, куда Энди направился, но все будут точно знать, где Энди успел побывать.

Все лето Перри колебался между полусознательным оцепенением и болезненным, пропитанным потом сном. В голове его ревели голоса; один голос постоянно спрашивал его: «Где Иисус? Где?» И однажды он проснулся с криком: «Птица Иисус! Птица Иисус!» Его любимая старая театральная фантазия, та, в которой он был «Перри О'Парсон, человек-оркестр», возвращалась в дымке непрекращающегося сна. Во сне дело происходило в ночном клубе в Лас-Вегасе, где он в белом цилиндре и белом смокинге прохаживался по освещенной цветными прожекторами сцене и по очереди играл на губной гармонике, гитаре, банджо, барабанах, пел «Ты мое солнце» и отбивал чечетку на короткой лесенке с позолоченными ступенями; на самой верхней ступеньке он останавливался и кланялся. Не было никаких аплодисментов, ни одного хлопка, и все же тысячи зрителей заполняли огромную и безвкусно обставленную комнату – странная аудитория, главным образом мужчины и главным образом негры. Глядя на них, взмокший артист наконец понял их молчание, внезапно догадавшись, что они фантомы, призраки законно уничтоженных, повешенных, удушенных газом, казненных на электрическом стуле, – и в тот же самый момент он понял, что должен присоединиться к ним, что позолоченные ступени вели на эшафот и что верхняя, на которой он стоял, проваливается под ним. Цилиндр его слетает; мочась и испражняясь, Перри О'Парсон падает в вечность.

Однажды в полдень он убежал от сна и, очнувшись, увидел возле своей постели начальника тюрьмы. Начальник сказал:

– Кажется, тебе приснился кошмар? – Но Перри ему не ответил, и начальник, который несколько раз приходил в больницу и пытался убедить заключенного прекратить голодовку, сказал: – У меня для тебя кое-что есть. От твоего отца. Я подумал, что ты захочешь это увидеть.

Перри, глаза которого лихорадочно блестели на почти фосфоресцирующе бледном лице, смотрел в потолок; непрошенный посетитель положил открытку на столик у кровати пациента и вышел.

В ту ночь Перри посмотрел открытку. Она была адресована начальнику тюрьмы, и на ней был штемпель Блу-Лэйка, штат Калифорния; в строках, написанных знакомым убористым почерком, говорилось: «Уважаемый господин, я так понимаю, что мой мальчик Перри снова у вас. Напишите мне, пожалуйста, что он натворил и могу ли я его увидеть, если приеду. У меня все хорошо, чего и вам желаю. Текс Дж. Смит». Перри разорвал открытку, но она сохранилась в его мозгу, ибо эти незамысловатые строки возродили его эмоции, вернули любовь и ненависть и напомнили ему, что он все еще тот, кем изо всех сил старается не быть – живой человек. «И тогда я решил, – писал он позже другу, – что должен оставаться живым. Всякий, кто захочет отнять у меня жизнь, больше от меня помощи не получит. Ему придется со мной побороться».

На следующее утро он попросил стакан молока, первый хлеб насущный, который он захотел вкусить за четырнадцать недель. Постепенно, на диете из гоголь-моголя и апельсинового сока, он восстановил вес; к октябрю тюремный врач, доктор Роберт Мур, счел его достаточно сильным, чтобы он мог вернуться в камеру. Когда его привели, Дик засмеялся и сказал: «Добро пожаловать домой, дружок».

Прошло два года.

С уходом Уилсона и Спенсера Смит, Хикок и Эндрюс остались одни среди закрытых окон и постоянно горящих ламп. Привилегии, предоставлявшиеся обычным заключенным, были им недоступны; ни радио, ни карт, ни даже прогулок – им никогда не позволяли выходить из камер, кроме как в душ по субботам, когда выдавали чистую одежду; единственными исключениями были редкие и краткие минуты посещения адвокатов или родственников. Миссис Хикок приезжала раз в месяц; ее муж умер, она потеряла ферму и, как она сказала Дику, жила теперь то у одних родственников, то у других.

Перри казалось, будто он живет глубоко под водой, – возможно потому, что в камере обычно было так же серо и тихо, как в океанских глубинах, и, кроме храпа, кашля, шарканья тапочек и хлопанья крыльев испугнутых голубей, не было никаких звуков. Но не всегда. «Иногда, – писал Дик своей матери, – здесь невозможно слышать собственные мысли. В камеры на нижнем этаже, который называют Дырой, приводят новеньких, и многие из них дерутся как ненормальные и орут. Сплошные вопли и ругательства. Это невыносимо, и все начинают вопить, чтобы они заткнулись. Хорошо бы ты мне прислала затычки в уши. Только мне бы их все равно не дали. Злодею покой не полагается».

Маленькому зданию было уже за сто лет, и сезонные изменения выявляли различные признаки его древности: зимой каменные стены пропитывал холод, а летом, когда температура часто поднималась выше ста градусов по Фаренгейту, старые камеры превращались в зловонные котлы. «Так жарко, что вся кожа горит, – писал Дик в письме, датированном 5 июля 1961 года. – Стараюсь поменьше двигаться. Просто сижу на полу. Моя кровать вся пропиталась потом и воняет так, что меня тошнит, из-за того, что моемся мы раз в неделю и всегда ходим в одной и той же одежде. Никакой вентиляции нет и в помине, а от лампочки кажется, что еще жарче. Жуки все время бьются о стены».

В отличие от обычных заключенных, осужденные на смерть не должны работать; они могут располагать своим временем как им вздумается – спать день напролет, как часто делал Перри («я притворяюсь, что я маленький-маленький младенец, который не может лежать с открытыми глазами»); или, как Эндрюс, читать всю ночь. Эндрюс прочитывал в среднем от пятнадцати до двадцати книг в неделю; он любил и барахло, и высокую поэзию, особенно Роберта Фроста; но он также восхищался Уитменом, Эмили Дикинсон и комическими поэмами Огдена Нэша. Хотя его неугасимая литературная жажда скоро исчерпала полки тюремной библиотеки, тюремный священник и другие сочувствующие снабжали Эндрюса посылками из публичной библиотеки Канзас-Сити.

Дик тоже заделался книжным червем; но его интерес был ограничен двумя темами – секс, как в романах Харолда Роббинса и Ирвинга Уоллеса (Перри, после того как Дик дал ему одну такую книгу, вернул ее с возмущенной пометкой: «дегенеративная грязь для грязных дегенератов!»), и юридическая литература. Он часами штудировал книги по праву, накапливая знания, которые, как он надеялся, помогут изменить его приговор. Также для этой цели он обстреливал залпами писем такие организации, как Американский союз гражданских свобод и Канзасская ассоциация юристов, – письмами, где он клеймил суд как «пародию на справедливый процесс» и убеждал получателей помочь ему добиться пересмотра дела. Ему удалось склонить Перри к написанию подобных прошений, но когда Дик предложил Энди последовать их примеру и заявить протест, Эндрюс ответил: «Займись о своей шее, а о своей я и сам позабочусь» (на самом деле из всех частей тела Дика больше всего волновала не шея. «Волосы лезут пучками, – жаловался он матери в другом письме. – Я в ужасе. В нашей семье, насколько я помню, никто лысым не был, и мысль о том, что я становлюсь старым лысым уродом, приводит меня в ужас»).

Двое ночных охранников, придя на работу осенним вечером 1961 года, принесли новость.

– Ну, – объявил один из них, – похоже, мальчишки, скоро у вас появится компания. – Значение этой фразы заключенным было ясно: имелось в виду, что два молодых солдата, которых судили за убийство канзасского железнодорожника, получили смертный приговор. – Да, сэр, – подтвердил охранник, – им назначили смертную казнь.

Дик сказал:

– Не сомневался в этом. В Канзасе такое наказание очень популярно. Присяжные раздают смертные приговоры словно леденцы на палочке.

Одному из солдат, Джорджу Рональду Йорку, было восемнадцать; его товарищ, Джеймс Дуглас Латам, был на год старше. Оба были исключительно красивы, чем объясняется тот факт, что на суд пришли толпы девиц подросткового возраста. Хотя осудили их за одно убийство, они заявили, что во время своего веселого турне по стране убили семерых.

Ронни Йорк, голубоглазый блондин, родился и вырос во Флориде, где его отец был известным, хорошо оплачиваемым глубоководным водолазом. Йорки вели приятную и уютную жизнь, которая вся была сосредоточена вокруг Ронни, обожаемого и захваливаемого родителями и младшей сестрой. Жизнь Латама была, напротив, такой же суровой и полной лишений, как у Перри Смита. Он родился в Техасе и был самым младшим ребенком плодовитых, безденежных, вечно скандалящих родителей, которые, когда наконец разошлись, бросили своих отпрысков на произвол судьбы, свободных и никому не нужных, словно попрошайничающее перекати-поле. В семнадцать лет Латам поступил на военную службу, чтобы иметь кров над головой; через два года за самовольную отлучку он был посажен в лагерь в Форт-Худе, штат Техас. Там он познакомился с Ронни Йорком, который тоже сидел за самоволку. Хотя они были очень разные – даже физически, Йорк был высокий и флегматичный, а техасец был маленького роста, с лисьими карими глазами, оживляющими симпатичное маленькое личико, – в одном они сошлись полностью: мир мерзок, и всем, кто в нем живет, лучше умереть. «Этот мир прогнил, – сказал Латам, – и на это можно ответить только подлостью. Все понимают только одно – подлость. Спали человеку сарай – он это поймет. Отрави его собаку. Убей его».

Ронни сказал, что Латам прав на все сто, и добавил: «В любом случае, если ты кого убьешь, ты тому окажешь большую услугу».

Первыми, кому они решили оказать услугу, были две женщины из Джорджии, уважаемые домохозяйки, которые на свою беду

повстречались на пути Йорку и Латаму вскоре после того, как смертоносная пара убежала из лагеря в Форт-Худе, украла пикап и отправилась в Джэксонвилл, родной город Йорка. Столкновение произошло на автозаправке в темных предместьях Джэксонвилла в ночь 29 мая 1961 года. Сначала дезертиры собирались посетить семью Йорка; но по приезде в город Йорк решил, что было бы неблагоприятно обращаться к родителям, потому что отец его порой проявлял весьма жесткий характер. Друзья обсудили это и, остановившись на заправке, пришли к мысли поехать в Новый Орлеан. Рядом с ними заправлялся другой автомобиль; две пышнотелых будущих жертвы, проведя весь день в магазинах Джэксонвилла, возвращались домой в маленький городок на границе между Флоридой и Джорджией. Увы, они сбились с дороги. Йорк, которого они спросили, как им ехать, был сама любезность: «Вы просто следуйте за нами. Мы вас выведем на верную дорогу». Но дорога, к которой он их вывел, на самом деле была далеко не верной: узкая просека, ведущая в болото. Однако леди простодушно следовали за ведущим автомобилем и вдруг увидели в свете фар, что любезные молодые люди приближаются к ним пешком, а потом, слишком поздно, разглядели, что в руках у них черные пастушьи бичи. Бичи принадлежали законному хозяину угнанного грузовика, пастуху; это Латаму пришла в голову мысль использовать их в качестве удавки – что они и сделали, предварительно ограбив женщин. В Новом Орлеане мальчики купили пистолет и поставили на рукоятке две метки.

В течение следующих десяти дней к этим меткам прибавились новые. В Таллахоме, штат Теннесси, они приобрели новенький красный «додж», застрелив его владельца, коммивояжера; а в Иллинойсе, пригороде Сент-Луиса, убили еще двоих человек. Канзасской жертвой, которая следовала за пятью предыдущими, был дед; его звали Отто Зиглер. Это был шестидесятидвухлетний здоровый, приветливый старик... из тех, что не проедут мимо застрявших на дороге автомобилистов, а обязательно предложат свою помощь. Одним прекрасным июньским утром мистер Зиглер, проезжая по шоссе, заметил на обочине красный «додж» с поднятым капотом, в моторе копались два приятных молодых человека. Откуда добрейшему мистеру Зиглеру было знать, что с машиной все в порядке – что это лишь уловка для того, чтобы ограбить и убить потенциального самаритянина? Его последними словами были: «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Йорк с двадцати шагов всадил пулю в череп старика, повернулся к Латаму и спросил: «Недурной выстрел, а?»

Последняя их жертва была самой трагической. Это была девчонка

восемнадцать лет; она служила горничной в мотеле в Колорадо, где двое разбойников провели ночь, во время которой девушка позволила им заняться с ней любовью. После этого они сказали ей, что едут в Калифорнию, и предложили поехать с ними.

– Давай, – уговаривал ее Латам, – вдруг мы все станем кинозвездами.

Девушка и ее торопливо уложенные чемоданы окончили свой век на дне ущелья неподалеку от Крейга, штат Колорадо; но прошло не так уж много времени после того, как она была застрелена и сброшена со скалы, и ее убийцам действительно пришлось оказаться перед кинокамерой.

Описания пассажиров красного автомобиля, данное свидетелями, заметившими их поблизости от того места, где было найдено тело Отто Зиглера, были розданы полицейским всего Среднего Запада и западных штатов. На дорогах были установлены блок-посты, шоссе патрулировали с вертолетов; Йорка и Латама задержал блок-пост в Юте. Позже, в штабе полиции Солт-Лейк-Сити, местная телекомпания взяла у них интервью: если его смотреть без звука, можно подумать, что два веселых, розовощеких атлета обсуждают хоккей или бейсбол – что угодно, только не убийства и не собственную роль в смерти семи человек, в чем они хвастливо признались.

– Почему, – спросил их репортер, – почему вы все это делали?

И Йорк с самодовольной усмешкой ответил: «Мы ненавидим мир».

Все пять штатов, соперничавших за право судить Йорка и Латама, поддерживают смертную казнь: Флорида (электрический стул), Теннесси (электрический стул), Иллинойс (электрический стул), Канзас (повешение) и Колорадо (газовая камера). Но из-за того, что у Канзаса было больше всего доказательств, он в этом споре победил.

Смертники впервые увидели своих новых компаньонов 2 ноября 1961 года. Охранник, сопровождавший их в камеры, представил их: «Мистер Йорк, мистер Латам, позвольте вам представить мистера Смита. Мистер Хикок. И мистер Лоуэлл Ли Эндрюс, „самый милый мальчик в Уолкотте!“».

Когда парад прошел мимо, Хикок услышал, что Эндрюс хихикает, и спросил:

– Что смешного в этих подонках?

– Ничего, – сказал Эндрюс. – Я только подумал: если сложить трех моих и четверо ваших да семь их, получится, что всего их четырнадцать, а нас пять. Они хотят поставить знак равенства между пятью и четырнадцатью...

– *Четырьмя* и четырнадцатью, – коротко поправил Хикок, – здесь всего четыре убийцы и один напрасно осужденный. Я не убийца, черт бы

вас побрал. Я никогда не уронил даже волоса с чьей-нибудь головы.

Хикок продолжал писать письма, протестуя против осуждения, и одно из них наконец дало плоды. Получатель, Эверетт Стирман, председатель комитета правовой поддержки Канзасской ассоциации юристов, был встревожен заявлением отправителя, который упорно утверждал, что его и его сообщника судили не по справедливости. По словам Хикока, «атмосфера враждебности» в Гарден-Сити привела к тому, что присяжные не могли не быть предубеждены, и поэтому суд должен быть проведен повторно в другом месте. Что касается присяжных заседателей, которых выбрали в жюри, то по крайней мере двое из них ясно указали, что считают нас виновными, еще во время предварительной проверки (когда одного из них спрашивали, каково его мнение о высшей мере наказания, он сказал, что обычно он против смертной казни, однако не в данном случае); к сожалению, протокола предварительной проверки допустимости присяжных не существует, потому что закон штата Канзас не требует этого, если не было сделано особого запроса. Многие из присяжных заседателей, кроме того, были «хорошо знакомы с убитыми. Как и сам судья. Судья Тэйт был близким другом мистера Клаттера».

Но самым яростным нападкам Хикок подверг двух защитников, Артура Флеминга и Гаррисона Смита, чьи «некомпетентность и непрофессионализм» явились главной причиной того тяжелого положения, в котором оказались обвиняемые, поскольку они не предлагали и не разработали никакой настоящей защиты, и подразумевалось, что такая нерадивость была преднамеренной – сговор между защитой и обвинением.

Это были серьезные обвинения, бросающие тень на честь двух уважаемых адвокатов и выдающегося окружного судьи, но если даже это было верно лишь отчасти, все равно конституционные права ответчиков были нарушены. По инициативе мистера Стирмана Канзасская ассоциация юристов предприняла шаги, беспрецедентные для юридической истории Канзаса: она поручила молодому адвокату из Уичито, Расселу Шульцу, разобрать эти жалобы и, если их обоснованность подтвердится, оспорить законность осуждения, приведя заключенных на слушание дела в Верховном суде Канзаса, который недавно поддержал приговор.

Казалось бы, расследование Шульца было довольно одностороннее, так как состояло оно в основном из бесед со Смитом и Хикоком, после которых адвокат сказал прессе: «Вопрос поставлен так – имеют ли явно виновные, но не имеющие средств ответчики право на нормальную защиту? Я не думаю, что Канзас будет сильно или надолго поражен

смертью этих апеллянтов. Но я не думаю также, что Канзас когда-нибудь оправится после смерти судебного процесса, проведенного с соблюдением всех требований законности».

Шульц зарегистрировал ходатайство habeas corpus, и Верховный суд Канзаса уполномочил одного из своих собственных юристов, почтенного Уолтера Г. Тила, провести новое слушание в полном масштабе. Так и получилось, что спустя почти два года после суда все действующие лица вновь собрались в зале суда в Гарден-Сити. Единственные, кого не хватало из старых участников, – это сами ответчики; на их месте стояли судья Тэйт, старый мистер Флеминг и Гаррисон Смит, чья карьера была под угрозой – не из-за самих жалоб, а из-за того, что Ассоциация юристов могла им поверить. Слушание, которое по одному пункту было перенесено в Лансинг, где судья Тил выслушал показания Смита и Хикока, заняло шесть дней; в конечном итоге все пункты были закрыты. Восемь присяжных заседателей поклялись, что они никогда не знали никого из членов семьи Клаттеров; четверо признались, что были поверхностно знакомы с мистером Клаттером, но все, включая Н.Л. Дуннана, авиадиспетчера, который во время предварительной проверки дал спорный ответ, заявили, что были беспристрастны в момент, когда приступили к своим обязанностям. Шульц бросил Дуннана вызов: «Как вы считаете, сэр, хотели бы вы, чтобы вас судили присяжные с таким настроением, какой был в тот момент у вас?» Дуннан ответил: «Да»; тогда Шульц задал вопрос:

– Помните ли вы, как вас спросили, как вы относитесь к смертной казни?

Свидетель, кивнув, ответил:

– Я сказал, что при нормальных условиях я был бы против. Но учитывая размеры преступления, я мог проголосовать и «за».

Подловить Тэйта было куда труднее: Шульц по когтям понял, что перед ним лев. Отвечая на вопросы о его предполагаемой дружбе с мистером Клаттером, судья сказал:

– Он [Клаттер] однажды был истцом в этом суде, по делу, которое я разбирал, о причинении ущерба самолетом, упавшим на его территорию; он предъявлял иск о возмещении убытков – насколько я помню, речь шла о плодовых деревьях. Кроме этого случая, я ни разу не пересекался с ним. Никаким образом. Я видел его, может быть, раз или два за год...

Шульц, теряя почву под ногами, сменил тему.

– Известно ли вам, – спросил он, – каким было настроение общественности после задержания этих людей?

– Думаю, да, – ответил ему судья с уничтожающей уверенностью. – По-моему, отношение к ним было такое же, как ко всякому преступнику, – люди считали, что их следует судить в соответствии с законом; что, если они виновны, им должен быть вынесен приговор; что с ними следует обращаться так же справедливо, как с любым другим человеком. Не было никакого предубеждения против них из-за того, что они обвинялись в преступлении.

– Вы хотите сказать, – хитро прищурился Шульц, – что вы не видели никаких причин перенести заседания суда в другой город?

Губы Тэйта искривились, глаза засверкали.

– Мистер Шульц, – сказал он так, словно издал протяжное шипение, – суд не может по собственной инициативе перенести место заседаний. Это противоречит закону штата Канзас. Я не мог изменить его самовольно, если не было соответствующего требования.

Но почему этого требования не выдвинул никто из защитников? Шульц задал этот вопрос им самим, поскольку, по мнению адвоката из Уичито, главной целью слушания было дискредитировать их и доказать, что они не обеспечили своим клиентам даже минимальной защиты. Флеминг и Смит противостояли нападению в хорошем стиле, особенно Флеминг, который, в вызывающем красном галстуке и с твердой улыбкой на лице, осадил Шульца сугубо по-джентльменски. Объясняя, почему он не просил об изменении места судебных заседаний, он сказал:

– Я посчитал, что раз преподобный Коуэн, священник методистской церкви и всеми почитаемый человек, занимающий в нашем обществе высокое положение, так же как и многие другие местные священники, высказался против высшей меры наказания, то заседания по крайней мере будут проходить в городе, где наибольшее по сравнению с другими областями количество людей склонялось к мысли о том, что в вопросе наказания нужно проявить снисхождение. К тому же брат миссис Клаттер выступил в печати с заявлением, что он не считает, что ответчиков нужно карать смертной казнью.

У Шульца было множество замечаний, но в основе их все же лежало предположение, что из-за давления общественного мнения Флеминг и Смит сознательно пренебрегали своими обязанностями. Оба они, настаивал Шульц, предали интересы своих клиентов, недостаточно с ними консультировались (мистер Флеминг ответил: «В этом деле я старался больше, чем когда-либо, и уделял ему гораздо больше времени, чем всем другим делам»); отказались от предварительного слушания (Смит ответил: «Но, сэр, ни я, ни мистер Флеминг тогда еще не были назначены

защитниками подсудимых»), делали заявления для печати, которые повредили ответчикам (Шульц Смит: «Известно ли вам, что репортер Рон Кулл из топикской газеты „Дэйли кэпитал“ цитировал ваши слова, сказанные во второй день судебного заседания, о том, что у вас нет сомнения в виновности мистера Хикока и вас интересует только одно – как добиться вынесения приговора о пожизненном заключении вместо смертной казни?» Смит Шульцу: «Нет, сэр, если там было сказано, что это мои слова, значит, там сказано неверно»); и, наконец, не сумели обеспечить надлежащую защиту.

На это последнее суждение Шульц особенно упирал; уместно привести заключение по этому вопросу, данное тремя федеральными судьями в результате последующего обращения к Апелляционному суду США по десятому судебному округу: «Мы считаем, что юрист, рассматривающий ситуацию ретроспективно, упустил из виду проблемы, которые стояли перед адвокатами Смитом и Флемингом, когда они выступали защитниками апеллянтов. Когда они принимали назначения, оба апелланта подписали признания, и в тот момент они не утверждали, как не утверждали и после, что эти признания были получены под давлением. Приемник, взятый из дома Клаттеров и проданный апеллантами в Мехико, был представлен суду, и адвокатам были известны еще и другие доказательства вины их подзащитных. Когда подсудимым предложили ответить на выдвинутые против них обвинения, они промолчали, хотя им необходимо было заявить о своей невиновности. В тот момент у следствия не было никаких существенных доказательств их вины и не было необходимости с самого начала судебного процесса строить защиту на основе невменяемости. Попытка построить защиту на невменяемости вследствие серьезных повреждений, полученных несколько лет назад при несчастных случаях, на головных болях и периодических помрачениях рассудка Хикока была подобна хватанию за пресловутую соломинку. Адвокаты столкнулись с ситуацией, когда возмутительные преступления были совершены в отношении невинных людей. При этих обстоятельствах можно оправдать их заявления о том, что они не сомневаются в виновности своих подзащитных и рассчитывают только на милосердие суда. Им оставалось надеяться лишь на неожиданный поворот судьбы, который спас бы жизнь этим заблудшим душам».

В отчете, который судья Тил подал Верховному суду штата Канзас, он указывал, что апеллянты получили справедливый конституционный суд, посему суд отказал в пересмотре приговора и установил новую дату казни – 25 октября 1962 года. Так случилось, что Лоуэлл Ли Эндрюс, чье дело

дважды было пересмотрено в Верховном суде Соединенных Штатов, должен был быть повешен на месяц позже.

Убийцы Клаттеров, получив отсрочку у федерального судьи, избежали назначенной даты. Эндрюс остался при своей.

Когда преступника приговаривают к высшей мере наказания, между вынесением приговора и приведением его в исполнение проходит в среднем семнадцать месяцев. Недавно в Техасе вооруженного грабителя казнили на электрическом стуле через месяц после суда; а в Луизиане на тот момент, когда писались эти строки, двое насильников ожидали своего часа уже двенадцать лет. Срок мало зависит от удачи, зато сильно зависит от хода процесса. Большинство адвокатов, ведущих подобные дела, назначаются судом и работают без гонорара; но суды довольно часто, дабы избежать апелляций, основанных на упреках в неадекватном представительстве, назначают в таких случаях юристов высшей пробы, которые защищают обвиняемых с похвальной энергией. Однако даже не самый талантливый адвокат может год за годом отодвигать судный день, ибо система апелляций, поставившая американскую юриспруденцию в зависимость от правового колеса Фортуны, игры случая, благосклонного к преступнику, такова, что игра не прекращается до самого конца, сначала в государственных судах, затем в федеральных судах, вплоть до высшего трибунала – Верховного суда США. Но даже поражение не имеет большого значения, коль скоро адвокат заключенного обнаружит или изобретет новое основание для апелляции; обычно это удается, и колесо вновь начинает вертеться и вертится иногда до тех пор, пока, порой спустя несколько лет, заключенный вновь не предстанет перед высшим судом страны, вероятно, лишь для того, чтобы снова начать медленное жестокое состязание. Но в перерывах колесо останавливается, и можно объявить победителя – или, хотя уже все реже, проигравшего: адвокаты Эндрюса боролись до последнего, но их клиент взошел на виселицу в пятницу, 30 ноября 1962 года.

– Ночь была холодная, – сказал Хикок в беседе с журналистом, с которым он вел переписку и которому периодически разрешали его навестить. – Холодная и сырая. Дождь лил как из ведра, и на бейсбольном поле грязь была до *sojones*⁴. Поэтому, когда Энди повели к складу, им пришлось идти по дорожке. Мы все смотрели в окна – Перри, я, Ронни Йорк и Джимми Латам. Это было сразу после полуночи, и склад был освещен, словно тыква на Хэллоуин. Двери распахнуты настежь. Мы видели зрителей, охрану, доктора и начальника тюрьмы – все, что только

можно, кроме виселицы. Она была за углом, но нам была видна ее тень. Тень на стене, словно тень боксерского ринга.

Священник и четверо охранников сопровождали Энди и на секунду остановились возле самой двери склада. Энди смотрел на виселицу – это просто чувствовалось. Руки у него были связаны спереди. Вдруг священник приблизился к Энди и снял с него очки. Без них у Энди стал какой-то жалостный вид. Его провели внутрь, и я подумал, как же он ступеньки-то увидит? Стояла тишина, только собака все лаяла. Какая-то городская собака. Потом мы услышали звук, и Джимми Латам спросил: «Что это?»; и я ему сказал, что это люк.

Потом снова стало совсем тихо. Только собаку слышно. Старина Энди долго трепыхался. Им, наверное, потом много пришлось убираться. Каждые несколько минут доктор выходил за дверь и стоял там со своим стетоскопом в руке. Я бы не сказал, что ему его работа была по душе – он хватал ртом воздух, словно задыхался, и плакал. Джимми сказал: «Проняло красавчика». Я думаю, он выходил, чтобы никто не видел, что он плачет. Потом он возвращался и слушал, остановилось ли у Энди сердце. Похоже было, что оно не остановится никогда. На самом деле оно продолжало биться девятнадцать минут.

Энди был забавный мальчик, – сказал Хикок, криво усмехаясь с сигаретой в зубах. – Он, как я ему и говорил, совершенно не уважал человеческую жизнь, даже свою собственную. Прямо перед тем, как его повесили, он съел двух жареных цыплят. А еще днем курил сигары, пил «коку» и писал стихи. Когда за ним пришли и мы стали прощаться, я сказал: «Скоро увидимся, Энди. Уверен, что мы попадем в одно и то же место. Так что разведай, что к чему, и поищи для нас местечко попрохладнее». Он засмеялся и сказал, что не верит в рай или в ад, а только в то, что прах вернется во прах. И сказал, что к нему приезжали дядька с теткой и сказали, что они уже припасли гроб и что его положат на маленьком кладбище на севере Миссури. В том же месте, где похоронены трое его жертв. Они собирались закопать Энди прямо рядом с ними. Он сказал, что когда они ему об этом сказали, он с трудом мог удержаться от смеха. Я сказал: «Хорошо тебе, могила уже, можно сказать, обеспечена. Нас-то с Перри наверняка отдадут вивисекторам». Мы шутили в таком духе, пока ему не пришло время идти, и, проходя мимо, он сунул мне листок бумаги, на котором было написано стихотворение. Я не знаю, сам он его написал или нашел в книжке. Мне показалось, что это он сочинил сам. Если вам интересно, я вам его pošлю.

Позже он выполнил свое обещание, и прощальное послание Эндрюса

оказалось девятой строфой из «Элегии, написанной на сельском кладбище» Грея:

*В величии гербов и блеске власти
И всех красот, что дать богатство в силе,
Жди смерти, что наступит в одночасье:
Дорожки славы все ведут к могиле.*

– Энди мне нравился. Он был шизик – не настоящий шизик, как тут все орали; но, знаете, просто дурачок. Он всегда говорил, что сбежит и станет наемным убийцей. Он любил воображать, как он шатается по Чикаго или Лос-Анджелесу с автоматом в футляре от скрипки. Крутым парнем. Говорил, что будет брать тысячу долларов за голову.

Хикок засмеялся, возможно, над нелепостью мечтаний своего друга, вздохнул и покачал головой.

– Но для парня его возраста он был самый умный из всех, кого я когда-то знал. Ходячая энциклопедия. Когда этот мальчик читал книгу, она оставалась у него в голове целиком. Конечно, он ни черта не знал о жизни. Я-то, конечно, неуч, если о чем и знаю, так это как раз о жизни. Я видел много всяких гнусностей. Видел, как пороли белого человека. Видел, как рождаются дети. Я видел девочку, которой было не больше четырнадцати и она продала себя трем парням сразу. Однажды я упал с корабля за борт в пяти милях от берега. Пять миль проплыл, чувствуя, как из меня с каждым ударом сердца уходит жизнь. Однажды в вестибюле гостиницы «Мьюлебах» президент Трумэн пожал мне руку. Гарри С.Трумэн. Когда я работал в больнице водителем «скорой помощи», я видел все стороны жизни, какие есть, – такие вещи, от которых стошнило бы даже собаку. Но Энди... Он ни черта не знал о жизни, только читал о ней в книгах.

Он был невинен как младенец, малыш с пачкой кукурузных палочек. Он никогда не был с женщиной. С мужчиной или мулом тоже. Так он сам говорил. Наверное, именно за это я его и любил больше всего. За то, что он был неиспорченный. Все остальные здесь, конечно, мастера заливать. Я сам – один из первых. Медом не корми, дай потрепать языком. Похвастать. Иначе ты никто и ничто, просто картофелина, прорастающая в своем чулане размером семь на десять футов. Но Энди никогда не трепался. Он говорил, что нет смысла говорить о том, чего никогда не было.

Хотя старина Перри не жалел, что Энди нас покинул. У Энди было то единственное, чего Перри хотелось больше всего на свете, – он был

образованный. И Перри не мог ему этого простить. Вы же знаете, как Перри обожает произносить слова на сто долларов, из которых ему самому понятна дай бог половина. Словно черномазый из колледжа. Боже, как он бесился, когда Энди тыкал его носом в ошибки. Ясное дело, Энди просто старался дать ему то, чего он так хотел – образование. Правда, с Перри вообще невозможно иметь дело. У него здесь нет ни одного друга. Я имею в виду – какого дьявола он перед всеми задирает нос? Обзывает всех извращенцами и вырожденками. Прохаживается насчет того, что у них низкий ай-кью. Как жаль, что не у всех такие чувствительные души, как у маленького Перри. Он же у нас святой. Господи, я знаю ребят, которые с удовольствием пошли бы на Перекладину, если бы им дали оказаться с ним на минутку один на один в душевой. А как он корчил из себя умника перед Йорком и Латамом! Ронни говорит, что ему очень не хватает того пастушеского бича. Уж я бы, говорит, прижал маленько Перри. Я его не виню. В конце концов, мы все в одной лодке, и они хорошие ребята.

Хикок грустно хихикнул, пожал плечами и сказал: – Вы понимаете, что я имею в виду. *Хорошие* – насколько можно ждать от убийц. Мать Ронни Йорка приезжала к нему сюда несколько раз. Однажды в комнате ожидания она встретила мою мать, и теперь они стали первыми подругами. Миссис Йорк хочет, чтобы моя мать приехала к ней во Флориду погостить и даже осталась там жить. Господи, хорошо бы она поехала. Тогда ей не пришлось бы каждый раз, когда она ко мне едет, трястись в автобусе. Улыбаться, стараться найти что сказать, поднять мне настроение. Бедная женщина. Я не знаю, как она все это выдерживает. Странно, что она еще не свихнулась.

«Разные» глаза Хикока обратились к окну комнаты свиданий; его лицо, опухшее, бледное как кладбищенская лилия, мерцало в слабом зимнем свете, льющемся через загороженное решеткой стекло.

– Бедная женщина. Она написала начальнику и спросила его, нельзя ли ей в следующий раз поговорить с Перри. Она хотела услышать от самого Перри, как он убил тех людей и что я не стрелял, а стрелял только он один. Остается только надеяться, что нас когда-нибудь будут судить заново и Перри скажет правду. Только я в этом сомневаюсь. Он просто решил, что мы с ним должны уйти вместе. Спиной к спине. Это неправильно. Многие убийцы никогда и не сидели в камере смертников. А я никого не убивал. Если у тебя есть пятьдесят тысяч долларов, ты можешь перебить половину Канзас-Сити и только посмеиваться, ха-ха. – Внезапная усмешка стерла его горькое негодование. – О-хо-хо. Опять я о нем. Старый плакса. Вы думали, что я уже успокоился. Но как Бог свят, я бы все отдал, чтобы поквитаться с

Перри. Он такой брюзга. Такой двуличный. Так ревнует к каждому письму, что я получаю, к каждому посетителю. К нему никто никогда не приходит, кроме вас, – сказал он журналисту, который одинаково хорошо знал Хикока и Смита. – И еще адвокат. Помните, когда он лежал в больнице? Прикидывался голодающим? Его папаша прислал открытку. Так вот, начальник написал Перриному папаше, что он может приезжать в любое время. Но он так и не появился. Не знаю. Иногда мне становится жалко Перри. Похоже, он один из самых одиноких людей на земле. Ну и черт с ним. Сам виноват.

Хикок вытянул из пачки «Пэлл-Мэлл» новую сигарету, наморщил нос и сказал:

– Я пробовал бросить курить. Потом подумал, а что это изменит? Если повезет, я заработаю рак и оставлю законничков с носом. Некоторое время я курил сигары Энди. Наутро после того, как его повесили, я проснулся и позвал его: «Энди!» – как обычно. Потом вспомнил, что он уже на пути к Миссури. С тетей и дядей. Я выглянул в коридор. В его камере делали уборку, и все его барахло было сложено в кучу. Матрац с его койки, его тапочки и альбом для вырезок со всеми съедобными картинками – он называл его холодильником. И эта коробка. Сигары «Макбет». Я сказал охраннику, что Энди оставил их мне. На самом деле я их так и не скурил. Не знаю, как у Энди, а у меня от них начинался понос.

– Ну что сказать насчет высшей меры? Я не против смертной казни. Это месть, но что плохого в мести? Наоборот. Если бы я был родственником Клаттеров или любого из тех, кого пришили Йорк с Латамом, я бы не мог покоиться с миром, пока убийца не прокатился на Больших Качелях. Эти люди, которые пишут письма в газету... В одной топикской газете на днях появилось сразу два – одно даже от пастора. Пишут, что на самом деле весь этот суд не более чем фарс; почему, дескать, эти сукины дети Смит и Хикок, которых давно пора вздернуть, до сих пор проедают деньги налогоплательщиков? Что ж, я их понимаю. Они бесятся из-за того, что не могут получить что хотят – мести. И я постараюсь сделать все, чтобы не получили. Я одобряю повешение. Но только пока меня самого не вешают.

Но все же его повесили. Прошло еще три года, и в течение тех лет два исключительно квалифицированных адвоката из Канзас-Сити, Джозеф П.Дженкинс и Роберт Бингам, сменили Шульца, который был отстранен от этого дела. Дженкинс и Бингам были назначены федеральным судьей и работали без гонорара, но были твердо уверены, что ответчики стали жертвами «чудовищно несправедливого суда». Они подавали

многочисленные апелляции во все судебные инстанции, и таким образом их клиенты трижды избежали назначенной даты: 25 октября 1962 года, 8 августа 1963 года и 18 февраля 1965 года. Адвокаты заявили, что их клиенты были несправедливо осуждены, потому что им не были назначены защитники до того, как они признались и отказались от предварительных слушаний; они не получили должной защиты на суде, были осуждены с помощью свидетельств, добытых без ордера на обыск (дробовик и нож, взятые из дома Хикока), и несмотря на то, что общественное мнение «активно пропагандировало идеи, наносящие ущерб обвиняемым», им не было предоставлено право изменить место проведения суда.

С этими аргументами Дженкинс и Бингам добились того, что казнь трижды переносилась Верховным судом США – Большим Мальчиком, как называли его многие осужденные, – но в каждом случае суд, который никогда не комментирует в таких случаях своих решений, отклонял апелляцию, отказываясь истребовать дело для полного пересмотра. В марте 1965 года, когда Смит и Хикок находились в камерах почти две тысячи дней, Верховный суд штата Канзас постановил, что их жизни должны прерваться между полуночью и двумя часами утра в среду, 14 апреля 1965 года. После этого недавно избранному губернатору штата Уильяму Эйвери было направлено прошение о помиловании; но Эйвери, богатый фермер, чутко прислушивающийся к общественному мнению, отказался вмешиваться, считая, что такое решение суда будет «лучше всего отвечать интересам народа Канзаса». (Два месяца спустя Эйвери также отклонил прошение о помиловании Йорка и Латама, которых повесили 22 июня 1965 года.)

И так случилось, что в светлые часы утра среды Элвин Дьюи, завтракая в кофейне топикской гостиницы, прочел на первой странице «Канзас-Сити стар» заголовок, которого он давно ждал: «СМЕРТЬ НА ВИСЕЛИЦЕ ЗА КРОВАВОЕ ЗЛОДЕЯНИЕ». Статья, написанная репортером «Ассошиэйтед Пресс», начиналась следующим образом: «Ричард Юджин Хикок и Перри Эдвард Смит, соучастники в преступлении, умерли на виселице в тюрьме сегодня рано утром за то, что совершили одно из самых кровавых убийств в криминальной летописи штата Канзас. Хикок, 33 лет, умер первым в 0.41; 36-летний Смит умер в 1.19...»

Дьюи видел, как они умерли, поскольку он был среди двадцати с небольшим свидетелей, приглашенных на церемонию. Дьюи еще ни разу не присутствовал при казни, и когда в полночь он вошел в холодное помещение склада, зрелище его удивило: он ожидал увидеть подобающую случаю торжественность обстановки, а не эту тускло освещенную пещеру,

загроможденную пиломатериалами и прочим хламом. Но сама виселица с двумя бледными петлями, привязанными к поперечине, достаточно впечатляла, равно как и палач, который отбрасывал длинную тень на платформу, стоя на верху своего деревянного орудия высотой в тринадцать ступеней. Палач, неизвестный толстокожий джентльмен, специально вызванный из Миссури для этого дела, за которое он получал шестьсот долларов, был одет в поношенный двубортный костюм в тонкую полоску, излишне свободный для его узкой фигуры – пиджак доходил ему чуть не до колен. На голове у него была ковбойская шляпа, которая, пока была новой, вероятно, была ярко-зеленого цвета, но теперь смотрелась как потрепанная, засаленная диковина.

Дьюи также показались странно спокойными и будничными разговоры других приглашенных в ожидании, как сказал один свидетель, «празднества».

– Я слышал, они собирались тянуть соломинку, чтобы узнать, кому идти первым. Или бросить монетку. Но Смит говорит, давайте в алфавитном порядке. Ясное дело, ведь «эйч» идет раньше «эс». Ха!

– А вы читали в сегодняшней газете, что они заказали для последней трапезы? Одно и то же. Креветки. Чипсы. Чесночные гренки. Мороженое и землянику со взбитыми сливками. Понятное дело, Смит почти не притронулся к еде.

– А этот Хикок не лишен чувства юмора. Мне рассказали, что примерно час назад один из охранников ему сказал: «Это будет самая длинная ночь в твоей жизни». А Хикок засмеялся и говорит: «Нет, самая короткая».

– А слышали про глаза Хикока? Он их оставил главному врачу. Как только его вынут из петли, этот врач выдерет ему глаза и приделает их к чьей-то голове. Не хотел бы я быть на месте этого кого-то. С его глазами мне было бы очень не по себе.

– Боже! Неужели дождь начинается? А я все окна оставил открытыми! Бедный мой новый «шеви»!

Внезапный дождь застучал по высокой крыше склада. Звук, мало чем отличающийся от «тра-та-та-та» военных барабанов, возвестил о появлении Хикока. В сопровождении шести охранников и бормочущего молитвы священника он приблизился к эшафоту, где на него надели наручники и уродливой сбруей из кожаных ремней притянули руки к туловищу. У подножия виселицы начальник зачитал ему официальный приказ о приведении в исполнение смертного приговора, документ на две страницы; и пока начальник читал, глаза Хикока, ослабевшие после десяти

лет тюремного полумрака, блуждали по лицам присутствующих; наконец, не увидев того, кого он искал, Дик спросил шепотом ближайшего к нему охранника, нет ли тут кого-нибудь из семьи Клаттеров. Когда ему сказали, что нет, заключенный, казалось, был разочарован, как будто решил, что протокол этого ритуала мести не соблюден должным образом.

По традиции начальник тюрьмы, зачитав текст, спросил осужденного, не хочет ли он сказать последнее слово. Хикок кивнул.

– Я просто хотел сказать, что не держу на вас обиды. Вы посылаете меня в лучший мир, чем тот, что я знал. – Потом, словно желая подчеркнуть свои слова, он обменялся рукопожатием с теми четверьмя людьми, которые и были ответственны за его арест и осуждение, и все попросили разрешения присутствовать при казни: агенты Рой Черч, Кларенс Дунц, Гарольд Най и сам Дьюи. – Рад вас видеть, – сказал Хикок с самой очаровательной улыбкой; казалось, он приветствует гостей на собственных похоронах.

Палач кашлянул – нетерпеливо снял шляпу и снова надел, жестом, несколько напоминающим тот, каким канюк в раздражении приглаживает перышки на шее, – и Хикок, подталкиваемый сопровождаемым, взошел по ступеням. «Бог дал, Бог взял. Да святится имя Божие», – пропел капеллан сквозь шум усиливающегося дождя, пока на шею осужденному надевали петлю, а глаза завязывали черным платком. «Да помилует Бог твою душу». Люк открылся, и Хикок повис на целых двадцать минут, пока тюремный врач не сказал наконец: «Я объявляю этого человека мертвым». Катафалк с включенными фарами, покрытый каплями дождя, заехал в помещение. Тело было закутано в одеяло, уложено на солому, и катафалк увез его в ночь.

Глядя ему вслед, Рой Черч покачал головой:

– Никогда бы не подумал, что у него есть мужество. Уйти так, как он. Я считал его трусом.

Человек, к которому он обращался, тоже детектив, сказал:

– Да ну, Рой. Парень был подонком. Подлым ублюдком. Он заслужил это.

Черч тем не менее продолжал задумчиво качать головой.

В ожидании второй казни репортер заговорил с охранниками. Репортер спросил:

– Вы впервые присутствуете при повешении?

– Я видел, как умер Ли Эндрюс.

– А я впервые.

– Да, ну и как вам это нравится?

Репортер сжал губы.

– Никто из нашей редакции не хотел идти. Я тоже. Но это было не так плохо, как я ожидал. Примерно как прыжок с трамплина. Только с веревкой на шее.

– Они ничего не чувствуют. Ух, бух, и все. Они ничего не чувствуют.

– Вы уверены? Я стоял близко. Мне было слышно, как он задыхался.

– Это да, только он все равно ничего не почувствовал. Иначе бы это было негуманно.

– Да. И, наверное, им еще скармливают всякие наркотики.

– Вот уж нет. Это против правил. А вот и Смит.

– Черт возьми, я и не зная, что он такой коротконогий.

– Да, он мал ростом. Но тарантул еще меньше.

Когда Смита привели на склад, он заметил своего старого противника, Дьюи; он перестал жевать «Даблминт» и, усмехнувшись, подмигнул ему, бойко и каверзно. Но после того, как начальник спросил, не желает ли он что-нибудь сказать, лицо его стало серьезным. Глаза Перри внимательно оглядели лица свидетелей, посмотрели на палача, потом опустились к закованным рукам. Он смотрел на свои пальцы, покрытые пятнами чернил и краски, потому что последние три года заключения он провел за рисованием автопортретов и портретов детей, обычно детей товарищей по несчастью, которые давали ему фотографии своих редко приходящих отпрысков.

– Я думаю, – сказал он, – хреново заканчивать жизнь так, как я. Я не считаю, что смертная казнь оправдана, нравственно или юридически. Возможно, я мог бы как-то искупить, как-то... – Его уверенность пошатнулась; смущение приглушило его голос до едва различимого шепота. – Было бы бессмысленно приносить извинения за то, что я совершил. И даже недопустимо. Но я все же приношу свои извинения.

Ступени, петля, повязка; но прежде, чем ему завязали глаза, заключенный выплюнул жвачку в протянутую ладонь священника. Дьюи закрыл глаза и не открывал их, пока не услышал глухой треск, который говорил о том, что веревка сломала шею. Как и большинство лиц, занимающихся охраной правопорядка, Дьюи был уверен, что высшая мера наказания является средством предостережения от тяжких преступлений, и считал, что как раз в данном случае она была весьма уместна. Предыдущая казнь его не взволновала, он всегда считал Хикока просто мелким проходимцем, который скатился на самое дно, пустым и никчемным. Но Смит, хотя именно он был настоящим убийцей, вызывал у него другие чувства, потому что Перри обладал аурой загнанного животного, раненого

зверя, спасающегося бегством, и это не могло оставить детектива равнодушным. Он помнил свою первую встречу с Перри в комнате для допросов в штабе полиции Лас-Вегаса – недоразвитый полумужчина-полумальчик сидел на металлическом стуле, и его маленькие ступни едва доставали до пола. И когда теперь Дьюи открыл глаза, он увидел их: те же самые детские ступни, болтающиеся в воздухе.

Дьюи вообразил, что со смертью Смита и Хикока он переживет некую эмоциональную разрядку, чувство освобождения, облегчения от того, что все закончилось так, как того требовала справедливость. Но вместо этого он обнаружил, что вспоминает эпизод почти годичной давности, случайную встречу на кладбище Вэлли-Вью, которая, как он теперь понял, более или менее закрыла для него дело Клаттера.

Пионеры, основавшие Гарден-Сити, вынужденно вели спартанский образ жизни, но когда пришло время устроить официальное кладбище, они твердо решили, несмотря на бесплодную почву и трудности с транспортировкой воды, создать выгодный контраст пыльным улицам и унылым равнинам. Результат их трудов, который назвали Вэлли-Вью, находится на невысоком плато к северу от города. Сегодня это темный остров, отороченный холмистым прибоем пшеничных полей, – хорошее укрытие в жаркий день, с множеством тенистых тропинок, вдоль которых растут высокие деревья, посаженные первопоселенцами.

Однажды в полдень, в мае прошлого года, когда поля пылают зеленым золотом еще невысокой пшеницы, Дьюи несколько часов провел в Вэлли-Вью, пропалывая могилу отца, что давно уже пора было сделать. Дьюи было пятьдесят один, на четыре года больше, чем тогда, когда он вел следствие по делу Клаттера; но он все еще был строен и быстр в движениях и все так же являлся лучшим агентом Канзасского бюро расследований в западном Канзасе; только неделю назад он поймал пару угонщиков рогатого скота. Мечта обустроить собственную ферму не сбылась, поскольку жена его так и не решилась жить в уединенном месте. Вместо этого Дьюи построили новый дом в городе; они гордились им, гордились и сыновьями, у которых уже сменились голоса и по росту они догнали отца. Старший мальчик осенью собирался поступать в колледж.

Закончив прополку, Дьюи решил пройтись по тихим тропинкам. Он остановился у надгробной плиты, где недавно было вырезано имя Тэйта. Судья Тэйт умер от воспаления легких в прошлом ноябре, и венки бордовых роз, перевитых полинявшими от дождей лентами, все еще лежали на земле. Рядом с ними на более свежем холмике лежали более свежие лепестки – могила Бонни-Джин Ашида, старшей дочери Ашида,

которая погибла в автокатастрофе, когда приезжала в Гарден-Сити. Смерти, рождения, браки – кстати, на днях он слышал, что дружок Нэнси Клаттер, молодой Бобби Рапп, уехал из Холкомба и женился.

Могилы Клаттеров, четыре насыпи под одним серым камнем, находились в дальнем уголке кладбища – не под деревьями, а на солнце, почти на краю пшеничного поля. Подойдя к ним, Дьюи увидел, что там уже кто-то стоит: гибкая девушка в белых перчатках, с гладкой шапочкой темно-русых волос и длинными изящными ногами. Она улыбнулась ему, но он не мог вспомнить, кто она такая.

– Забыли меня, мистер Дьюи? Сьюзен Кидвелл.

Он засмеялся, она тоже.

– Сью Кидвелл, вот это да! – Он не видел ее с тех пор, как закончился суд; тогда она была еще ребенком. – Как ты? Как мама?

– Спасибо, хорошо. Она по-прежнему преподает музыку в холкомбской школе.

– Давненько там не бывал. Какие новости?

– О, начали поговаривать о том, что будут мостить улицы. Но вы же знаете Холкомб. Вообще-то я там редко бываю. Сейчас учусь на первом курсе в К. У., – сказала она, имея в виду Канзасский университет. – Я приехала всего на несколько дней.

– Это замечательно, Сью. Что ты изучаешь?

– Все. Искусство главным образом. Мне нравится. Я действительно очень довольна. – Она поглядела на прерии. – Мы с Нэнси вместе собирались туда поступить. Думали, что будем жить в одной комнате. Я иногда думаю об этом. Иногда, когда мне очень хорошо, я начинаю думать о тех наших планах.

Дьюи посмотрел на серый камень с четырьмя именами и одной датой смерти: 15 ноября 1959 года.

– Ты часто сюда приходишь?

– Время от времени. Черт, какое яркое солнце. – Она надела темные очки. – Помните Бобби Раппа? Он женился на красивой девушке.

– Я слышал.

– Коллин Уайтхерст. Она правда красавица. И очень милая.

– Тем лучше для Бобби. – И, чтобы подразнить ее, Дьюи добавил: – Ну а ты как? У тебя, должно быть, много поклонников.

– Да так, ничего серьезного. Но вы мне напомнили... У вас есть часы? О! – воскликнула она, когда он сказал ей, что уже пятый час. – Мне надо бежать! Но я была рада вас видеть, мистер Дьюи.

– И я был рад тебя видеть, Сью. Удачи, – крикнул он ей вдогонку, когда

она поспешно скрылась на тропинке, хорошенькая девушка с гладкими русыми волосами, развевавшимися на бегу, – точно такой же молодой женщиной могла бы быть Нэнси.

Потом Дьюи по аллее пошел домой, оставляя за спиной огромное небо, шепот ветра и клонящихся пшеничных колосьев.

Призраки в солнечном свете: съемки фильма «Хладнокровное убийство»

Жарким полднем в конце марта в здании суда на высоких пшеничных равнинах западного Канзаса Ричард Брукс обернулся ко мне посреди фильма и довольно укоризненно спросил: «Над чем вы смеетесь?»

– Да так, ни над чем, – сказал я, но если честно, я просто вспомнил вопрос, который мне когда-то задал Перри Смит, один из двух убийц, суд над которыми мы здесь повторно проигрывали. С момента его ареста прошло тогда всего несколько дней, и вопрос, который он мне задал, звучал так: «Там были представители кинематографа?» Интересно, что бы он подумал об этой сцене: софиты, установленные в зале, где проходил суд над ним и Ричардом Хикоком, скамья присяжных, и на ней – те самые люди, которые вынесли им приговор, мурлычущие генераторы, треск камеры, техники, перешептываясь, топчутся среди толстых катушек электрического кабеля.

Наш первый разговор с Перри Смитом состоялся в начале января 1960 года. Это был холодный день, искрящийся как сосулька; мы со Смитом беседовали в офисе шерифа, в комнате, где ветра прерии наваливались на окна, высасывали стекла и трясли рамы. Я и сам довольно заметно трясся, потому что уже больше месяца работал над книгой «Хладнокровное убийство», и если бы мне не удалось установить контакт с этим молодым полуирландцем-полуиндейцем, я был бы вынужден отказаться от своего проекта. Адвокат, назначенный судом, убедил Смита со мной поговорить, но скоро стало понятно, что Смит жалеет о том, что дал согласие. Он держался отстраненно, подозрительно, он замкнуто прикрывал глаза; потребовались годы, сотни писем и бесед, прежде чем я до конца проник за эту маску. Тогда же его не интересовало ничего из того, что я говорил. Он довольно высокомерно начал выяснять, какие у меня верительные грамоты. Что за книги я пишу и как они называются? Хм, сказал он, после того как я перед ним отчитался, он никогда не слышал ни обо мне, ни о моих книгах; но, может быть, я написал чего-нибудь для кино? Да, один раз: «Победить дьявола». Сонные глаза чуть оживились. «Вот как? Это я помню. Смотрел его потому, что там играет Хэмфри Богарт. А вы, э... знакомы с Богартом лично?» Когда я ответил, что Богарт мой близкий друг, он улыбнулся взволнованной, хрупкой улыбкой, которую я вскоре очень хорошо узнал.

«Богарт, – произнес он так тихо, что голос его на фоне ветра за окном едва можно было слышать. – Вот это актер! У меня он самый любимый. Я „Сокровище Сьерра-Мадре“ смотрел просто не знаю сколько раз. Мне этот фильм нравится еще и из-за того старика – Уолтер Хьюстон, кажется? Который играл сумасшедшего старателя. Вылитый мой папаша Текс Смит. Один в один. Так меня это поразило – ничего не могу с собой поделаться». Потом он сказал: «Вы были тут вчера вечером? Когда нас привезли?»

Он имел в виду вечер накануне съемок, когда двоих убийц в наручниках в сопровождении целого полка полицейских привезли из Лас-Вегаса, где они были арестованы, для того чтобы судить в суде округа Финней, который находится в Гарден-Сити, штат Канзас. Сотни людей несколько часов прождали в темноте и на холоде, чтобы увидеть их хотя бы мельком; толпа, заполнившая площадь, почти благоговейно затихла при их появлении. Съехались представители прессы со всего Запада и Среднего Запада; было также несколько телевизионных групп.

Я сказал – да, я там был – и даже заработал легкую пневмонию, чем могу доказать, что не вру. Он выразил мне сочувствие: «С пневмонией шутки плохи. Но скажите мне – я так испугался, что ничего не разобрал. Когда я увидел толпу, я подумал, Господи Иисусе, эти люди разорвут нас на кусочки. Какой, к чертям, общественный палач. Они повесят нас прямо на месте. Что, вероятно, было бы не самой плохой идеей. Я имею в виду – для чего проходить весь этот процесс? Суд и все прочее? Это же просто фарс. Все равно в конце концов эти деревенские невежи нас повесят». Он пожевал губу; на лице его появилось выражение какой-то застенчивой робости – как у ребенка, ковыряющего носком ботинка землю. – «Я хотел бы узнать, там были представители кинематографа?»

В этом был весь Перри – в жалких лингвистических претензиях (осторожное козыряние словами типа «кинематограф») и в тщеславии, которое вынуждало его приветствовать признание любого вида, независимо от его природы. Он пытался это скрывать, подавлять в себе, однако был несомненно рад, когда я сообщил ему, что это событие действительно было заснято на киноплёнку.

Теперь, семь лет спустя, я тихонько смеялся при этом воспоминании, но не стал отвечать на вопрос Брукса, потому что молодые люди, исполнявшие роли Перри и Дика, стояли поблизости, а я в их присутствии чувствовал себя крайне неловко. Они меня смущали. Я видел фотографии Роберта Блейка (Перри) и Скотта Уилсона (Дик) прежде, чем их утвердили на роли. Но познакомился с ними только в Канзасе, когда приехал на съемки. И встреча с ними, необходимость видеть их изо дня в день явились

для меня таким испытанием, которое мне совсем не хочется проходить еще раз. Это не имеет никакого отношения к моей реакции лично на них как на индивидуумов: оба они глубоко чувствующие, по-настоящему одаренные люди. Просто несмотря на очевидное физическое сходство с прототипами их фотографии не подготовили меня к гипнотической силе действительности.

Особенно Роберт Блейк. Увидев его в первый раз, я подумал, что при свете дня вижу призрак с гладкими волосами и сонным взглядом. Я не мог представить себе, что это человек, притворяющийся Перри, – он *был* Перри – и ощущения, которые я испытал при этой мысли, были похожи на ощущения человека, который в свободном падении летит в кабине лифта. Те же знакомые глаза на знакомом лице изучали меня, словно, незнакомца. Было такое чувство, как будто Перри воскрес, но страдает от амнезии и совершенно меня не помнит. Потрясение, разочарование, беспомощность – эти эмоции вкупе с надвигающимся гриппом заставили меня поехать домой, в мотель «Хлебный край» в предместьях Гарден-Сити. В этом мотеле я часто останавливался в течение нескольких лет, пока шла работа над «Хладнокровным убийством». Воспоминания о тех годах, об одиночестве бесконечных зимних ночей и кашле несчастных коммивояжеров в соседних номерах захватили меня подобно внезапному канзасскому циклону и бросили в кровать.

Выдержка из моего ежедневника: «Сейчас, после того, как я меньше чем за тридцать минут выпил пинту скотча, немного полегчало. Утром проснулся в жару, с включенным телевизором и совершенно не мог понять, где я и почему. Все кажется нереальным или слишком реальным, как обычно воспринимается отраженная действительность. Вызвал доктора Максфидда, он сделал мне укол и назначил лечение. Но корень зла кроется в моем мозгу».

Фраза насчет «отраженной действительности» вполне ясна, но, вероятно, я должен разъяснить свое понимание этого явления. Отраженная действительность – сущность действительности, преувеличенная правда. Когда я был маленьким, я играл в образную игру. Я, например, разглядывал пейзаж: деревья, облака и пасущиеся на травке лошади; потом я выбирал какую-нибудь одну деталь – скажем, колышущуюся под ветерком траву, – и руками делал для нее «рамку». Теперь эта деталь становилась сущностью пейзажа и охватывала, в уменьшенном виде, истинную атмосферу картины, слишком обширной для того, чтобы быть охваченной иными средствами. Или, если я попадал в незнакомую комнату и хотел понять ее и характер ее обитателей, я переводил взгляд с предмета на предмет, пока глаз мой не

натякался на что-нибудь такое – столб света, ветхое фортепьяно, узор на коврике, – что, на мой взгляд, содержало в себе тайну этого места. Искусство заключалось в том, чтобы отобразить детали, либо воображаемые, либо, как в «Хладнокровном убийстве», дистиллированные из действительности. Так было с книгой, так же было и с фильмом – за тем исключением, что я свои детали выбирал из жизни, а Брукс дистиллировал их из моей книги: действительность, дважды пропущенная через сознание и от того лишь более истинная.

Как только книга была выпущена, многие продюсеры и режиссеры выразили желание снять по ней фильм. На самом же деле к тому времени я уже решил, что если фильм будет когда-нибудь снят, то в роли посредника между книгой и экраном я хотел бы видеть режиссера Ричарда Брукса. Помимо того, что я давно питал уважение к его профессионализму художника, он был единственным режиссером, который согласился с моей собственной концепцией того, как должна быть экранизирована книга, и был готов рискнуть. Это был единственный человек, который полностью был готов принять два важных пункта: я хотел, чтобы фильм был черно-белый, и еще я хотел, чтобы в нем снимались не известные широкой публике актеры – то есть те, у кого нет «имиджа». Хотя у нас с Бруксом разное восприятие, мы хотели, чтобы фильм дублировал действительность, чтобы актеры были максимально похожи на свои прототипы и чтобы фильм снимался там, где происходило дело в реальности: в доме убитых Клаттеров; в тех многочисленных канзасских лавочках, где Перри и Дик покупали веревку и пластырь для того, чтобы связать жертвы и заклеить им рты; в том самом здании суда; в тюрьме, на бензозаправочных станциях, в гостиничных номерах, на шоссе и городских улицах – везде, где они побывали во время и после преступления. Это была сложная процедура, но единственно возможная для того, чтобы избавиться почти от всех элементов фантазии и чтобы действительность могла достичь должного уровня отражения.

Особенно остро я почувствовал это, когда мы с Бруксом вошли в дом Клаттеров во время подготовки к съемкам сцен самого убийства. Вновь выписки из дневника: «Целый день провел на ферме Клаттеров. Любопытное ощущение – снова оказаться в доме, где я так часто бывал, и при столь полной тишине: тихий дом, простые комнаты, деревянные полы, которые скрипят при каждом шаге, окна, выходящие на прерии и золотистые от пшеницы поля. После убийства там никто так и не жил. Ферма была куплена техасцем, и сын его иногда останавливался в доме. Конечно, дом не пришел в упадок; однако он казался заброшенным, словно

огородное пугало, которому некого пугать. Нынешний владелец разрешил Бруксу снимать в доме. Значительная часть прежней мебели все еще была не распродана, и главный помощник Брукса, Том Шау, проделал невероятно кропотливую работу, отслеживая и возвращая недостающие предметы обстановки. Комнаты выглядели точь-в-точь как тогда, когда я осматривал их в декабре 1959 года – то есть вскоре после того, как было обнаружено преступление. „Стетсон“ мистера Клаттера висел на вешалке для шляп. На фортепьяно стояли раскрытые ноты Нэнси. Очки ее брата лежали на бюро, и линзы отбрасывали солнечные зайчики.

Но в „рамку“ я заключил именно жалюзи. Жалюзи, закрывавшие окна в кабинете мистера Клаттера – комнате, через которую убийцы проникли в дом. Войдя туда, Дик раздвинул полоски и поглядел, не увидел ли их в лунном свете какой-нибудь свидетель; и перед уходом из дома, после грохота выстрелов, глаза Дика сквозь полоски жалюзи изучали ландшафт, а сердце его колотилось от страха, что четыре ружейных выстрела могли разбудить сельскую глушь. И теперь актер, исполняющий роль Дика и так странно похожий на Дика, должен был повторить эти действия. Прошло восемь лет, семья Клаттеров погибла, и Дик тоже мертв, но жалюзи существуют по-прежнему, все еще висят на тех же самых окнах. Таким образом действительность через какой-то объект продлевает себя в искусстве; и именно это особенно важно в фильме, ради этого он и снимается: действительность и искусство должны переплестись так, чтобы невозможно было провести между ними черту».

«Почти вся сцена убийства снимается в полной темноте, если не считать света софитов. Так еще никто не снимал, потому что обычно софиты не могут создать достаточно мощное освещение, чтобы можно было обойтись без дополнительных источников света. Специально для нас техники придумали софиты, работающие на специальных батареях, которые производят плотные столбы белого света, – и когда лучи блуждают в темноте, пересекаясь и встречаясь, выглядит это весьма эффектно».

«Внимательность Брукса к деталям иногда доходит просто до смешного. Сегодня он заметил, что в перерыве между съемками кто-то из съемочной группы курил в доме Клаттеров. Вдруг он хлопнул в ладоши и крикнул: „Эй! А ну прекратите! Мистер Клаттер никогда не позволял курить в своем доме, так что я тоже не позволю».

Тогда, сломленный гриппом и напряжением от того, что вновь воскресил в памяти печальные события, я оставил Брукса и его компанию, чтобы они могли спокойно работать без моего пристального надзора. Никакой режиссер не выдержит, если автор сценария будет стоять у него

над душой и заглядывать через плечо. Хотя мы были единомышленны, я понимал, что мое присутствие всех нервирует, в том числе и меня самого. Брукс был только рад, что я ушел.

Вернувшись в Нью-Йорк, я удивился, что люди так мало спрашивают меня о том, как продвигаются съемки. Гораздо больше их интересовало, как местные жители относятся к тому, что у них на глазах делают кино: много ли недовольных? Или, наоборот, сочувствующих? Какова их реакция? Чтобы ответить на этот вопрос, я должен обратиться к тем впечатлениям, что я приобрел в течение нескольких лет, потраченных на сбор материала по всему округу Финней.

Когда я туда приехал в 1959 году, я не знал никого и никто, кроме местного библиотекаря и нескольких школьных учителей, никогда обо мне не слышал. Так случилось, что первый человек, у которого я взял интервью, оказался единственным настоящим врагом, которого я там нашёл, – по крайней мере единственным, кто тайно и явно отнесся ко мне враждебно (здесь есть некоторое противоречие, однако это сказано точно). Этот малый был, и теперь им остается, редактором местной ежедневной газеты, «Гарден-Сити телеграм», и поэтому был вправе постоянно предавать огласке свое враждебное отношение ко мне и к той работе, которую я пытался выполнить. Он подписывал свою колонку «Билл Браун» и сам был такой же простой, как это имя, худощавый всклокоченный мужчина с грязно-бурыми глазами и таким же лицом. Конечно, я понимал его негодование и сначала даже ему посочувствовал: какой-то «нью-йоркский писака», как он частенько меня величал в своих статьях, вторгается в его владения и собирается писать книгу о «грязном» деле, которое лучше всего закрыть и забыть. Его постоянной темой было: «Мы хотим забыть нашу трагедию, а этот нью-йоркский писака нам не дает». Поэтому я несколько не удивился, когда Браун начал кампанию против того, чтобы Брукс снимал канзасские сцены в Гарден-Сити и Холкомбе. Теперь его тема звучала так: появление «этих людей из Голливуда» привлечет в город «нежелательные элементы», и все в округе Финней пойдет к чертям. Мистер Браун пытался и кипел, но все его усилия ни к чему не привели. По той простой причине, что большинство людей, которых я встречал в западном Канзасе, разумны и всегда готовы помочь; я бы не выжил без их последовательной доброты, и среди них я обрел друзей, которые будут дороги мне до конца жизни.

Это было в марте прошлого года. В сентябре я отправился в Калифорнию, чтобы ознакомиться с грубым наброском готового фильма. Приехав, я встретился с Бруксом, и на следующий день он показал мне

картину. Брукс – очень скрытный человек; он копит свои сценарии, запирает их на ночь и никогда никому не дает читать полную версию. Съёмки «Хладнокровного убийства» закончились в июне, и с тех пор Брукс работал только с киномехаником и ножницами, ни одной живой душе не показывая, что получилось. Пока мы с ним говорили, он пребывал в каком-то невероятном напряжении, совершенно не вяжущемся с этим твердым и энергичным человеком. «Конечно, я нервничаю, – сказал он. – А как же иначе? Это же ваша книга – что если вам не понравится?»

Что если мне не понравится? Превосходный вопрос; и, как это ни странно, вопрос, который я ни разу не задавал себе, в основном потому, что лично отбирал кадры, а своим суждениям я всегда доверяю.

На следующий день, когда я пришел на студию «Коламбия пикчерс», Брукс нервничал еще больше. Боже, как он был мрачен! Он сказал: «Бывали у меня трудные моменты с этой картиной. Но сегодня – самый тяжелый». На этих словах мы вошли в просмотровый зал, словно в камеру смертников.

Брукс поднял трубку телефона, связанного с кабиной киномеханика.

– Ладно. Начинай.

Лампы померкли. Белый экран превратился в дорогу на исходе дня: шоссе № 50 вьется под иссушенным небом через равнину, пустую, как ореховая скорлупа, и унылую, как мокрые листья. Вдалеке на горизонте появляется серебристый автобус, приближаясь, увеличивается и, гудя, проносится мимо. Музыка: одинокая гитара. Изображение меняется, и титры идут на фоне салона автобуса. В нем тяжело висит дрема. Только усталая маленькая девочка бродит по проходу, постепенно приближаясь к затемненным задним сиденьям, соблазнившись одиноким, бессвязным треньканьем струн. Она находит музыканта, но мы его не видим; она что-то ему говорит, но мы не можем расслышать что. Гитарист чиркает спичкой, чтобы зажечь сигарету, и пламя частично освещает его лицо – лицо Перри, глаза Перри, сонные, отсутствующие. Картинка растворяется, появляется Дик. Потом Дик и Перри в Канзас-Сити, потом мы видим Холкомб и Герберта Клаттера, завтракающего в последний день своей жизни. Камера вновь возвращается к его будущим палачам: в контрапункт композиции моей книги.

Сцены сменяются с поразительной плавностью, но меня все больше и больше захватывает чувство утраты; сердце мое сжимает ледяное кольцо, подобное морозному ореолу вокруг осенней луны. Не из-за того, что я вижу на экране, с этим все в порядке, а из-за того, чего на нем нет. Почему опущено то-то и то-то? Где Бобби Рапп? Сьюзен Кидвелл? Почтмейстерша

и ее мамаша? Пока я об этом думал и не мог сосредоточиться на происходящем, фильм вспыхнул – в буквальном смысле. Я увидел на экране крошечный огонек, змейку пламени, которая разделила экран надвое и покрыла изображение рябью. Пленка резко остановилась, и в тишине Брукс сказал: «Ничего страшного. Небольшая авария. Такое бывает. Через минуту мы все поправим».

Я был благодарен этой аварии, потому что, пока киномеханик устранял неполадку, я успел решить спор, который вел сам с собой. Слушай, сказал мне внутренний голос, ты несправедлив и требуешь невозможного. Этот фильм длится всего два часа, и это разумно. Если бы Брукс включил сюда все, что ты хотел показать, все нюансы, за которые ты так дрожишь, фильм занял бы девять часов! Так что перестань дергаться. Смотри то, что есть, и суди только это.

Я послушался, и это было похоже на плавание в знакомом море, когда тебя вдруг удивляет неожиданная волна зловецей высоты или захватывает стремительное течение, увлекает на глубину и, всего избитого, выбрасывает на пустынный берег, – только, к сожалению, это был не дурной сон и не «просто кино», но сама действительность.

Экран погас; лампы под потолком снова зажглись. Но опять, как и в номере мотеля в Гарден-Сити, мне показалось, что я не могу вспомнить спросонок, где я. Рядом сидел человек. Кто он такой и почему он так пристально смотрит, как будто ждет от меня каких-то слов? Ах, это Брукс. И я наконец говорю: «Кстати, спасибо».

Примечания

1

Перевод И. Эренбурга.

2

Да, сеньор. Я понял (*исп.*).

3

Joу – радость (*англ.*).

4

Яиц (*гит.*).